

Светлана АЛИЛУЕВА

ТОЛЬКО ОДИН ГОД

*Всем новым друзьям, которым
я обязана своей свободной
жизнью*

І. Решение

Последний день в СССР

Я не думала 19-го декабря 1966 года, что это будет мой последний день в Москве и в России. И уж, конечно, этого не предполагали мой сын Ося, его жена Леночка, моя Катя и никто из друзей, зашедших в этот день повидать меня перед отъездом.

День был очень холодным. Мороз 15-ти градусов по С к вечеру дошел до 20-ти, шел снег, началась метель. Самолет должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в час ночи, но сколько я ни звонила диспетчеру, никто толком не знал, будет ли летной такая погода. Казалось, что Москва не хотела отпускать меня. Друзья и знакомые звонили и спрашивали – «Правда ли? Правда, что ты сегодня улетаешь?» И я в сотый раз повторяла им одно и то же.

Это было, действительно, невероятным, что мне разрешили отвезти в Индию прах покойного мужа, поэтому многие не могли никак поверить, что я действительно улечу сегодня ночью.

Это была моя первая поездка за границу, не считая 10 дней, проведенных летом 1947 года, в гостях у брата, стоявшего с авиационным корпусом в Восточной Германии. Мне самой было как-то очень странно, хотя разрешение было получено еще месяц тому назад и за это время я могла бы спокойно собраться. Но я все еще не уложила большой, занятый у приятельницы, чемодан, плохо соображая – какую погоду встречу в Дели и что там носить. Второй чемоданчик, поменьше, был готов: там были многочисленные подарки индийским родственникам (мне объяснили, что без этого нельзя ехать), а также подарки от индийского филолога, д-ра Бахри, для его семьи в Аллахабаде.

Меня больше всего беспокоил саквояж, где находилась белая сумка поменьше, а в ней – небольшая фарфоровая урна с прахом... Я долго мучилась, не зная, как я повезу ее? Мне давали разные советы, но я чувствовала только, что должна держать ее где-то возле себя, рядом. Это было что-то почти живое, она казалась мне очень тяжелой. Это была некая таинственная часть меня самой.

С утра зашла моя давняя школьная подруга Аля. Мы вместе окончили десятилетку, вместе поступили в Университет и окончили его по одинаковой специальности: новая история США. Даже выбор этой специальности был решен для нас обеих, отчасти, Алей, – или, скорее, ее мамой, работавшей долгие годы старшим референтом по США в иностранном отделе «Правды». Алина мама хорошо знала английский язык, а ее сестра давно жила в Детройте.

Аля была тихая, синеглазая, одна из лучших учениц в классе и в Университете. Она не умела сердиться, злиться, повышать голос. Но она была твердой в своих принципах, которые были – доброта, честность, труд. Такими же были ее три дочери, с которыми она была как подруга, равная с равными.

С Алей было необыкновенно легко и просто говорить о чем угодно: она умела слушать и всегда хотела понять. Единственный раз только она не поняла меня – когда я сказала ей, что крестилась. Она понимала религиозное чувство, в ней самой было нечто такое, но она боялась церкви как социальной силы.

Вся ее семья знала Браджеш Сингха. Ее дочь Таня со своим мужем, студентом-математиком, жила несколько месяцев в квартире Сингха, предоставленной ему издательством; ведь он жил у нас. Аля знала многих московских индийцев, она работала редактором в Издательстве Восточной Литературы.

Сейчас она пришла тихая и милая, как всегда, и мы пили кофе в кухне, самой главной комнате моей квартиры, где принимались лучшие друзья. В этот день пришли еще двое моих бывших одноклассников, Миша и Вера.

С Мишей мы учились вместе с восьмилетнего возраста. Он был, как и я, рыжий, в веснушках, и читал больше всех в классе. Мы обсуждали Жюль Верна и Фенимора Купера и современную научную фантастику. В 11 лет мы начали зачитываться Мопассаном, у каждого дома была большая родительская библиотека. Тогда же мы начали писать друг другу записки на уроках, на промокательной бумаге: «я тебя люблю!» и целовались, когда представлялась такая редкая возможность. Вскоре у Миши арестовали родителей (они работали в крупном издательстве), а потом и тетку, врача. Моя гувернантка настояла в школе, чтобы Мишу перевели в другой класс, предъявив директору улики: наши записки на промокашках. Дружба прекратилась, мы лишь ненадолго встретились опять во время войны. Но много позже, после XX съезда, Миша разыскал мой телефон и позвонил: он беспокоился обо мне. Я сразу узнала его голос (в школе мы звонили друг другу почти каждый день), и с этого дня мы были снова друзьями. Он стал инженером-строителем, хотя с детства любил литературу и гуманитарные науки, и по-прежнему много читал. Добрый и сердечный, он знал о каждом из своих одноклассников: кто где работает, кто женился, у кого дети. Он умудрился никого не растерять из старых друзей и сохранил дружбу со многими из нашей школы. Меня он навещал раз в полгода и мы обсуждали родительские проблемы. Своего младшего сына, певшего целыми днями, как соловей, он отдал в музыкальную школу, мечтая, что со временем из него получится Карузо. Старшая дочь, хорошенькая и нервная,

причиняла ему много беспокойства. В этом году она заканчивала школу и неожиданно стала увлекаться историей Востока и Индии. Я отдала для нее в этот день свои любимые книги об Индии: «Автобиографию» и «Открытие Индии» Джавахарлала Неру.

Веру я знала с самого раннего детства, потому что ее мать была подругой моей мамы. Обе они дружили с талантливым педагогом Региной Гласе, от которой и шли в наш дом все воспитательные идеи, и которой я, по существу, обязана моим интересным детством. Регина Гласе получила образование в Швейцарии, а в России работала с Шацким[1]. Моя мама так верившая в просвещение, находилась под сильным влиянием Регины, с которой у нас в семье больше никто не находил общего языка: отец не выносил ее и ее «педагогических фокусов», и вскоре настоял, чтобы она перестала бывать у нас.

Но Регину любили в Вериной семье. Веру, еще при маме, приводили к нам в Зубалово, по соседству с которым она жила обычно летом в деревне. Туда меня водила моя няня, или же мы встречались в соседнем благоуханном сосновом бору.

Потом Вера училась в одной школе и в одном классе со мной, но здесь каждая из нас нашла своих подруг и разные интересы. Вера была прирожденный натуралист и поступила после школы на Биологический факультет Университета. Я же всегда любила литературу и гуманитарные науки.

Вере досталась нелегкая жизнь, но она была с детства подготовлена к самоотверженной работе, упорству и к полнейшей отдаче себя делу. Она увлеклась генетикой. Но в 1949 году, как раз когда она закончила Университет и могла бы начать самостоятельные исследования, эта наука в СССР была объявлена «идеалистической» и запрещена. Вере, как и многим генетикам, не захотевшим отказаться от своего призвания, пришлось продолжать исследования под «камуфляжем». Теперь, когда хромосомная теория «реабилитирована», оказалось, что годы не прошли даром. Вера теперь – один из ведущих генетиков в стране. Когда я уезжала, она заканчивала свою докторскую диссертацию (сейчас она, наверное, уже доктор биологии).

У Веры никогда не было семьи, хотя она, как никто, полна любви и заботы о других. Через день она носит обед 90-летней Регине, живущей недалеко от нее. Мы пытались устроить одинокую и полуослепшую Регину в дом для престарелых, но это оказалось нелегко: Регина не желала расставаться с самостоятельностью. Кроме того, она не могла жить без концертов в Консерватории, куда умудрялась доставать билеты на самые недоступные и редкие. Там мы с Верой и встречались в университетские годы, когда не было других поводов для встреч. Но за последнее время

для нас обеих вдруг обрели значение те далекие годы детства, и мы снова потянулись друг к другу. Мои дети полюбили ее с первого же дня, когда она пришла и увидела их.

У нее был чудесный дар контакта с людьми, но не со всеми: она ничего не значила для тех, кто судит внешне, и для нее они были неинтересны. Ее нельзя было назвать ни хорошенькой, ни хорошо одетой. Внешне в ней было мало «западного», хотя в Париже, где она сделала сообщение о своей работе на французском языке, она всех очаровала. Внешне она принадлежала к классическому типу русской демократической интеллигенции прошлого века – лицо крестьянки, освещенное изнутри светом интеллекта. Длинные русые волосы она укладывала в косу вокруг головы, черты лица ее крупные и не очень правильные, и вся она была коренастой, тяжелой кости, выносливой для работы в поле. Но какие у нее были глаза! Огромные, печальные, серые, как русское пасмурное небо и, как это небо, незабываемые.

И когда Вера говорила – то все было значительно и важно, даже истории о ее кошке и канарейке, которые она рассказывала моей Кате.

С Верой всегда было грустно расставаться. Вся ее жизнь одинокой подвижницы несла на себе тень чистого и высокого трагизма. Ее никак нельзя было бы назвать несчастной или беспомощной, но о ней постоянно болела душа как об алмазе, мимо которого торопливо пробегают люди, не замечая его среди булыжников.

Звонили многие, с кем я работала в Институте Мировой Литературы (ИМЛИ). Лиза спросила только – «правда ли?», и потом была долгая пауза. Лена расспрашивала о подробностях: – неужели меня пустили одну? Смогу ли я поехать по Индии? Что я с собой возьму? Были неприятны эти расспросы и то, что забывают о печальной причине моей поездки, о нерадостной миссии, столь непохожей на туризм.

Звонили Анна Андреевна и Марина: эти все понимали и не задавали дурацких вопросов. Как им было не понимать? Хотя мы знали друг друга лишь несколько лет, но мои старшие друзья, немало повидавшие в жизни, стали мне так близки, как будто мы всю жизнь провели вместе. Кроме того, Марина, как и ее муж Натан, должны были непременно кого-либо опекать, и они опекали меня своей любовью. В числе Марининых опекаемых был Игорь (она нас познакомила), который тоже забежал в этот день попрощаться и убедиться, что я действительно еду.

Игорь хорошо знал искусство Индии и Индонезии, писал о нем, но поездку туда ему не разрешали, хотя об этом просил Институт Истории Искусств, где он работал.

Под таким же запретом жила и, пришедшая попозже в этот день, моя милая Берта, лучший в Москве знаток музыки и искусства Африки. По-видимому, мы все считались «неблагонадежными». Берта была любимицей Сингха, потому что она одна из всех моих друзей свободно говорила по-английски и еще потому, что у нее был веселый нрав. Она приносила все московские новости и сплетни, ее раскатистый смех наполнял всю нашу квартиру.

Берта – дочь американского негра и еврейки, приехавших в СССР в 30-е годы и оставшихся здесь навсегда. Она родилась и выросла в Ташкенте, где поселились ее родители. Бюрократический формализм не имеет пределов и когда Берта, достигнув совершеннолетия, получала советский паспорт, милиция требовала в графе «национальность» записать «узбечка» или «русская».

– «Да посмотрите на меня!» – кричала Берта, похожая на своего отца, как две капли воды, – «посмотрите на меня! Какая я узбечка? Какая я русская? Я – негритянка и хочу быть негритянкой!»

Ей сделали уступку ввиду того, что она была единственной в Узбекистане «советской негритянкой» и чемпионкой этой республики по теннису. Но позже этот пункт всегда вызывал вопросы во всех отделах кадров.

Эта веселая, громкая, крупная женщина, не боявшаяся иметь свое мнение и спорить с начальством, ярко одетая и еще ярче украшенная, всегда окруженная оживленными собеседниками, вызывала молчаливые судороги злобы у бесцветных партийных чиновниц Института, где она работала. Они не выносили ее смеха, ее черной кожи и красного маникюра, и ее незаменимости. Она говорила по-английски и знала африканское искусство, но в Африку ездили они, немые невежды, потому что у них были партийные билеты и рабоче-крестьянские предки. Берте оставалось, как и Игорю, только завидовать моим тридцати дням, в течение которых я смогу если не увидеть мир, то хотя бы выглянуть на него в небольшое окошко.

Берта осталась у нас, чтобы проводить меня ночью на аэродром, и курила сигарету за сигаретой. Погода все ухудшалась, мела метель и было неясно – улетит ли самолет по расписанию.

Потом пришел посол ОАР Мурад Галев со своей очаровательной женой. Они прожили в Москве уже двенадцать лет, их младшая дочь родилась здесь и в семье все немного говорили по-русски. Это было мое единственное, кроме посла Индии, знакомство в дипломатическом мире Москвы, произошедшее потому, что эти два посла были дружны между собой и оба хорошо относились к покойному Сингху. Мурад и Шушу были свидетелями тяжелой болезни Сингха и всего того, что нам с ним пришлось пережить. Мурад тревожился и несколько раз повторил мне – «Не удержи-

вайте там долго, возвращайтесь скорее! Хотите на обратном пути заехать в Каир? Шушу поехала бы туда, чтобы провести с Вами неделю у нас в доме, Вы бы отдохнули после всего...» – «Нет, как-нибудь в другой раз, Мурад, – сказала я, – сейчас я еду не отдыхать».

У него не было оснований тревожиться о моем возвращении, но Мурад очень хорошо знал, что думают «наверху» о моей поездке и беспокоился больше о своей репутации и советско-египетской дружбе. Он и Шушу уловили то, что немногие понимали: крайнюю степень отчаяния, горя и внутреннего озлобления, к которой привела меня смерть Сингха, – состояние, в котором человек способен решиться на все.

Они пытались уговорить меня не ехать на аэродром до тех пор, пока не выяснится точно час отлета из-за погоды. Но я упорно собиралась выехать из дома в 10 часов вечера, чтобы заранее быть в аэропорту и, если нужно, ждать там хоть до утра. Меня начинал охватывать какой-то суеверный страх; мне казалось, что все стихии сговорились против, – что-то случится и самолет не улетит. Нет, нет, я буду ждать только там!

Наконец прибыла сотрудница Министерства Иностранных Дел Кассирова, по настоянию Громыко назначенная мне в качестве «сопровождающего лица». Сколько я ни пыталась объяснить, что мне не нужен переводчик в тесном кругу родственников, сколько ни плакала бедная Кассирова, которой ее миссия казалась бессмысленной, – мы должны были обе подчиниться решению правительства. Мою поездку в Индию поставили на широкую государственную ногу, чтобы хоть этим компенсировать грубый запрет нашего брака, и чтобы сгладить неприятное впечатление от самого факта смерти Сингха.

Это «сопровождение» приводило меня, с самого начала, в отчаяние. Трагическая развязка должна была послужить политическим интересам двух правительств. А я-то удивлялась, почему мне так быстро разрешили эту поездку! И все думала, почему бывший посол Т. Н. Кауль, теперь один из секретарей Министерства Иностранных Дел в Дели, уже прислал мне несколько писем? Почему племянник мужа, государственный министр Динеш Сингх, просит отложить приезд до того времени, когда окончится сессия парламента и он сможет сам поехать со мной в деревню? Откуда вдруг такое внимание и заинтересованность – после того, как человек умер? И новый посол Индии в Москве, Кеваль Сингх, был полон внимания и делал скорбное лицо, входя в мою квартиру.

Государственный интерес наслои́лся на мою поездку, продиктованную – для меня – чисто личными моментами. Впрочем, чему

удивляться – вся моя жизнь прошла под прессом «государственного интереса» и сколько я ни пыталась стать человеком, а не «государственной собственностью», мне это так и не удалось.

Но сейчас я меньше всего думала об этих неприятных «наслоениях», меня поглощала лишь мысль, начинавшая и мне самой казаться чудом, что я в самом деле сегодня ночью уеду и через какие-нибудь восемь часов буду в другой стране, что для меня было то же самое, как очутиться на другой планете.

Я была почему-то совершенно уверена, что легко сумею найти общий язык с братом покойного мужа и родственниками, хотя я только раз написала им. Я хотела отдохнуть душой в деревне, о которой столько слышала, посидеть на террасе, откуда виден закат солнца над Гангом. Я знала, что там тишина и покой, что там знал и любил Сингха каждый деревенский мальчишка и что, может быть, там, наконец, я отдохну после ежедневного напряжения последних трех лет. У меня не было и мысли, что я не вернусь домой через месяц. Говоря точнее, у меня не было вообще никаких мыслей о том, что будет через месяц... Я была измучена и опустошена. Мне нужно было только добраться до ровной глади Ганга, увидеть это вечное, спокойное течение, куда возвращается каждый индус. Там, – я была в этом уверена, – наконец, «растаят и прольются» мои накопившиеся слезы.

Мне казалось, что моя поездка является неким торжеством справедливости, завершающим для нас обоих эти три года безрезультатной борьбы за элементарные права личности и за человеческое достоинство.

Уже надо было выезжать в Шереметьево, мела метель, дорога могла оказаться плохой. Все еще было неизвестно, вылетает ли самолет по расписанию. Берта и мой сын решили поехать со мной в аэропорт, хотя им пришлось бы вернуться домой поздно ночью. Печальная Кассирова ехала с нами.

Наконец, мои вещи упакованы и впопыхах я не взяла с собой даже фотографии детей и мамы. Я торопилась, волновалась и плохо соображала – что делаю.

Приехал первый секретарь индийского посольства, чтобы ехать на аэродром с нами. Присутствие официальных лиц лишило меня возможности толком попрощаться с детьми. Я зашла на минуту в свою комнату и постояла немного там...

Здесь Баджеш жил всего полтора года. Было трудно и тяжело, но так хорошо и спокойно быть вместе. Здесь он умер на моих руках полтора месяца тому назад и потом маленькая урна стояла в этой комнате. Его присутствие здесь не прекратилось. Его участие в моей жизни продолжалось. Вот его очки на ночном столике, перо и бумаги на столе, его книги в шкафу. За полтора месяца

прошедших после кремации каждый раз, когда я входила сюда, я чувствовала, что я не одна в комнате. Это было немного жуткое чувство, но одновременно – приятное. Комната не стала пустой и необитаемой. Добрый дух витал в ней, ласкал эти стены и окна мягким взглядом, гладил этот стол и книги слабой, маленькой рукой, потрепавшей меня по щеке за несколько минут до того, как сердце остановилось.

Но доброе сердце никогда не перестанет биться. Маленькая, слабая рука по-прежнему гладит меня по щеке, чтобы ободрить, и ласковая улыбка следит за мной издалека, издалека...

* * *

В машине молчали, каждый думал о своем. Мне было досадно, что я только наспех поцеловала Катю, стоявшую в дверях ее комнаты. А она была смущена резкой сценой, происшедшей тут же, всех огорчившей, хотя никто не был виноват. Уже когда все были в пальто, Леночка схватила мой саквояж, чтобы помочь мне. Но я испугалась, потому что там внутри была урна, (Леночка и не знала), и резко крикнула – «оставь, не трогай!». Ося подскочил, со злыми глазами, защищать свою ненаглядную. А она обиделась, потому что, в самом деле, так мало оставалось времени, чтобы оказать хоть какую-нибудь услугу друг другу. Все были раздражены и нервны в этот день. Это напряжение не проходило, сын мой сидел мрачный, и только Берта, как всегда, громко говорила и смеялась.

На аэродроме свои порядки. Я надеялась, что перед отъездом, отложенном из-за погоды на час, я посижу спокойно в фойе с Бертой и сыном. Но, как «пассажир, отбывающий за рубеж», я уже была опасной для прочих граждан, а потому меня немедленно отделили от них стеклянной стеной. Нам осталось только быстро попрощаться второпях и впопыхах, среди чемоданов и напирających сзади пассажиров.

Я поцеловалась с Осей (его глаза все еще были злыми из-за Леночки), поцеловалась с Бертой, мы бессмысленно сказали друг другу – «пиши!» – «напишу!» – и я осталась только с Кассировой, которая теперь была моей тенью и следовала за мною за любые перегородки. Мы оформляли багаж, сдавали советские деньги, выправляли наши паспорта, и только еще раз мне удалось увидеть за стеклянной стеной Берту, уже не смеявшуюся, и Осю, печального, и не сердитого. Я могла только помахать им рукой, и они махнули мне... Вот и все.

Браджеш Сингх в Москве

Лишь восемь часов полета отделяет морозную метель Москвы от теплого Дели, где декабрь равен нашему маю – столько солнца и цветов.

Восемь часов полета оказались для меня роковыми. Эти часы и километры отделили меня от всего, к чему я, казалось, была навеки привязана, прикована, приговорена, – к чему я, казалось, принадлежала всей своей жизнью. Но мы все только полагаем, что чему-то и кому-то принадлежим...

Ночью в самолете я не могла заснуть. Мы летели на восток. Утро наступило здесь на три часа раньше, стало очень быстро светать, гасли звезды на сиреновом небе. Мы летели туда, где вставало солнце и небо все ярче и ярче наливалось золотым светом. Я смотрела на это небо, на розовые от зари хребты и перевалы Гиндукуша под нами и не догадывалась тогда, что эти горы скоро отделят меня от моей прошлой жизни непроходимым рубежом.

Кассирова спала. Ее лицо и во сне выглядело несчастным, а веки были красными от слез. Возле нее стоял чемодан с подарками для ее коллег в посольстве: она везла им буханки ржаного хлеба и московскую копченую колбасу.

Мы летели быстро, и утро несло нам навстречу. Где-то впереди уже встало солнце, но мне было видно только все сильнее разгоравшееся небо, ослепительное на этой высоте. Окно было слева, а между мной и окном стояла драгоценная сумка, и я держала на ней руку.

Ну, вот мы и летим с тобой в Индию, Браджеш Сингх. Тебе так хотелось этого, ты это мне обещал – и ты всегда выполнял обещания. Я не одна, мне не страшно впервые оставить город, где прошла вся моя жизнь. Мой паспорт, билет, документы лежат в твоём бумажнике, с которым ты приехал в Москву, – я взяла теперь его себе на память. Вот и солнце, наконец! Весь воздух наполнился им и резче обозначились тени горных хребтов. Мы летим к тебе домой – вместе. Наконец, нам это разрешили.

* * *

Мы встретились в Москве в октябре 1963 года, по случайному совпадению очутившись в один день в одной и той же больнице. Ему удалили полипы из носа, а мне миндалины из горла. В коридоре, куда мы выходили из палат, где наши столики для еды стояли рядом, мы несколько дней прогуливались молча, оба в больничных халатах и пижамах, похожих на арестантские. Мне сказали, что этот невысокий седоватый человек, сутулый, в очках, с белыми тампонами ваты в ноздрях – коммунист из Индии, и я незаметно разглядывала его. Он разговаривал по-английски с

девушкой из Канады, по-французски с молодым итальянцем, объяснял что-то на пальцах диет-сестре, вежливо и мило улыбаясь. В мою сторону он взглянул раза два без особого интереса: больничная одежда, замотанное шарфом горло и измученный вид вряд ли способствовали большему. Горло нестерпимо болело, я не могла разговаривать.

В те дни хрущевского либерализма в загородной правительственной больнице в Кунцево можно было увидеть иностранцев со всего света, – конечно, только коммунистов или особо выдающихся «борцов за мир во всем мире». Их даже помещали в палаты вместе с советскими гражданами, с которыми они имели возможность общаться без переводчиков и посредников, что в иных условиях почти не происходит. В нашем коридоре можно было видеть приезжих из Италии, Индии, Канады, Индонезии, а молодой человек с лицом малайского типа, говоривший по-французски, оказался с острова Реюньон. Но для меня интереснее всех был, конечно, индиец.

Это было не случайно. Интерес к Индии пробудился в СССР благодаря Джавахарлалу Неру, яркому человеку, выдающемуся политическому деятелю, чей недавний приезд в СССР был огромным событием. В России всегда существовал интерес к индийской философии и культуре. Но Неру заново «открыл» их, и не только своей книгой «Открытие Индии», но, намного сильнее, – своей собственной личностью, соединившей в себе Восток и Запад. И мне была более интересна та Индия, о которой писал Неру, реалистический политик, эстет, живо чувствующий искусство, историк с широким гуманистическим кругозором, – но не философ. Мистически-религиозный элемент индийской культуры интересовал меня тогда менее всего. О Рамакришне и Вивекананде я знала мало, и только из книг Ромэн Роллана. Моральное учение раннего буддизма, самая личность Будды, великая подвижническая жизнь Махатмы Ганди, так гармонично соединившего древнюю философию с современной жизнью, были для меня значительнее и интереснее. У меня и в больнице была взята с собой из дома книга Намбудрипада о Ганди, и мне так хотелось узнать, что думает о ней этот индиец. Мне хотелось подойти, заговорить, спросить, но я не решалась. Для меня было еще совсем непривычным говорить по-английски и, вообще, подойти первой к незнакомому человеку, да еще иностранцу, было для меня чем-то сверхъестественным.

Набравшись духу, заготовив английские фразы, я было решилась однажды, увидев, что Сингх идет навстречу мне по коридору. Но он вежливо уступил мне дорогу, сделав шаг в сторону. Я смутилась и молча прошла мимо.

День или два я не решалась попробовать еще раз. В библиотеке я просмотрела что там было об Индии, – не так-то много, книги Неру и Рабиндранат Тагор. Есть ли здесь «Гитанджали», песни, прочитанные еще в школе? Нет, не могу найти. А что это, что за фраза?

«Сегодня сердце мое почему-то раскрылось,
В него вошел мир, и обнял меня».

(«Утренние песни»).

Я записала себе эти строки на бумажку и повторяя их пошла на наш этаж. Сингх вышел из своей комнаты, когда я была около его двери, и я вдруг перестала бояться.

«Вы, кажется, из Индии?» – обратилась я к нему.

«Да, да!» – улыбнулся он приветливо.

«Тогда можно вас спросить...» – начала я смелея.

И мы сели в коридорчике на диван и проговорили около часа о Ганди, о Неру, о кастах в Индии. Сингх тут же задал мне вопрос – какую организацию я представляю, уже привыкнув, что здесь все разговаривают только от лица коллектива. Услышав, что я «сама по себе», он просиял. Наш разговор был прерван обедом, но мы теперь свободно и легко разговаривали, как только встречались в нашем коридоре.

Довольно быстро выяснилось, что хотя Сингх уже 28 лет коммунист (он стал им в Лондоне), но взгляда своего коллеги Намбудрипада о Ганди он не разделяет. Когда я спросила его о книжке, он, засмеявшись, только махнул рукой:

«Намбудрипад – наш левый», – сказал он с безнадежным презрением.

Для самого Сингха коммунизм был лишь идеалом человеческого братства, основанного на принципах гуманизма и справедливости. Проливать чью-либо кровь для достижения идеала он не желал, да и не смог бы. Он верил в путь реформ и мирной, демократической борьбы. В лондонской группе молодых индийцев, ставших коммунистами, никто всерьез не изучал марксистской теории: прочитав несколько популярных брошюр, молодые протестующие энтузиасты «решили стать коммунистами».

Сын богатого раджи он долго жил потом в Германии, Англии, Франции, Австрии. Он помогал европейским коммунистам где и чем было возможно. Много лет он был близким другом и последователем М. Н. Роя.

В конце 20-х, начале 30-х годов коммунизм был модой во всем мире и привлекал многих. В Индии в те годы только молодые люди из высших каст могли приобщиться к европейскому образованию и к европейским социальным учениям: такова была и

лондонская группа. Не марксистская классовая борьба, а борьба за независимость Индии оставалась главным содержанием жизни этой образованной либеральной интеллигенции. После создания независимой Индии они оставались на позициях мирного парламентаризма и все сильнее расходились с левыми внутри своей партии. Из первых же слов Сингха можно было заключить, что ни для какой «великой цели» он не убьет не только человека, но и мухи.

К моему большому удовольствию выяснилось, что мой собеседник не знает с кем разговаривает. На второй день знакомства он начал задавать вопросы об СССР и спросил меня – «сильно ли изменилась жизнь в Советском Союзе после смерти Сталина?» Я ответила ему, что, конечно, изменилась, но я думаю, что эти изменения не очень глубоки, не фундаментальны. Затем я сочла нужным, наконец, представиться.

Сингх посмотрел на меня сквозь толстые стекла своих очков, потом поверх них, и сказал только «О!», чудное английское «Oh», у которого может быть столько интонаций. Больше он не сказал ничего; и ни разу – даже потом, когда мы жили вместе – не задавал мне никаких вопросов о моем отце. Он не принадлежал ни к числу его почитателей, ни к тем, для кого Советский Союз воплощал идеал справедливости на земле. Он хорошо знал Европу и европейские коммунисты были его друзьями. Социалистические Польша и, особенно, Югославия были ему намного ближе России. И вообще он был стар и болен, и устал от бесполезного кровопролития на всей земле, от бесплодных внутрипартийных; споров, от пустой борьбы честолюбий. Поэтому он сказал только «О!» и позже произнес что-то философское вроде: «Времена меняются, приходят новые люди и другая политика...» Но все это было для него несущественно. Ему было лишь интересно, что неожиданно он встретил в Москве человека, независимого ни от каких организаций и разговаривающего с ним по-английски и по-человечески. Я была для него – человек. Кроме того он принадлежал к семье, знавшей Ганди, Неру и других известных людей Индии. Он повидал в жизни многое и многих, и его «О!» не было очень удивленным. Так что, лучшего собеседника мне было не найти.

Оставшиеся несколько дней в больнице мы проводили вместе каждую свободную минуту и каждый рассказал другому свою жизнь. Я не могу объяснить, почему у меня было чувство абсолютного доверия к этому незнакомому человеку из другого мира. Не знаю, почему и он верил каждому моему слову.

Обширный мертвый запас английских слов вдруг ожил. Ведь раньше мне не приходилось ни с кем говорить, – а сейчас я без труда говорила и понимала все до слова. У Сингха был хороший,

чистый английский, с хорошим произношением, полученный от шотландца-воспитателя и преподавателей-англичан колледжа в Лакхнау. Все его манеры и поведение были европейскими. Только мягкое спокойствие, да постоянная милая улыбка выдавали традиционное индусское ненасилие и равновесие духа.

В его внешности не было экзотической яркости Востока. Когда он надевал свой берет и шарф, идя на прогулку, то становился похож на пожилого итальянца или на тихого, печального еврея.

Мы сидели или бродили по больничным коридорам в своих халатах, беспрерывно разговаривая, и на нас уже бросали косые взгляды больные. Не следует забывать, что в этой больнице находились только чиновники партийного и государственного аппаратов, самые известные актеры, члены правительства и их семьи, словом, московский «высший свет». В глазах всех этих людей (за редким исключением, быть может) я вела себя вызывающе, так как проводила все время с иностранцем, явно предпочитая его обществу советской элите. Но я привыкла нарушать правила этой элиты, которая, в свою очередь, привыкла считать меня уродом в своей среде.

Консервативные партийцы, заполнявшие палаты кремлевской больницы, давно возмущались тем, что Хрущев поощряет усиление контактов с заграницей. Недовольные всем происходившим в стране после 1953 года, изгнанные с «теплых местечек», ожиревшие, апоплексические от водки, обиды и вынужденного безделья, они собирались здесь у телевизоров и «резались в козла», – как они называли игру в домино.

Когда эти тяжеловесные туши в пижамах надвигались на нас, прогуливаясь по коридорам, мне становилось страшно за тщедушного, близорукого Сингха. Он громко говорил по-английски и непринужденно смеялся, не усвоив еще советской привычки разговаривать вполголоса. А они замолкали от негодования, видя «такое безобразие» в этих стенах, построенных специально для них и принадлежавших раньше только им.

Сингх был неизлечимо болен. Более двадцати лет бронхоэктазии (хронический бронхит), полученной в Англии и эмфиземы привели его легкие в безнадежное состояние. Антибиотики помогали на время, но холодный климат и простуды быстро выводили его из строя.

Как все индийцы, он был терпелив, не жаловался, не боялся смерти и говорил о своей болезни с юмором, обращая все в шутку. Он фактически уже не работал для партии и желал теперь только тихо дожить жизнь, зарабатывая переводами где-нибудь в Польше, Германии или Югославии – у него везде были друзья. В СССР он попал впервые случайно: каждая компартия получает извест-

ное число приглашений из Москвы для лечения и отдыха. Предложили и ему, и он решил воспользоваться случаем отдохнуть, подлечиться и посмотреть «коммунистическую Мекку» Москву.

Он провел уже полтора месяца в этой больнице, затем его отправят в дом отдыха в Сочи, потом, по пути в Индию покажут Тбилиси и Ташкент, – обычная программа для иностранцев. Пока что все, что он успел узнать об СССР, не привело его в восторг, и он был уверен, что эта поездка в СССР для него первая и последняя.

Цепь счастливых случайностей, благодаря которой мы встретились, продолжала помогать нам. Врачи рекомендовали после операции отдых на юге – и ему и мне. Это были одни и те же врачи, та же больница, та же система здравоохранения, где каждому больному отведено, соответствующее его общественному положению, место. Ему и мне полагалось, в соответствии с этим порядком, ехать в Сочи, в один и тот же дом отдыха, на весь ноябрь.

В Москве была слякоть и холод. В Сочи ноябрь 1963 года был необычайно теплым и солнечным, всюду цвели розы. Дом отдыха, построенный в начале 50-х годов в ложно-классическом стиле «социалистического реализма», с колоннами, фресками и статуями на каждом шагу, был чудом безвкусицы и помпезности. Отдыхали здесь только члены партии. Они съезжались сюда, к теплему морю, со всего СССР, работники райкомов, крайкомов, обкомов. Москвичей было мало: ноябрь ответственный месяц – парад, праздники, все правительство в это время в Москве, на Красной площади, – не время отдыхать. Московский партийный актив в ноябре находится «на своем посту», а провинциалы берут отпуск. Сибиряки наслаждались солнышком и морем.

Узбеки, таджики и азербайджанцы, наоборот, мерзли: один не расставался с папачой даже в столовой, другой «мерз» в теплом кителе и бурках. Велика Россия, на всех не угодишь!

Были здесь и «заморские» коммунисты – двое из Греции, несколько африканцев и два индийца: Баджеш Сингх и бенгалец Сомнат Лахри. Для иностранцев в штате держали переводчицу, но индийцы отказались от ее услуг: они предпочитали гулять по городу со мной. Мы сидели втроем у моря, бродили по сочинской набережной и проводили целые дни вместе. Это было грубым нарушением правил – ими и мной – и партийная общественность это отметила.

Хотя времена были либеральные, но большинство привычных догм продолжало управлять жизнью – особенно в этой партийной среде. Одна из таких аксиом состоит в том, что всякий иностранец в СССР подозревается в шпионаже, а потому за ним нужен глаз да

глаз, и доверять нельзя. В соответствии с этим в общем зале столовой для «иностранных гостей» был отведен специальный отдельный стол в уголке, обильно заставленный бутылками и икрой, что вызывало ропот рядовых отдыхающих. Они могли бы, конечно, подойти и присоединиться к иностранцам, чему те были бы только рады, но то, чему учили их со школьных лет, их не пускало...

Индийцы этих аксиом не знали, и потому сразу же пригласили меня пить чай с ними за столом. Это было тоже серьезным нарушением правил и мы за него поплатились. Со следующего дня «иностранный стол» накрывали в отдельной комнате, которую запирали в часы между едой, главный врач объяснил индийцам через переводчицу, что теперь они могут сколько угодно приглашать меня к столу. Ничего не понимая, они попросили у меня разъяснений, и я сказала Сингху все, что думала по этому поводу... Он только усмехнулся и махнул рукой.

В те ноябрьские дни мы трое слышали по радио весть об убийстве президента Кеннеди. Индийцы были потрясены этой новостью. В санатории никто не знал как реагировать до тех пор, пока в центральных газетах не появилась телеграмма советского правительства с выражением соболезнования.

Иностранным коммунистам «показывали» страну. Индийцев повезли к главному архитектору города Сочи и там они прослушали доклад о перспективном плане развития это курорта на ближайшие 20 лет. Доклад переводила переводчица, это было мероприятие по плану. Улыбнувшись, индийцы поблагодарили, заметив, что через 20 лет их уже не будет в живых. Потом их повезли в чайный совхоз, полагая, что им будет интересно: все в СССР пьют импортный индийский чай. Но индийцы признались друг другу по дороге, что никогда не видели, как растет чай. В их провинциях его не возделывают.

В совхозе их повели на поля и рассказали об урожаях потом в детский сад, где дети повязали им красные пионерские галстуки, затем, в изнеможении, они прослушали доклад о развитии чайного дела в этом районе. Переводчица переводила. Они терпеливо ждали, что наконец им дадут поговорить с крестьянами – им так хотелось узнать о советской сельской жизни. Но этого программа не предусматривала и их повезли обратно в Сочи. Сомнат Лахри спал всю дорогу, а Сингх держал в руках веточки цветущего чая и привез их мне.

Когда они мне рассказывали все это, я закипала от негодования, от стыда, от бессилия что-либо изменить и сдвинуть с места в бюрократических порядках. Они соглашались со мной, но смеялись, беззлобно. Они не умели злобствовать, у них в мозгу не было

злобной извилины. Их спокойствие и невозмутимость были величественными. Они все понимали и замечали, но их ничто не выводило из себя.

Они смеялись над нашим бездушным формализмом, они были сильнее него.

Я тоже показывала им Сочи, но иначе. Мы ходили в приморский ресторан днем, когда никого нет, и подолгу сидели на его балконе, глядя на море. Сингх хотел видеть православную службу и я водила его в церковь. Он удивленно заметил, что служба в православной церкви напоминает ему индусский храм, чего он не ощущал на Западе.

Мы ходили на рынок, где расспрашивали о ценах на виноград, айву, груши, свежую рыбу. Мы гуляли по набережной и, в отличие от Сингха, Сомнат Лахри, член парламента Бенгалии, мучил меня расспросами о моем отце и о политике. Им обоим так хотелось непринужденного разговора с советскими людьми, но они чувствовали, что люди к этому не привычны, а партийные – просто боятся. Это удручало их. Они видели Чехословакию, Польшу, – там атмосфера была иной. Я объясняла им, что они попали в наихудшую среду: партийцы в СССР, как правило, самые косные и консервативные люди; что в среде интеллигенции они чувствовали бы себя совсем иначе. Такое объяснение удручало их еще больше: ведь в Индии так идеализировали советских коммунистов.

В нашем доме отдыха многие пытались «отвлечь» меня от иностранцев. Несколько человек прямо сказали мне, что «некрасиво получается, вам надо бы больше со своими быть». Одна пожилая пара любезно предложила: «Присоединяйтесь к нашим, ростовским, нас тут много, пойдем вечером погуляем». Отказываться было неудобно, я пошла, и весь вечер слушала пошлые, старые анекдоты из партийной жизни.

Ко мне нередко подходили и, отведя в сторону, озираясь, вполголоса говорили: – «Ваш отец был великий человек! Подождите, придет время, его еще вспомнят!» И неизменно добавляли: – «Бросьте вы этих индусов!»

Иногда незнакомые подходили, пожимали руку, просили сфотографироваться вместе. Всю мою жизнь мне всегда было стыдно и неловко от этого, я не знала, как отделаться от верноподданнических чувств. А сейчас мне их выражали те, кто не знал, что моя жизнь, как и жизнь всей страны, стала легче и лучше после 1953 года.

Неприявшие новый курс Хрущева и решения XX съезда считали, что я «роняю имя отца», и удивлялись, что я ношу фамилию мамы вместо «великого имени».

Врачи, сестры, прислуга – были, по-видимому, проинструктированы не оставлять нас без надзора. Если мы играли иногда втроем в карты в комнате Сингха, то туда ежеминутно заходили то с фруктами, то смахнуть пыль, то менять белье среди бела дня.

Мне в комнату поместили соседку, хотя я очень просила оставить меня одну. К индийцам не решались «подсовывать» кого-либо: – все-таки гости, могут пожаловаться в иностранный отдел ЦК. Индийцы были слишком благодушны, чтобы на что-нибудь жаловаться. Но в Москву, несомненно, был послан донос об их и моем недопустимом поведении. Мы не придавали большого значения тогда отголоскам прошлого, но к несчастью, всего лишь через год пал Хрущев и многое стало меняться в сторону этого уродливого прошлого. Тогда-то я вспомнила Сочи, и партийных отдыхающих...

Теплый сочинский ноябрь с его розами, апельсиновыми закатами, с треском цикад под звездным небом сдружил, сблизил нас и решил многое. Баджеш Сингх, которому в декабре следовало вернуться в Индию, изменил свои дальнейшие планы. Он твердо решил не позже чем через полгода возвратиться в Москву, чтобы работать переводчиком в издательстве и, чтобы быть со мной вместе.

Он был одинок, как и я. Его первая жена, индуска, и две дочери уже более двадцати лет жили отдельно и были чужими ему. То был традиционный в индусской семье брак, заключенный родителями, без знакомства и любви молодых. В 1940 году, в Вене, куда вступали немцы, он встретил еврейскую девушку, искавшую спасения от нацистов. Она уехала с ним в Индию и они прожили вместе 16 лет, а потом она решила жить в Англии, чтобы дать хорошее образование их сыну. Сингх не смог подыскать себе работу в Лондоне и вернулся в Индию, хотя любил сына, талантливого фотографа, и тосковал по нем.

Он мог жить в любой стране, а Москва сейчас предоставляла ему наилучшую возможность спокойной работы. В Москве он знал многих в индийской колонии, а посол Т. Н. Кауль был знаком ему с юности. И, наконец, он знал, что мое сердце и мой дом открыты для него.

Он верил мне и жалел меня. «Прожить всю жизнь в одном и том же городе?!» – ужасался он. – «Я покажу вам Индию, Европу, мы везде поедем вместе. Я смогу возобновлять контракт каждые три года, а каждый отпуск мы будем проводить с моими друзьями в разных странах. Как замкнуто живете вы, русские! Это невозможно!»

Наивный человек, он не знал, что русские так вот и живут уже 50 лет. Мое поколение выросло в полной изоляции от мира. Но

мы все надеялись, что теперь жизнь будет улучшаться и становиться хотя бы такой же свободной, как в социалистической Югославии или Чехословакии, что люди начнут, наконец, путешествовать. Всем надо видеть мир. Мы надеялись. Но мы заблуждались...

Он уехал в Индию в декабре 1963 года, и я стала ждать его возвращения. Мои дети познакомились с ним и знали о наших планах. Я, как обычно, рассказала все сыну, которому было тогда 18 лет. Мы всегда говорили с ним, как равные, взрослые друзья.

Для меня Сингх был пришельцем из другого мира, духовно намного более богатого и интересного чем тот, в котором я выросла. Самым неожиданным и прекрасным оказалось взаимное понимание: не мешала разница наших биографий, стран, языка, опыта, возраста, – Сингх был старше меня на 17 лет. Казалось, что все эти различия помогали понимать, жалеть и любить друг друга. Любить и полностью верить друг другу, с первых же слов.

В последний день перед отъездом из Москвы он зашел к нам и в моей комнате вдруг закрыл глаза рукой, чтобы скрыть слезы. – «Света, вдруг я никогда больше не увижу вас?» – спросил он и сразу же, сияясь улыбнуться, проговорил. – «Нет, нет, все будет хорошо! Через несколько месяцев я буду снова здесь». Ему было легче называть меня «Света», а не «Светлана», потому что на санскрите есть имя «Света», что означает «белая». Других слов по-русски он не знал.

Но он смог вернуться в Москву только через полтора года. Письма приходили редко и лишь с okazji – на советскую почту мало надежды. Письма для меня Сингх посылал на имя индийского аспиранта-биолога в Москве. Молодой человек приносил их мне и брал мои, отправляя их, как и свои, через индийскую посольскую почту. Мы подружились, и я перевела с английского на русский его кандидатскую диссертацию по генетике, которую он вскоре успешно защитил.

Полтора года было потрачено на усилия добиться контракта и приглашения от издательства, на борьбу с противодействием двух ЦК – индийской и советской компартий. Мы не учли, как быстро может перемениться политический климат в Москве и как, подобно флюгерам, сразу же поворачиваются по ветру компартии других стран... Да и кто мог предвидеть падение Хрущева в момент его наивысшей мировой популярности? Разве мы догадывались, что наша судьба зависела и от этого?

Официальное приглашение переводчика-иностранца на работу в московское издательство – очень долгий процесс. Но Сингх был старый коммунист и его рекомендовал генеральный секретарь ИКП Ш. А. Данге; его знал и поддерживал посол в Москве Т.

Н. Кауль. С формальной стороны лучшего не могло и быть. Но все зависело от московского ЦК, от его иностранного отдела.

Сначала все шло гладко, Сингх писал мне, что Данге послал его рекомендацию в Москву. Мы терпеливо ждали.

Дружба с Индией в 1964 году крепла с каждым днем. В сентябре Москву должен был посетить президент Радхакришнан. Чтобы подробнее договориться об этом визите, в августе в Москву приехал зам. министра иностранных дел Индии Динеш Сингх – молодой человек моих лет, племянник Баджеш Сингха.

Он, конечно, знал о планах своего дяди. Он позвонил мне из гостиницы, был очень любезен, приехал посмотреть, как я живу. Я даже не ожидала такой любезности со стороны молодого блестящего дипломата. Он так же хорошо носил европейский костюм, как и его дядя, и его английский язык был таким же безукоризненным. Он дал интервью по московскому телевидению, говорил о социализме и об индийском пятилетнем плане, и всех очаровал. Он заверил меня, что Баджеш скоро приедет, и что он сам и его семья надеются однажды увидеть меня в Дели. Я все ждала известий об официальном приглашении Сингха издательством; Сингх ожидал его со дня на день, и не понимал, почему его до сих пор нет. Он ничего не мог предпринять в Индии, отказался там от хорошей работы, зная что поедет в Москву, делал напрасные поездки по жаре и пыли из деревни в Дели и, судя по письмам, часто был болен.

Я вспоминала теперь косые взгляды, которые бросали на нас партийные бюрократы в Сочи и в больнице. По горькому опыту всей моей жизни я знала, что они не оставят нас в покое и только до времени притаились. Я знала также, что группа индийских коммунистов в Москве (формально все дела Сингха должны были проходить через нее), была под влиянием левых, для которых Баджеш Сингх вообще был «не коммунист, а раджа». Так и говорил, смеясь, – секретарь этой группы Чандра Шекхар, зашедший ко мне вместе с Сингхом еще перед отъездом последнего из Москвы. Чандра приехал в Москву в 1949 году из южного штата Керала, после неудачной попытки создания коммуны в этом штате. Он отказался от индийского гражданства, женился на русской и вполне стал «советским человеком», свободно говорящим по-русски. Он стал признанным экспертом и референтом по индийскому рабочему движению в Москве – хотя в Индии вряд ли его признали бы таковым. Он писал труды о «пролетариате Индии», давшие ему ученую степень кандидата исторических наук, давал справки для иностранного отдела ЦК КПСС об Индии и был единственным диктором московского радио на языке малайялам. Он лелеял мечту о революции в Индии, как и его земляк Намбудри-

пад, вождь левых коммунистов, книжка которого о Ганди так не нравилась Сингху и мне. И от этого человека зависело теперь многое в судьбе Сингха.

Я отправилась к Чандре и прямо спросила его, знает ли он о рекомендательном письме Данге, которое уже давно должно было быть передано в ЦК КПСС. Чандра, со своим обычным смешком, посмотрел на потолок, потом по сторонам, стараясь не встречаться с моим взглядом, и ответил: «Я не помню, куда я его девал... Никак не могу найти это письмо...»

Летом, того же года, я видела А. И. Микояна, всегда доброго и по-человечески внимательного ко мне. Я рассказала ему все о Б. Сингхе и наших планах, и он выразил большую симпатию к нам. Однако, чтобы иметь чье-то мнение «над» своим собственным, он рассказал все Хрущеву. По словам Микояна, Хрущев был очень доволен и сказал: «Вот и прекрасно! Пусть поедет, посмотрит Индию, – полезно видеть другие страны!»

Я рассказала Микояну о том, что процесс официального приглашения на работу еще не начался.

«Ах, эти аппаратчики, – раздраженно сказал Микоян, – вечно они всего боятся! А когда приедет твой Сингх – приходите вместе в гости и я вас „благословлю“.

В марте 1965 года приглашение, наконец, было получено, и Сингх мог выехать в Москву для подписания контракта о работе в издательстве.

7-го апреля мой сын Ося и я встречали его в аэропорту Шереметьево и, стоя за стеклянной перегородкой, вглядывались в лица пассажиров прибывших из Дели.

...Могла ли я думать тогда, что лишь через год и восемь месяцев я снова приду в этот зал, увозя в Индию прах мужа, и что в последний раз увижу своего сына, стоящим за этой самой стеклянной стеной?..

Все пассажиры, прибывшие из Дели, уже расходились, а Сингха не было видно. Мы прилипли к стеклянной перегородке. Мой сын волновался, потому что видел, как волнуюсь я.

Наконец я увидела медленно идущего Сингха с тяжелой сумкой в руках. Издалека было видно, что он с трудом переводит дыхание, и потому пришел позже всех. Нам еще долго пришлось разглядывать его только через стекло, пока всем пассажирам выправили документы. Он улыбался, махал нам рукой и все время кашлял. Очевидно, за эти полтора года его здоровье ухудшилось, он постарел, лицо стало одутловатым. Он был в тяжелом пальто, в берете и теплом шарфе, как всегда. Добрые, близорукие глаза за толстыми стеклами очков, милая улыбка.

Сингха встречали не только мы. Были еще двое представителей издательства – русский и индиец, давно живший в Москве, старый приятель Сингха, давший ему мысль работать в этом издательстве. Они повезли его на квартиру, которую, по условиям контракта, предоставляло ему издательство. Мы условились, что я заеду позже, а пока что я отправилась с сыном домой. Мой, все понимающий, сын сказал: «Чего уж там, мама, привози его сразу к нам; все равно ведь этим кончится раньше или позже, так лучше сразу!..»

Наконец-то можно и поговорить. Как трудно поверить, что после полутора лет неизвестности и ожидания – мы видим друг друга. Нет, подождите, – прежде всего Сингх надевает мне на руку маленькие часы, – он привез их мне в подарок. (Его уж нет, а часы и сейчас на моей руке – идут, живут...). Потом он сказал: «Послушайте, Света, вы видите, я чувствую себя неважно. Мне нужны антибиотики, может быть, недели на две-три больница. Я надеюсь, будет лучше, я очень устал в Индии, это неопределенное время было ужасным! Но прошу вас, подумайте, пока не поздно: я еще не подписал контракта, я могу ехать к друзьям в Югославию и работать там. Вам будет трудно, я не хочу быть обузой. Я не проживу долго». В груди у него сипело и хрипело.

Нет, – как можно было расстаться теперь, после стольких усилий и трудностей, когда все достигнуто? Как можно было опять расстаться? Я сказала: «Глупости. Едемте к нам. Все равно вы не можете жить один в этой пустой квартире. Едемте домой!»

Мы приехали к нам домой, и стали разбирать чемоданы. Прежде всего, он достал подарки моим детям – никто не был забыт. Потом мы все пошли к нам на кухню ужинать.

И все казалось нормальным и обычным, – просто человек вернулся после долгого отсутствия, из далекой страны.

* * *

Полтора года мы ждали друг друга, и еще только полтора года прожили вместе. Он жил бы дольше, если бы мы не натолкнулись на неожиданности, способные разрушить и более крепкое здоровье...

Пока Сингх ждал приглашения в Москву, у нас в стране сменился премьер. В октябре 1964 г. испытанным методом «дворцового переворота» консерваторы свергли раздражавшего их Хрущева и усадили на престол Косыгина. Так называемое «коллективное руководство» триумvirата (Косыгин, Брежнев, Микоян) означало, по существу, приход к власти партийных консерваторов во главе с М. Сусловым. Первым же великим актом новой власти была поездка Косыгина в Китай, и весь мир обошла фото-

графия: развалившийся в кресле председатель Мао и подобострастно сгорбившийся перед ним Косыгин.

Но кто бы мог подумать, что эти «великие» перемены будут иметь какое-то значение для нашей частной жизни?

Законы СССР признают только гражданский брак, религиозные браки не имеют легальной силы. Известен прецедент подобного рода с вдовой композитора Сергея Прокофьева. Их брак был заключен католической церковью еще в эмиграции и, как известно, католики не признают развода. Но вдова Прокофьева не могла восстановить своих прав жены и наследницы после его смерти потому, что в то время, как она отбывала свой срок в тюрьме, Прокофьев заключил гражданский брак с другой женщиной, советской гражданкой, и теперь, по советским законам, этой женщине принадлежали все легальные права вдовы, несмотря на то, что у них не было детей, а от первого брака было два взрослых сына. В любой другой стране первый брак оставался бы в силе, – но не в СССР. Для нашего случая этот прецедент имел решающее значение потому, что Сингху не требовался развод от его первой жены, брак с которой был религиозным. Все это нам было известно. Но мы знали также, что в СССР закон в любом случае может быть интерпретирован в «интересах государства», и в этом таится опасность полного беззакония.

Мы только успели навести справки в единственном в Москве ЗАГС'е, регистрировавшем браки с иностранцами.

На следующий же день мне позвонили из приемной премьер-министра, вызывавшего меня на прием. Это было неожиданностью и я не знала, что предполагать. Я была так счастлива, что меня, казалось, «забыли» в годы Хрущева. Правительство совершенно не интересовалось тем, как я живу. А что будет теперь?

4-е мая 1965 года было холодным, ветренным днем. Я вошла через Спасские ворота в Кремль, где не была уже много лет, и неприятные чувства охватили меня. Было холодно, казалось – сейчас пойдет снег. Я шла в старое здание Казаковского Сената, на первом этаже которого почти 20 лет помещалась наша бывшая квартира, а весь второй этаж занимала приемная председателя совета министров, его кабинет и канцелярия. Хрущев дважды говорил со мной в своем кабинете в ЦК КПСС, на Старой Площади. Косыгин же принимал меня теперь здесь, в бывшем кабинете моего отца.

Я ждала в приемной. Уже здесь у меня сжалось сердце от тяжелого предчувствия. Опять эти унылые стены в деревянных панелях, хорошо знакомые мне, эти стандартные казенные ковры, которыми устланы все коридоры в Кремле. Эти зеленые суконные скатерти на пустых столах...

Почему я здесь опять? Зачем? Как тоскливо это ожидание! Каким холодом веет от этих стен, от этих старых сводчатых потолков! Постукивают стрелки электрических часов на стене – такие же часы были в каждой комнате нашей казенной квартиры там, внизу, и так же постукивали. Как я отвыкла от унылых кремлевских интерьеров за эти годы обычной жизни...

Косыгина я никогда не видела раньше, и не говорила с ним. Его лицо не внушает оптимизма. Он встал, подал мне вялую, влажную руку и немного скривил рот вместо улыбки. Ему было трудно начать, а я вообще не представляла себе, как этот человек говорит.

«Ну, как вы живете?» – наконец мучительно начал он, – «как у вас – материально?»

«Спасибо, у меня все есть», – сказала я, – «все хорошо».

«Вы работаете?»

«Нет, сейчас я дома: дети, семья. Иногда делаю переводы, но редко».

«Почему вы ушли с работы, где были раньше?»

«Я ушла по состоянию здоровья, и некому было помочь дома с детьми. Я считала, что для меня дом и дети важнее, у нас ведь есть пенсия...»

«Я понимаю: вам было в то время трудно в коллективе. Это понятно. Но мы не собираемся продолжать гнилую линию Хрущева в этом вопросе! Мы собираемся принять кое-какие решения. И вам нужно снова войти в коллектив, занять должное место в коллективе. Мы вам поможем, если что...»

«Да нет, я не потому ушла. Ко мне всегда очень хорошо относились», – начала было я, но вдруг мне стало так скучно говорить или что-то доказывать. Значит, он считает, что меня «угнетали» после XX-го съезда. Бесполезно объяснять ему, что мне последние годы стало легче жить, чем раньше.

«Нет, ко мне все очень хорошо относились», – повторила я, – «а сейчас я не работаю просто оттого, что много дел дома, и мой муж очень больной человек».

При слове «муж» премьера как бы ударило током и он вдруг заговорил легко и свободно, с естественным негодованием:

«Что вы надумали? Вы, молодая, здоровая женщина, спортсменка, неужели вы не могли себе найти здесь, понимаете ли, здорового молодого человека? Зачем вам этот старый, больной индус? Нет, мы все решительно против, решительно против!»

Я сначала оторопела и не могла не только отвечать, но даже связно думать. Все против. Кто – ВСЕ – против?

«Позвольте, но как же, – начала я, – что значит „против“? Ведь я знаю, что это не вызывало никаких возражений...» (Господи, я

же забыла, что премьер у нас теперь другой, и все другое, и «линия» другая...). – «Больной человек приехал сюда работать ради меня. Что ж, ему ехать обратно?» – сказала я, желая сейчас лишь предусмотреть все неожиданности.

«Ну, нет, это было бы нетактично», – молвил премьер. – «Но мы вам не советуем регистрировать ваш брак. Не советуем. И не разрешим. Ведь он тогда по закону сможет увезти вас в Индию? А это нищая, отсталая страна, я был там, видел. И потом – индусы плохо относятся к женщинам. Увезет вас и там бросит. У нас много таких случаев, уезжают, потом просятся обратно...»

Что-то начало постепенно поворачиваться у меня внутри.

«Мы, во-первых, не собирались уезжать в Индию», – начала я, приходя в себя и начиная трезво соображать. – «Он приехал работать здесь, в Москве. Но, мы, конечно, хотели бы съездить, посмотреть Индию и другие страны».

Но премьеру было не до этих деталей. Он желал внушить мне свое:

«Оставьте вы это. Вам нужно работать, в коллектив возвращаться. Никто его не тронет, пусть работает, условия хорошие. Но вам это ни к чему».

«Теперь поздно», – сказала я резко. – «Человек приехал, он живет у нас и будет жить с нами. Я его не оставлю. Он болен, и приехал только ради меня. Это на моей ответственности».

«Ну, как знаете», – сказал премьер сухо. – «Живите, как хотите. Но брак ваш регистрировать мы не дадим!»

Прием был окончен, он встал, подал руку.

«Хорошо», – сказала я холодно. – «Благодарю вас. До свидания».

У меня не было никакой поддержки в этом кабинете – бывшем официальном кабинете моего отца, известном всему миру. Эти стены давили меня со всех сторон. Даже в окна гляделся все тот же Арсенал, построенный Баженовым. Сколько лет он гляделся в мои окна, желтый с белым, с рядами медных пушек, окаймлявшими фасад – и сколько лет я ничего больше не видела, кроме него да кремлевских сизых елок. Вон, глядится опять, все тени прошлого обступили меня, теснят, душат... Эти пустые коридоры, эти ковры, эти своды... Скорее, скорее выйти! Уйти скорее отсюда! Проклятый Кремль! Проклятая тюрьма! Нет от тебя спасения нигде, никогда, опять ты за мной, по пятам... Скорее домой, где живут нормальные люди, где ждут меня мои дети и бедный несчастливый, наивный человек.

По дороге домой я старалась успокоиться и сообразить, что же теперь делать? Мне нужно было купить пирожных, торт, конфет, так как этот день был, к несчастью, днем рождения моей Кати и Сингха, а они оба любили сладкое. Я выбирала пирожные в мага-

зине, стараясь отделаться от мрачных кремлевских впечатлений, худшим из которых был сам премьер.

Сингх не мог поверить тому, что я ему рассказала.

«Но почему? Почему?» спрашивал он растерянно. Случилось нечто недоступное для психологии человека из свободного мира. Он просто не понимал. И я вдруг почувствовала твердость в этом добром, мягком человеке, когда он, покачав головой, сказал:

«Нет, мне не нравится эта жизнь, как в казарме. И я не преступник. Я должен им объяснить».

Мы написали вместе в тот же день ответное письмо Косыгину. Сингх ожидал ответа, ждал, что с ним, 57-летним человеком, объяснятся по-человечески. Он не понимал, что как человек, как личность, он не существовал здесь.

Мы неожиданно столкнулись с государством. Медный Всадник, тяжело развернувшись, вдруг устремился на тихого человека в роговых очках, и не было спасения от тяжелых копыт.

Ответа на письмо Сингх не дождался. Медный Всадник не может спешиться и сесть рядом с человеком. Ему некогда. Он скачет дальше, сбивая с ног тех, кто подвернется на пути.

* * *

Сингх прожил в Москве всего лишь полтора года. Здоровье его ухудшалось с каждым днем. Этому содействовал и холодный московский климат. Но я думаю, что намного более разрушительным для него оказался политический климат нашей страны, повернувшей от хрущевской оттепели к похолоданию и заморозкам. Резко изменилась атмосфера в идеологических учреждениях, издательствах, литературных журналах, во всех тех кругах художественной, научной и политической интеллигенции, с которыми меня связывали образование и дружба.

В сентябре 1965 года арестом писателей А. Синявского и Ю. Даниэля открылась постыдная полоса незаконных репрессий, вызвавших волну протестов во всем мире. Сингх был потрясен жестокостью приговора: – «Семь лет тюрьмы за книги?! За то, что писатель – пишет книги?»

Когда я рассказывала ему о собраниях, проходивших у нас в Институте Мировой Литературы, где до суда присутствующие обязаны были осудить, приговорить своего бывшего сотрудника Андрея Синявского, еще не признавшего своей вины, где, по указу партийного начальства, фактически предрешался исход судебного дела – Сингх только разводил руками и печально качал головой.

Он знал с моих слов, что в СССР существует обширная литература, которая не попадает в печать из-за цензуры, что многие

пишут «в ящик». Знал, что и у меня есть рукопись – история моей семьи. Его мало интересовало – что там, в моих «20-ти письмах»; он знал мои мысли и убеждения и не вдавался в подробности. В ту зиму он посоветовал мне переслать рукопись в Индию с его старым другом, послом Каулем, что мы и сделали. В СССР можно было ожидать всего – обыска, конфискации книг, стоящих на полке, рукописей, найденных в столе... Все это бывало, все это было уже знакомо. Конфисковали, подобным образом, второй том романа В. Гроссмана «За правое дело», архив и роман А. Солженицына «В круге первом».

Кроме желания сохранить одну из копий рукописи я не думала тогда ни о чем. Посол Кауль увез рукопись в январе 1966 года, во время одной из своих поездок в Индию. Он казался мне тогда надежным другом, часто бывал у нас. Мы ходили в гости в посольство – мои дети, Сингх и я. Это была приятная отдушина для всех нас. Мы говорили по-английски, видели иностранные газеты и журналы. Кауль, как и его друг Мурад Галеп, посол ОАР, любили студенческие вечеринки у моих детей, слушали песни под гитару, танцевали со студентками. Кауля любила молодежь: он приезжал к нам на дачу с большой кастрюлей карри и риса, привозил джин и виски, пел русские песни.

Старые друзья Сингха – индийские коммунисты – отвернулись от него, как только узнали, что советское правительство недоволено им. Д-р Ахмад, Хаджра Бегам, Литто Гхош (вдова Аджоя Гхош), все они постепенно исчезли. Генеральный секретарь КПИ, Ш. А. Данге, не раз приезжавший в Москву, не нашел времени, чтобы повидать Сингха, хотя тот пытался добиться встречи с ним. Динеш Сингх, с приходом к власти Индиры Ганди, ставший государственным министром, перестал писать нам, хотя знал, что здоровье его дяди в опасности. Только брат его Суреш, постоянно живший в деревне Калаканкар, присылал письма каждую неделю.

А. И. Микоян, уже более не Президент СССР, был по-прежнему любезен, но уже не хотел «благословить» нас. Теперь он говорил мне: – «Формальный брак не имеет значения для любви. Я сам прожил с женой 40 лет не регистрировавшись, и никто никогда не сказал мне, что наши пять сыновей – незаконные дети!»

Ах, бедный Микоян, о хитрости которого сложено столько анекдотов! – мы понимали, что он теперь уже не в силах помочь. Распространена шутка о долгой безоблачной карьере Микояна при разных режимах: «Знаете, Микоян теперь пишет мемуары под заглавием: «От Ильича до Ильича,[2] без инфаркта и паралича». Другой анекдот гласит, что «в России восстановили монархию Романовых, и когда сосланный Хрущев подал прошение ца-

рю, тот спросил у своего министра – Микояна: – „Что нам делать с Хрущевым?“ На что царский министр Микоян ответил: – „Я никогда не слышал, кто это такой!“

Теперь Микоян предупреждал меня от «чрезмерной дружбы» с иностранными послами.

«Он ужасно напористый, этот Кауль», – говорил Микоян – «со всем не похож на индийца. Ты подальше, подальше от него!» В конце концов я перестала ходить к Микоянам, и даже его старшая невестка, моя давняя подруга, отвернулась от нас.

Советский Союз разделился на либералов и консерваторов – куда ни глянь – и борьба этих двух направлений отражалась на всем. Сохранить прошлое или решительно отказаться от него? Продолжение линии 20-го съезда или возврат к «сталинизму»; курс на интернациональные связи или на замкнутый русский национализм; современное искусство и эксперимент или консервативная «классическая традиция»; свежий ветер времени, носителем которого всегда является молодежь, или тяжеловесный «ленинизм» старых партийцев – эти две противоположные тенденции сталкивались везде. Разногласие пронизывало семьи, вламывалось в многолетнюю дружбу, в личные отношения. Я назвала бы это борьбой партии Памяти с партией Надежды – пользуясь терминологией одной книги, прочитанной уже теперь, в США. Это термины Эмерсона, но они применимы к любой стране. Как нигде – они приложимы к советской России, ко всему, что происходит в огромной стране, официально руководимой одной партией. Но не верьте этому! В СССР сейчас во всем борются не на жизнь, а на смерть партия Памяти с партией Надежды, партия прошлого с партией будущего. Это столкновение особенно почувствовалось когда новый режим Сулова-Косыгина захотел повернуть историю вспять и вернуться к прежним методам. Память толкала их к прошлому. Надежда заставляла всех сопротивляться во всем, где только возможно.

В издательстве Прогресс, где Сингх переводил английские тексты на хинди, тоже боролись эти две тенденции. Главным редактором английского отдела был В. Н. Павлов, бывший личный переводчик моего отца (переводивший в Тегеране, Ялте, Потсдаме, ведший переписку с Рузвельтом и Черчиллем во время войны). Редакторши обожали Сингха и хвалили его стиль на хинди – это были молодые выпускницы Университета. Старший же редактор отдела хинди, при Хрущеве переведенный в издательство из ЦК и уязвленный этим, жаловался, что Сингх «не выполняет норму» и плохо переводит.

Удивленный Сингх спрашивал: «Чей родной язык – хинди? Мой или его? Почему он меня поправляет?» Он не понимал, что от

него хотели избавиться, и что единственным способом для этого было – доказать его непригодность как переводчика. Работа в издательстве была единственным формальным основанием его пребывания в Москве и, лишившись этого основания, ему пришлось бы уехать обратно в Индию.

Если бы мы смогли зарегистрировать брак, то тогда закон охранял бы Сингха и его здоровье, для которого работа становилась все более непосильной. Но мы не могли этого сделать. И ему оставалось только работать через силу, даже когда он находился в больнице. Его любили и уважали, но он все время ощущал скрытое недоброжелательство начальства. В. Н. Павлов никак не мог смириться с мыслью о том, что переводчик Сингх мой муж, – как не мог он смириться со всем, что происходило в СССР после смерти моего отца, которого он боготворил.

Даже медицина не оставалась безучастной и объективной, хотя ей-то следовало быть вне партий. Вначале попытались запрячь Сингха в туберкулезную больницу. Я бросилась как тигрица защищать дитя, которое у меня отнимают.

В больницу я Сингха не отпустила. Нам пришлось потратить полтора месяца только, чтобы доказать поликлинике Интуриста всеми рентгенами и анализами, что диагноз неверен, что это лишь бронхоэктазия, что больной не нуждается в изоляции и может работать. Зачем было доказывать это, когда полтора года тому назад кунцевская больница подтвердила диагноз бронхоэктазии и лечила его от этой болезни? Но ведь то было при Хрущеве. А теперь надо было доказать все с самого начала – другим врачам, другой поликлинике, другому начальству. Мы сделали это, но на это ушло время и силы, которых оставалось мало.

За полтора года Сингх был еще три раза в кунцевской больнице. Там его знали, помнили и любили. Сестры и врачи приходили 9-го октября 1966 года в палату, чтобы поздравить нас – они знали, что мы встретились в этой больнице три года тому назад, и палата была полна цветов в этот день...

Я не могу жаловаться на преднамеренно неправильное лечение. Но при системе советского бесплатного медицинского обслуживания вы лишены возможности выбрать врача, или сменить его, если он вам не нравится: вы приговорены к нему. Мне казалось, что лечение было слишком изнуряющим, что, принимая слишком много лекарств больной отравлял себя, я видела, что человек слабел с каждым днем. А когда вышло из строя сердце, то уже ничего нельзя было сделать и оставалось только поддерживать сердце уколами и вливаниями.

Последние месяцы Сингха лечила красивая докторша, голубоглазая грузинка. Когда она входила в палату он неизменно уверял

ее: «сегодня мне значительно лучше». Она немного говорила по-английски, от нее веяло приветливостью, она великолепно делала внутривенные вливания, сразу попадая в тонкую, слабую вену. Выйдя из палаты она чуть не плача говорила мне, что положение безнадежное и что я должна быть готова ко всему каждый день. Когда наступал приступ сердечной слабости и астматической одышки, помогал только укол.

Эта прелестная, молодая женщина входила в палату к больным всегда с улыбкой и никто не верил, что временами у нее обострялась язва желудка, что она переутомлена и ей некогда поесть.

«А сколько времени отнимают партийные собрания у нас, врачей», – говорила она, – «сколько ненужной болтовни, бумаг, списков, отчетов! Нам надо лечить больных, лучше провести лишний час возле больного...»

Сингха навещали в больнице друзья из московских индийцев и два посла – Кауль и Мурад Галеб. Пропуск надо было каждый раз заказывать накануне. В проходной, у ворот, вахтеры с трудом разбирали фамилии иностранцев, приходивших навещать больных – иностранных коммунистов. Пропуска в Кремль давно отменили, но каждое учреждение сохранило за собой право на свои бюрократические установления. Для послов правила были еще более строгими, каждый раз требовалось специальное разрешение. Но они все-таки приезжали и Шушу Галеб неизменно привозила Сингху его любимый «крем-карамель».

В больнице теперь были новые правила: всех иностранцев перевели на один этаж, чтобы изолировать от «отечественных» больных. Только выходящие гулять в сад могли перекинуться словом с русским. Это раздражало иностранцев, варившихся в собственном соку. Три года назад обстановка была куда проще. Тогда Сингх и я могли часами разговаривать в коридорах.

В середине октября 1966 года, находясь снова в больнице, Сингх вдруг сказал мне однажды, что ему бы «хотелось умереть в Индии», повидав хотя бы близких друзей... Он чувствовал, что его дни сочтены. Он устал от этих бесконечных лекарств, диеты, пропусков. Он любил готовить и, теперь в больнице, читал английскую поваренную книгу и выписывал рецепты. Он хотел жить, мы строили планы на будущее, стараясь убедить друг друга, что у нас впереди еще годы! Теперь он всерьез заговорил о том, что впереди не годы, а, может быть, лишь недели.

Я проводила тогда все дни около него, уезжая в загородную больницу утром и возвращаясь вечером к детям, которые все понимали. Ося, теперь уже студент-медик спрашивал меня – «как дела?» и, заглядывая в свои учебники, объяснял, что положение очень скверное.

Сингху разрешали немного гулять по коридору, и мы бродили вместе, но он быстро задыхался. В теплые дни я вывозила его в сад в кресле на колесах. Мы садились на скамейку где-нибудь на солнышке. Теперь он больше всего рассказывал о своей юности, о годах, проведенных в Европе – вообще о прошлом. Настоящее было безутешным. Он осуждал компартию Индии, расколовшуюся на правых и левых. Смеялся над китайскими сообщениями о том, как «председатель Мао переплыл реку». Узнав о начале «культурной революции» в Китае он сказал печально, что эти погромы напоминают ему первые дни фашизма в Германии, – он видел их. Однажды он сказал решительно: – «Если я еще вернусь живым в Индию, то первым же моим действием будет выход из коммунистической партии».

Он часто говорил об истории Индии, рассказывал о Будде, повторял легенды о Кришне. Он вдруг снова ощутил себя индусом, ему хотелось касаться родных корней, пить из вечного источника. У него не было слушателей кроме меня. Я садилась на землю около его ног, или на скамеечку в палате, и он, держа слабую руку на моей голове, говорил закрывая глаза. Ему было так легче, мне было хорошо...

Я была в отчаянии оттого, что его жизнь угасала, что ничем нельзя было помочь, оттого, что чувствовала себя ответственной и виноватой. В таком отчаянии я написала письмо Брежневу с просьбой разрешить мне отвезти Сингха в Индию, потому что дни его сочтены и он просит меня об этом. Я объяснила, что речь идет о неопределенном, но очень недолгом пребывании в Индии – потому что он не проживет долго. Я умоляла, потому что мне было страшно встретить эту смерть одной – он был здесь целиком на моих руках.

Вместо ответа через несколько дней меня вызвали в ЦК – но не к Брежневу, а к Суслову. Это было наихудшее, чего я могла ожидать – идти прямо к лидеру партийных консерваторов.

Я отправилась на Старую Площадь, не предвидя ничего хорошего. Суслова я видела при жизни отца несколько раз, но никогда не говорила с ним.

Он начал точно так же, как и премьер: «Как живете? Как материально? Почему не работаете?» Но я позволила себе напомнить о моем письме:

«Разрешат ли мне то, о чем я прошу? Мы оба просим. Неужели нельзя удовлетворить последнее желание человека?»

Суслов нервно двигался, сидя за столом. Бледные руки в толстых склеротических жилах ни минуты не были спокойны. Он был худой, высокий, с лицом желчного фанатика. Толстые стекла очков не смягчали иступленного взгляда, который он вонзил в

меня.

«А ведь ваш отец был очень против браков с иностранцами. Даже закон у нас был такой!» – сказал он, смакуя каждое слово.

«Ну что ж», – сказала я, по возможности вежливо, – «он в этом ошибался. Теперь это разрешено всем – кроме меня».

Суслов дернулся и немного задохнулся. Руки завертели карандаш.

«Заграницу мы вас не выпустим!» – сказал он с предельной ясностью. – «А Сингх пусть едет, если хочет. Никто его не задерживает».

«Он умрет!» – сказала я, чувствуя, что сейчас надо говорить короче. – «Он умрет здесь и очень скоро. Эта смерть будет на совести всех нас, и на моей совести! Я не могу допустить этого. Это будет стыд и позор всем нам».

«Почему позор? Его лечили и лечат. Никто не может упрекнуть нас, что мы не оказывали помощи. Умрет – так умрет. Он больной человек. А вам нельзя заграницу. Будут провокации».

«Какие провокации? Причем тут провокации?»

«Да, вы не знаете!» – ответил он. – «А вот когда я поехал в Англию вскоре после войны, то наш самолет уже в аэропорту встретила толпа с плакатами: „Верните нам наших жен!“ – Понимаете?!»

«Я не понимаю, где тут провокация», – сказала я. – «Я не понимаю, почему так боятся за меня: неужели я не в состоянии ответить на вопросы, если уж придется?»

«Вас там сразу же окружают корреспонденты. Вы не знаете, что это такое, – словом, политические провокации будут на каждом шагу. Мы вас же хотим уберечь от всего этого».

Это было все равно, что толочь воду в ступе. Мы говорили о разном и с разных точек зрения. Продолжать разговор было бесполезно.

Как и премьера, Суслова гораздо больше интересовало, чтобы я «заняла должное место в коллективе» – «подобающее» моему имени, моему знаменитому имени.

«Что вас так тянет заграницу?» – спросил он напоследок, как будто я просила пустить меня в туристское турне. – «Вот вся моя семья и мои дети не ездят за рубеж и даже не хотят! Не интересно!» – произнес он с гордостью за патриотизм своих близких.

Я ушла, унося с собой жуткое впечатление от этого ископаемого коммуниста, живущего прошлым, который сейчас руководит партией...

На следующий день, снова поехав в больницу, я передала Сингху этот разговор. Чувство юмора никогда не изменяло ему и он смеялся над сусловским «патриотизмом», качая головой: «А у нас

в компартии считают Суслова интернационалистом и сильнейшим современным марксистом!» – он махнул рукой, как бы отмахиваясь от всей этой чепухи.

Он был всерьез огорчен в тот день другим. Утром ему поставили пиявки и, как это всегда делают в советских больницах, бросили их потом в банку с жидкостью, в которой они сразу погибли. Это огорчило Сингха: в Индии пиявок не убивают, а сохраняют в воде до следующего употребления.

«Если бы я знал, что здесь так делают, я бы отказался от пиявок!» – сказал он мне. В палате он не позволял мне убивать мух на окне: я должна была открыть окно и выпустить их.

В этот день он был грустнее, чем обычно, и вдруг сказал мне:

«Света, заберите меня домой. Мне надоели эти белые стены и халаты, эти пропуски, и все эти каши! Я сам сделаю омлет, они не умеют здесь готовить. Поедьте домой, завтра же!»

Его отпустили, зная, что он устал, и что это – ненадолго...

Он пробыл дома неделю. Местный врач – угрюмая, пожилая женщина – была вежлива, но нервничала: врачи в Москве боятся лечить иностранцев и нести ответственность за их жизнь. Делать внутривенные вливания приходил другой врач, мужчина, – она не находила вену. Но Сингх не беспокоился об этом, – он был дома, он блаженствовал в кресле в нашей большой гостиной. Его навещали индийцы.

Его последний день, воскресенье, 30 октября, был ознаменован большим семейным событием: Ося и Леночка объявили нам, что, наконец, решили пожениться и что регистрация их брака назначена на конец ноября. Мы все выпили по стаканчику за счастье.

Потом зашел бывший поверенный в делах индийского посольства Р. Джайпал с женой, – они уезжали в Англию и хотели попрощаться. Вечером пришел Нареш Веди, работавший в том же издательстве, что и Сингх, и принес ему письмо от брата.

Сингх устал к вечеру и с трудом дышал. Нареш быстро ушел, сказав мне – «как он плохо выглядит сегодня!»

Когда он ушел, Сингх долго перечитывал письмо от брата, сидя в кресле, потом позвал меня. Я села, как всегда, около него и взяла его руку.

«Света», – сказал он мягко, – «это мой последний день. Мне холодно. Я пойду лягу».

Я хотела отшутиться, но он был серьезен. Он устал и вскоре начал задыхаться, как это часто бывало, и надо было вызывать врача, сделать укол. Для слов не было времени. Я только пыталась ободрить его – и себя...

Приступы астматического удушья вместе с сердечной слабостью наступали один за другим. Я вызывала врача второй раз

среди ночи и третий раз, под утро. После уколов становилось легче и он дремал, но недолго. Врачи приезжали разные – каждый раз новый, тот, кто дежурил в этот воскресный день. Каждый раз они пугались, каждый раз предлагали немедленно ехать в больницу, и каждый раз он качал головой, повторяя – «оставьте меня здесь». Я должна была каждый раз заново рассказывать всю историю болезни и то лечение, которое проводилось в больнице. Когда врачи уходили, Сингх просил меня сесть рядом, гладил рукой по щеке и уверял, что ему лучше.

Это было так похоже на его обычные приступы, и я не могла поверить ему, когда он сказал под утро – «Света, я знаю, что умру сегодня». Он сказал это спокойно и мягко, он не жаловался и не нервничал, и я не верила...

Под утро ему сделали внутривенное вливание строфантина, который в больнице ему заменяли более мягкими средствами. Но спорить с новыми врачами было невозможно: формально они делали то, что обычно делается в таких случаях.

Через пять минут после укола, он сказал, что ему лучше. Но «что-то трепещет здесь», – он указал на сердце, – «теперь здесь», «выше – здесь!» – он показал на горло, и откинулся назад на подушку. Сердце остановилось.

Я бросилась за Осей, разбудила его, мы вбежали обратно в комнату вместе. Врачи делали искусственное дыхание, тело лежало на полу. – «Зачем это?..» – спросила я Осю.

– «Так надо! Все верно, они делают как надо», – повторял он, стоя рядом со мной. Мы держались друг за друга, у меня все дрожало внутри, а мой сын был бледен.

«Он умер», – сказал незнакомый молодой врач, взглянув на меня с отчаянием. Было семь часов утра. Индусы говорят, что праведники умирают утром, когда светло, тогда легкая смерть и душе будет легко. Эта смерть была легкой и скорой. До этого дня я видела только одну смерть – своего отца.

Две смерти были так же непохожи, как и эти две жизни.

Врачи ушли, положив тело на кровать, и сказали, что мне позвонят – что делать дальше.

Я боялась формально-бюрократической волокиты и надругательства над этим тихим концом, и позвонила нашим индийским друзьям: они знали, что нужно было делать. Сообщили послу, дали телеграмму сыну Сингха в Лондон.

Дальше все было устроено и организовано индийцами – тихо, спокойно, достойно. Назавтра назначили кремацию. Все это было сделано во-время, так как «медицинское начальство» уже хотело распорядиться по-своему – тело увезти в морг, делать вскрытие. Но мне не хотелось разлуки в эти последние сутки, а у индийцев

не принято делать вскрытие.

Я тихо сидела в нашей спальне. Один за другим приходили знакомые московские индийцы. Они все двигались плавно и мягко, тихо разговаривали. С ними в дом входил покой. Это было то, что я больше всего любила в самом Сингхе – равновесие и внутренний мир при любых обстоятельствах.

Пришли мои подруги Берта и Тамара, работавшая в индийском отделе московского радио. Они оставались со мной весь день, следили, чтобы дети поели, носили чай и кофе в гостиную, делали все, что нужно: у меня они были как дома.

Я сидела на диванчике в спальне и не могла уйти оттуда. Я не плакала, но у меня оборвалось что-то внутри. Что-то непоправимо оборвалось, умерло во мне самой. Мне было сорок лет. Что-то осталось позади. Некий внутренний рубеж. Я сидела и смотрела на все происходившее в этой комнате откуда-то со стороны...

Я не боялась смерти и этого отстрадавшего мертвого тела, и спокойно спала ночью в другой комнате, хотя мне никогда еще не приходилось провести ночь в одной квартире с покойником. Дети немного нервничали, Берта осталась у нас ночевать. Но добрая, беззлобная душа витала здесь и нечего было бояться. Я спокойно зашла утром в спальню и положила руку на холодный восковой лоб. Был морозный день, и комната уже наполнилась солнечным светом.

Днем, перед выносом, собрались все индийцы, пришел посол, пришли мои приятельницы и милая докторша из больницы, вся в слезах. Один из индийцев читал на санскрите стихи из «Бхагавад-Гиты» о бессмертии вечного Духа. В комнате курились сандаловые ароматные палочки. Заплаканные редакторши из издательства принесли цветы. Наша квартира была полна людей, и вскоре все двинулись вслед за гробом к выходу. Дома остались только Катя и Леночка, они боялись крематория.

Был солнечный, морозный день 1-го ноября. Во дворе стояло несколько мальчишек. Соседки попрятались, боялись иностранцев и посольских машин. Я так удивилась, увидев возле входа в крематорий ожидавших там Марину с мужем (несмотря на мороз, от которого она всегда задыхалась), и моих друзей из ИМЛИ, пришедших проститься, хотя они даже никогда не встречались с Сингхом. Я не ожидала этого, и стало теплее на сердце.

Я не ожидала и того, что мой сын поцелует лоб покойного при последнем прощании – он сделал это вдруг, повинувшись какому-то порыву. Я не угадала, что человек, ни к кому не питавший злобы, вызывал у всех если не любовь, то искреннее уважение.

Три года назад я прочла у Сингха в записной книжке: «В случае моей смерти пусть тело кремируют, а прах бросят в реку. Религи-

озная церемония не нужна». Я сказала ему тогда, что это ведь и есть индуcский религиозный обряд, – но какую реку он имел в виду? Ганг? Он улыбнулся сказал: – «Да, Ганг. Но я могу умереть за границей, и кто станет думать о том, чтобы ехать к Гангу? Все реки одинаковы, все текут в один океан».

Я вспомнила этот разговор теперь. За последние три года он изменился во многом, внутренне отошел от коммунизма. Иногда он читал мне на память ведические мантры. Он встретил смерть, как подобает индуcу, и он должен возвратиться в Ганг. Кто станет думать об этом?

Я не могла никому отдать эту маленькую урну, стоявшую теперь в спальне, я была привязана к ней невидимыми нитями. Я не могла с ней расстаться, она звала и тянула меня за собой силой привязанности и преданности, незнакомой мне раньше.

«Ты должна поехать сама – не поручай никому. Ты должна сама». Шушу Галеп была первой, кто высказал это вслух. Берта поддержала ее. Я не верила, что мне разрешат – мне же ясно было сказано, что за границу меня никогда не пустят. Но я все-таки написала снова Косыгину и Брежневу, обоим сразу. Очевидно, вопрос был решен быстро – меня вызвали на следующее же утро.

Что-то изменилось в лице Косыгина на сей раз. Было ли ему стыдно – не берусь судить. Аудиенция закончилась в пять минут: мне разрешено было ехать, при условии, что я буду избегать контактов с прессой. Разговор был неприятен нам обоим и мы быстро его закончили.

Правительственная машина в Москве работает быстро и слажено. К вечеру того же дня у меня взяли все бумаги и обещали выдать заграничный паспорт, как только я принесу свои фотографии. В консульском отделе МИД'а меня встречали с вежливыми, застывшими лицами. Никто ничему не удивлялся: здесь давно уже перестали чему-либо удивляться. Никто не задавал вопросов. Все было решено «наверху»; ответственность за все тоже «наверху».

Паспорт мне выдали 11-го ноября 1966 года, где значилась индийская виза сроком на один месяц, со дня приезда в Дели. Но отъезд был отложен до 20-го декабря из-за того, что так просил Динеш Сингх: теперь он, наконец, прислал вежливое письмо с приглашением остановиться в его доме.

Полтора месяца я почти не выходила из квартиры. Я боялась оставить без надзора эту комнату, где стояла урна. Но каждый день меня навещал кто-нибудь из моих друзей, кто-нибудь оставался ночевать. Мои одноклассники, однокурсники и друзья по Институту были со мной, как всегда. Мне звонили, меня не оставляли.

В конце ноября мой сын женился, Леночка переехала жить к нам, и было приятно видеть молодую влюбленную пару. Жизнь продолжалась. Сингх был веселым жизнелюбом, любил вкусную еду и хорошее вино, и менее всего желал бы, чтобы его долго оплакивали. Его веселая, добрая душа жила с нами и согревала нас – мрак и уныние были бы ей неприятны. Мрак и злоба были ей чужды.

...Ну, вот уже и сухая, пыльная трава аэродрома Палам, недалеко от Дели, залитая мазутом и усеянная бумажками. Выцветшее, белесое небо, слепящее солнце. Бородатые техники в тюрбанах стоят возле ангаров, куда подруливает наш самолет.

Вот мы и приехали домой, Браджеш Сингх. Твоя добрая душа победила столько препятствий, и даже Медный Всадник отступил перед нею.

Дели

Спотыкаясь на сухой траве в меховых зимних ботинках, ослепленная ярким солнцем, я делаю первые шаги по земле Индии. Но у меня нет ощущения, что я на другой планете: небольшой аэродром Палам напоминает мне южный курортный аэропорт где-нибудь в Симферополе или Адлере – такое же маленькое белое здание, выжженная равнина вокруг и эти бумажки повсюду, которые никто не убирает...

Я уже вижу среди встречающихся двух знакомых женщин в сари – Наггу (жену Динеша) и Прити (дочь Кауля), они машут мне рукой.

Предполагалось, что я поеду прямо с аэродрома в дом Динеша, официально я являюсь его гостьей. Но вот три фигуры в серых костюмах проходят на поле, куда другим нельзя, и направляются навстречу нам. Кассирова радостно вскрикивает: – «Это наши из посольства!»

Мы почему-то сразу начинаем спешить. Я не успеваю сказать и двух слов Наггу; выясняется, что сначала меня ждут в посольстве, а потом мы созвонимся о дальнейшем. Второй секретарь посольства Суров торопит меня скорее пройти через таможню, и я иду за ним со смутным ощущением досады. Мы садимся в его машину, я уже не знаю, где Наггу и Прити, и чувствую, что первая встреча непоправимо испорчена.

Вместо дома Динеша с его шестью дочками, которым я везу подарки, я попадаю в посольскую гостиницу на территории советской колонии, где все так знакомо, как будто не выезжала из Москвы. Сестра-хозяйка с украинским говором вручает мне ключ от комнаты. Я ищу глазами телефон и не нахожу. Нет, – говорят

мне, – телефон только в другом помещении...

«Вы можете звонить из любой комнаты в посольстве», – любезно говорит Суров, – «а сейчас пойдете, нас ждет к завтраку Николай Иванович».

Посла, И. А. Бенедиктова, не было в Дели в эти дни. Поверенный в делах, Николай Иванович Смирнов, худой и нервный, очень волновался и мне сразу передалась его нервозность. Кроме него за низкий столик в гостиной сели полный брюнет с круглым невозмутимым лицом, второй секретарь Суров, Кассирова и я. Несмотря на ранний завтрак на столе было много еды и бутылок. Смирнов всем налил коньяку и с вымученной улыбкой произнес тост в память о «господине Баджеш Сингх, которого любили и уважали все, кто его знал». Присутствующие мужчины дружно выпили, сделав печальные лица. Закусив, и очень стараясь быть любезным, Смирнов перешел к делу.

Оказывается, я выбрала наихудшее время для поездки в Индию. В стране крайне напряженное политическое положение накануне всеобщих выборов, которые состоятся в середине февраля. Оппозиция правящей партии очень сильна, и никто не может поручиться за дальнейший выбор пути, по которому пойдет Индия.

«Угроза фашизма вполне реальна!» – веско вставил толстый с невозмутимым лицом. – «Реакционная Джан Сангх и проамериканская Сватантра хотят увести страну с пути социализма».

«Одним словом, крайне, крайне напряженное положение и поэтому, – Смирнов набрал воздух, – мы вам советуем оставаться в нашей гостинице, и хорошо бы вообще воздержаться от поездки в деревню. Мы можем устроить здесь передачу урны с прахом – тем более, что мы в постоянном контакте с Динешем Сингх – это нетрудно, они пойдут навстречу. Сделаем церемонию в посольстве, все как следует, цветы и так далее. Это будет торжественно и достойно. Потом посмотрите Дели, съездите в Агру взглянуть на Тадж-Махал, тут много интересного в окрестностях. А 4-го января как раз наш Аэрофлотский самолет, вернетесь в Москву в соответствии с вашим сроком – разрешение у вас на две недели»...

«Конечно, мы вам поможем тут купить что-нибудь, вот товарищ Кассирова знает здесь все магазины. Необходимо, чтобы в прессу ничего не попало о вашем приезде. Жить в доме Динеша Сингх мы вам не рекомендуем. Знаете ли, он и бывший посол Кауль, конечно, дружественны к нам, но вам будет здесь у нас спокойнее». «Мы им обоим не доверяем, ни Динешу, ни Каулю!» – категорически заметил круглолицый, оставаясь невозмутимым. У меня кружилась голова от бессонной ночи, от резкой климатической перемены. Я ничего не ела, сейчас тоже было не до еды. Все, что я услышала было неожиданным, но я уже слишком при-

выкла к неприятным неожиданностям... Но что за странный срок – две недели?

«У меня в паспорте индийская виза на месяц», – сказала я. – «Так мне сказали и в консульском отделе МИД в Москве. Я собиралась вернуться через месяц. Откуда этот срок – 4-е января?»

«Ах, индийцы дадут любую визу!» – воскликнул Смирнов, – «но помимо визы существует решение Москвы, специальное решение. Вы не знаете, это ваша первая поездка за границу», – он искренне желал помочь мне понять. – «Для вас решение – две недели, и ни я, ни индийцы не можем изменить его, если нет решения Москвы». «Но почему же мне не объяснили этого в Москве? Ведь вы знаете, что я официальный гость Динеша Сингха в Дели и Суреш Сингха в Калаканкаре. Вы знаете повод и цель моей поездки: я не Тадж-Махал смотреть приехала. Я должна быть в деревне, должна остаться какое-то время с братом и его семьей – они мне писали, они ждут меня...»

«Я не имею никакого отношения ни к выборам, ни к политической борьбе в этой стране, мне никого не нужно видеть, кроме брата и племянницы, которых мой муж очень любил. Я не собираюсь давать интервью прессе – почему мне все время говорят об этом?»

«Я еще не видела Динеша и его семью, я должна узнать, когда они поедут в Калаканкар, ведь я отложила на полтора месяца отъезд из Москвы, потому что Динеш был занят на сессии парламента. Никакая траурная церемония в советском посольстве не может заменить то, зачем я ехала сюда...»

«То, что я слышу от вас – невозможно! Тогда мне вообще незачем было сюда ехать... Мне было обещано одно, теперь я вижу совершенно иные условия, неожиданные для меня».

Смирнову было очень трудно: в какой-то степени он понимал меня. Мы ни о чем не смогли договориться и решили, что поговорим опять завтра, а сегодня я повидаю Динеша и Кауля.

Я еле стояла на ногах и хотела хоть ненадолго заснуть. В гостинице не было телефона, поэтому мне пришлось договариваться о вечерних встречах по телефону из посольства. Незнакомый чиновник сидел рядом за столом с каменным выражением лица.

Я так и не смогла заснуть днем и поехала в дом раджи Динеш Сингха. Наггу, располневшая с тех пор, как я познакомилась с ней в Москве в 1964 году, была очень приветлива, расспрашивала о болезни и смерти дяди. Ее шесть дочек от шести до двадцати двух лет выглядели довольно современно, и если бы не их старинные драгоценности, то они ничем не отличались бы от сегодняшних школьниц и студенток любой страны.

Они проявили некоторое любопытство ко мне, но ненадолго, и вскоре опять вернулись к своим делам: лото, американские иллюстрированные журналы, миниатюрный японский телевизор. В просторной современной гостиной горел электрический камин, три собаки лежали на толстых коврах. Большая семья была занята своими собственными делами: обсуждалась предстоящая свадьба старшей дочери и ее приданое; второй проблемой была постройка собственного дома в Дели – этот красивый дом с большим садом был предоставлен Динешу правительством.

Вся семья строила радужные планы на будущее, так как весной Динеш надеялся получить в новом кабинете портфель министра иностранных дел. Вскоре пришел он сам, и был так же любезен и мил, как два года назад в Москве.

Но он не знает, сможет ли сейчас ехать в деревню, он постарается приехать... Его семья уедет туда через два дня, он сможет лететь только 25-го самолетом. Тогда он может взять и меня с собой.

Я рассказала ему о всех сюрпризах, которыми меня встретили в посольстве. Он смеялся – как будто симпатизируя мне – потом сказал:

«Я думаю, вам лучше не спорить со Смирновым: ведь он не сам решает, вы понимаете. Оставайтесь в гостинице, раз они так предлагают, а с нами вместе вы будете в Калаканкаре. Я уверен, что они согласятся на вашу поездку в деревню».

«Но мне не разрешают остаться даже на месяц», – сказала я, – «ведь у меня виза на месяц!»

Динеш только махнул рукой, усмехнувшись, – совсем так же, как его дядя отмахивался от неприятностей. «Вопрос о визах решает в МИД'е брат моей Наггу, – сказал он. – Если Москва разрешила бы вам остаться дольше, то мы продлили бы вам визу на любое время».

Он показывал мне старые фотографии, достал семейные альбомы, цветные slides. Он был, казалось, полон сочувствия и симпатии. Но он не хотел конфликтов. И он очень хотел стать министром иностранных дел. К этому его вела успешная дипломатическая карьера, выбранная по совету дяди, и давняя дружба с семьей Неру, с премьер-министром Индирой Ганди. И тогда летом он приедет в Москву и непременно навестит там меня и моих детей...

Динеш держался очень демократично и просто. Он долго был секретарем индийского посольства в Лондоне и в Париже, и давно понял, что принадлежность к высшей касте не везде и не всегда помогает. Это был тонкий, сдержанный, успевающий дипломат.

Бывший посол Кауль, у которого я обедала вечером того же дня, был дипломатом совсем другого стиля. Даже в Москве он не стеснялся громко выражать недовольство, чем приводил в восхищение молодежь. У него было много русских друзей – поэты, художники, молодые киноактеры. Он ездил в гости к Бэле Ахмадулиной и к Жене Евтушенко; любил студенческие вечеринки, где танцевал фокстрот и плясал «цыганочку». К нам домой он приводил своего сына и дочь.

Этот шумный кашмирец говорил по-русски и любил «горилку», – украинскую водку с перцем, – чем покориł многих московских генералов и маршалов. Он возмущался тем, что дипломатам не разрешено выезжать далее чем за 40 миль от Москвы и неоднократно нарушал это правило. Ходил с друзьями на просмотры новых фильмов, на которые иностранцев не пускают, возил приезжих иностранцев на могилу Пастернака в Переделкино... Он и сейчас громко возмущался условиями, которые мне были предъявлены.

Но, впрочем, он не советовал мне долго задерживаться в Калаканкаре, где «мало интересного» и предлагал вернуться в Дели, провести следующую неделю в автомобильном турне с ним и его детьми. Он показал бы мне замечательные места: Тадж-Махал показывают только туристам, которые ничего не понимают в истории Индии!

Мы обедали в непринужденной домашней обстановке. Еду приготовила жена Кауля, красивая немолодая кашмирка с очень белой кожей и европейскими чертами лица. Тут же сидел их сын, недавно окончивший Университет в Англии, и дочь, учившаяся на русских курсах в Москве и мечтавшая поступить в Московский Университет. Возглавлял стол 90-летний отец Кауля, крепкий старик с живым взглядом хитрых глаз. Окончив еду он закурил сигару на что Кауль заметил – «Непослушный мальчишка!» (A naughty boy!). Потом старик сел на коврик у камина и погрузился в чтение «Бхагават-Гиты».

В гостиной, где мы сидели, только один старик был счастлив и спокоен. Прити рвалась в Москву, она страстно влюбилась в Россию и не хотела выходить замуж в Индии по выбору родителей. Сын писал стихи на английском языке и мечтал о литературной работе, а не о дипломатической карьере (что хотелось бы отцу), и тоже не хотел жениться по выбору матери. Родители понимали, что бороться с детьми бесполезно. Мать ворчала на детей и на Кауля, недовольная ими всеми. Кауль жаловался, что «задыхается в этой вегетарианской стране, где негде выпить», и говорил, что мечтает опять уехать куда-нибудь послом. Как он обрадовался водке, которую я привезла ему от его московских друзей!

Кауль был недоволен всем, что нашел вернувшись в свою страну – везде коррупция, развал. Он был послом в Китае, послом в СССР, привык к размаху, к инициативе. Он говорил сейчас, что скучает по Москве...

Тут всем было не до меня, и не до моих огорчений. Кауль считал, что мне придется вернуться в Москву через две недели. Мимоходом он обругал всех – в том числе и Динеша, сказав, что его разговоры о социализме – притворство, что на самом деле он собирает вокруг себя раджей и махараджей и что он наверняка провалится на выборах. Я вернулась в этот вечер в свою комнату подавленная неожиданным открытием: у моих индийских «друзей» я не найду поддержки ни в чем.

Назавтра – снова разговор со Смирновым. Теперь мы спорили и торговались. Мне уступили: – «хорошо, поезжайте в деревню, но вместе с Кассировой и только на одну неделю; потом можете поехать с Каулем на машине. Но 4-го января вы полетите домой». (Самолет Аэрофлота летал лишь раз в неделю).

Это было опять новостью: почему с Кассировой? Мне сказали в Москве, что она будет ждать в Дели и только в самолете будет сопровождать меня. Что она будет делать в деревне? О чем ей говорить с родственниками человека, которого она никогда не видела?

«Ничего, не волнуйтесь, – сказал Смирнов, – „она знает эту страну, она сопровождала Валентину Терешкову в ее поездке по Индии. Она найдет себе дело и знает, как себя вести“.

Бесполезно было объяснять, что моя поездка отличается от турне первой женщины-космонавта. Что-то взорвалось во мне, и я уже хотела сказать, что не поеду в деревню совсем. Но некий тихий голос заставил меня сдержаться. Ведь я еду, чтобы самой добраться до Ганга, – так пусть делают что угодно, но я должна быть там... Я сдержалась, согласилась. Смирнов просиял. Мы условились, что 25-го декабря я вылечу в Лакхнау вместе с Динешем. От автомобильного турне с Каулем я отказалась – пробуду неделю в деревне и вернусь.

Смирнов был сегодня еще нервнее. По-видимому, меня очень не хотели пускать в деревню – в глухой район далеко от Дели, где нет ни телефонов, ни советских представителей.

Я уже измучилась от бесполезных споров, понимая, что завишу от переменчивых настроений Москвы и с трудом могла говорить спокойно.

Эти переменчивые настроения Москвы! Как вы быстро меняетесь от черного к белому, от одной крайности к другой, от храбрости к страху, от дружбы к обвинениям, от обожания к ненависти, от разрешающего «да» к уничтожающему «нет». Эти вечные брос-

ки от оттепели к холоду, эти капризы, вопреки всем законам и нормам ими же установленным! Несчастливая страна, несчастный народ, вместо обещанной свободы получивший капризы, хуже императорских, от которых зависит вся жизнь страны...

Я и не заметила, как оказалась на улице и шла под жарким солнцем не видя, куда. В голове у меня кипело, сердце болело от переутомления последних месяцев и дней. – Ах, вы все, как я вас ненавижу! – не думала, а ощущала я всем существом, шагая просто, чтобы шагать, чтобы куда-то идти. Сидеть сейчас в нашей комнате с Кассировой было бы невыносимо.

Я шла по тротуару. Справа был бульвар, слева какие-то здания. Вот забор и ворота, небольшая толпа, на тротуаре сидят «заклинатели змей», перед ними, в корзинах на земле, кобры. Я не стала смотреть, повернула за угол и обогнула забор высокого здания, с широкими ступенями. Около входа стояла большая рождественская елка, – это посольство США, я вижу герб на фасаде здания. У них ведь справляют Рождество, а у нас только на Новый Год елка... Будет весело, подарки для детей... Весь мир живет нормальной, общей жизнью, только мы, какие-то уроды, всего боимся. «Провокации» – какие провокации? «Угроза фашизма», – какой здесь фашизм? Все судят по стандартам двадцатилетней давности. Какая тупость! Как я ненавижу всех этих бюрократов. Тюремщики, вы не даете людям ни жить нормально, ни дышать.

Темнокожий человек в белом дхоти нес на голове большую корзину со сладями, и улыбнулся мне. Я не люблю сладкое, но его улыбка вдруг успокоила меня, и я купила орехи в меду, залепившие мне рот сладкой замазкой. Я заплатила слишком много, плохо разбираясь в рупиях, но ничего, пусть он будет доволен! Кассирова предупредила меня ничего не покупать на улицах – «всюду мухи и микробы» – ах, подите вы все! Вы презираете эту страну, а я люблю ее. Вы всего боитесь, а мне этот солнечный воздух, как сладкий мед... Как тепло! Какой ласковый ветерок, как ярко цветут красные вьющиеся растения!

Я прошла дальше по переулку и повернула назад, ведь я совсем не знала улиц Дели. Теперь я шла обратно, немного успокоившись, и снова прошла мимо посольства США, разглядывая его. Никакой мысли о том, что я когда-либо войду сюда... Просто отметила, что здание красивое, и что оно совсем рядом с посольством СССР, и недалеко от моей гостиницы, куда я пошла теперь.

Ну, вот и первые сутки в Индии. Довольно бурными они оказались. Что будет дальше? Ничего не поделаешь, придется смириться и выполнить свой долг, для этого я сюда приехала. И я пошла к себе в гостиницу, где Кассирова уже разложила на столе московское печенье и заварила чай. Она тоже была недовольна. Ей

хотелось остаться в Дели и делать покупки, вместо поездки в деревню. Она по своему утешала меня и уверяла, что вернувшись в Москву непременно «доложит начальству, что вся поездка была подготовлена из рук вон плохо».

* * *

Следующие три дня Прити Кауль показывала мне Дели. Она ловко водила красный «Мерседес» своего отца, знакомый мне по Москве, лавируя между рикшами и велосипедистами. Они оставались невозмутимыми – как и пешеходы – и я только удивлялась, что в этом неуправляемом потоке никто никого не давил. Было тепло и солнечно. Мы сидели на траве в парке, бродили по Красному Форту, ездили посмотреть мавзолеи старой мусульманской столицы недалеко от нынешнего Дели. С милой девушкой, без памяти влюбленной во все русское, было легко и славно. Кассирова «доверила» меня на ее попечение и не сопровождала нас.

За эти дни у меня сложилось некоторое впечатление о Дели, и это первое «ощущение Индии» не изменилось за последующее время. Кругом было разнообразие веков, стран, влияний... Красивые индуски в сари правили автомобилями последних марок, как Прити. Йог стоял на голове и локтях прямо посреди парка. Нищие дети окружали нас толпой возле лавочек Красного Форта. Отель «Оберой», где мы съели мороженное, был по-европейски роскошен и удобен. Улицы старого Дели кишели полунищими, полуголыми людьми, как муравейник. Десятки крошечных лавочек были похожи на пчелиные соты и люди роились около них, как мухи. Неподалеку многоэтажные универмаги, всюду на улицах рекламы американских фильмов: «Доктор Живаго», «Звуки музыки», детективы... Молодые люди одеты по-европейски, на пожилых пажама и курта, белая длинная рубаша навывпуск, или черный ачкан. Индийские женщины в сари, девушки помоложе и школьницы – в платьях с длинными шальвари или чуридар: европейское платье увидишь только на женщинах с Запада, – их много здесь.

Дороги вокруг Дели обсажены прекрасными старыми деревьями, тенистыми, развесистыми. На их толстых, узловатых корнях сидят обезьяны и ищут блох у детенышей. Странно то, что меня не покидает ощущение чего-то давно знакомого... Видела я и эти деревья, и обезьян, и лавочки... Мне все это давно известно... Из фильмов? Из рассказов?..

В магазинах разбегаются глаза и кружится голова – так яркие и неповторимы сари, кашмирские шали, сандалии, браслеты. Но я берегла доллары, обмененные в Москве на мои сто рублей, на подарки, которые надо будет делать в деревне, и на покупки моим

детям.

Я опять обедала и завтракала в доме у Кауля. Здесь было проще и приветливее, чем в семье Динеша – хотя по существу, именно его семейство должно было бы мной заниматься. Но махарани и махараджи – сестры и братья Наггу – сразу дали почувствовать мне и Прити, во время одного из визитов, что мы – низшая каста. Красивая, веселая Прити сникла и затихла при них, она знала эту разницу. И мне было не по себе.

Я впервые в жизни ударилась о невидимую преграду, воздвигаемую аристократией между собой и прочими. Махарани и махараджи продолжали разговаривать в нашем присутствии так, как будто в комнате была только мебель. Это было не грубо, – просто вас здесь нет, или вы как эти три собаки на ковре, на которых никто не обращает внимания. Шесть дочек иногда задавали мне вопрос для приличия, – так, как погладили бы собаку...

С семьей Кауля было приятно и просто. Его жена с неизменной связкой ключей у пояса не расспрашивала ни о чем, бранила детей и уходила молиться в свою комнату. В ушах ее были тяжелые серебряные серьги на длинных красных шелковых нитях. Она не сопровождала Кауля за границей, и жила все время в Индии, оставаясь старомодной индуской: мир других стран был ей незнаком и не интересовал ее. Старик грелся возле камина, сидя на коврикe и неизменно приветливо улыбался мне.

«Ваша рукопись у меня в надежном месте», – сказал Кауль, – «Прити читала мне первые страницы».

«Хорошо», – сказала я. Мне она не была нужна, мне и в голову не приходило взять ее. Я о ней сейчас просто не думала. Мне было не до того. Я думала только – как бы доехать до деревни без дальнейших осложнений и сюрпризов.

Сюрпризы не заставили себя ждать.

* * *

25-го декабря мы с Кассировой встали в 6 часов утра, чтобы встретиться с Динешем и ехать на аэродром. Но мы долго напрасно ожидали его у ворот колонии, как было условлено: он не приехал. Ничего не понимая я вернулась в свою комнату. Даже позвонить неоткуда! Наконец появился Суров со своей машиной и предложил ехать на аэродром – быть может Динеш ждет нас там. Мы поехали. Динеша там не было, а рейс на Лакхнау, сказали нам, отложен и никто не знает, что будет позже.

«Отвезите меня, пожалуйста, на Тьяграджа Марг, к Динешу», – сказала я Сурову, – «я выясню с ним сама, в чем дело».

Суров был в замешательстве, он не знал что делать...

«Пожалуйста, едемте!» – настаивала я, и мы поехали назад в город. На полдороге нам встретился, летевший на полной скорости, лимузин Смирнова. Обе машины остановились на дороге. Смирнов и Суров посоветовались, затем Смирнов подошел ко мне:

«Только что звонил секретарь Динеша: он не может сегодня ехать в Лакхнау. Я думаю, вам лучше ехать к себе, а мы позже созвонимся с Динешем.

«Нет, я еду к нему сейчас же!» – сказала я. – «У меня нет телефона и это очень неудобно, я выясню у него все сама».

Было 8 часов утра, но для индусов это не рано. Динеш вышел в хорошем европейском халате и повел меня в свой кабинет.

«Позавтракаете со мной?» – спросил он. – «Только Рева здесь, вы можете лететь с нею позже, в 12 часов. Все уехали в Калаканкар поездом, а я никак не могу. Через час я должен быть у премьер-министра, а вечером вылетаю в Сикким. Я не мог вам сообщить, мы звонили в посольство, но там никого нет, тогда позвонил Смирнову на квартиру. Успокойтесь, вы будете сегодня в Калаканкаре».

Он говорил мягко, стараясь смягчить мои неприятности. Но сам от поездки в деревню все-таки увернулся. Недаром дядя посоветовал ему дипломатическую карьеру!

Динеш был очень любезен в это утро: «Оставайтесь здесь, отдохните, поедете на аэродром в моей машине с Ревой, я скажу Смирнову, чтобы Кассирова ждала у самолета. Все-таки они заставили вас ехать с нею вместе!» – усмехнулся он. – «Ничего, вас встретят в Лакхнау, вы сможете закусить, там еще три часа машиной до Калаканкара».

Он был внимателен: может быть ему было неловко, что я ждала из-за него полтора месяца в Москве, а он теперь не поедет, что я зря проездила сегодня все утро с этой сумкой, где лежит урна...

Он съел на завтрак яичницу и тост, по-английски, затем переоделся в Nehru Jacket и сказал:

«Я еду к премьер-министру. Она знает, что вы здесь и выражает вам свою симпатию. Хотите, я возьму вас сейчас с собой к ней?» «Нет, сейчас нет времени и я не готова к такому визиту», – начала я теряясь от неожиданности и, вдруг, повинувшись какому-то порыву из глубины души, сказала:

«Динеш, скажите ей, что я хотела бы остаться в Индии. Возможно ли это?»

Динеш посмотрел на меня внимательно. – «Поедемте со мной», – сказал он. – «Я сейчас позвоню и скажу, что привезу вас».

«Нет, нет! Сейчас, сегодня я не могу. Но можете ли вы поговорить с премьер-министром?»

«Да, – сказал он, – да. Я скоро приеду в Калаканкар, ведь это – мой округ на выборах, а у премьер-министра – соседний. Мы увидимся там». – И он ушел, посмотрев на меня неожиданно добрым, обнадеживающим взглядом.

Я пошла в комнату для гостей, легла на кровать и закрыла глаза.

Что я сказала? О чем просила? Как это вырвалось у меня? И какое облегчение я вдруг почувствовала, сказав это! Да, я бы хотела остаться. Да, я бы хотела – не возвращаться назад, к прошлому, – вот что я почувствовала. Я смогла бы приспособиться к чему угодно, но только чтобы не возвращаться назад в тот страшный мир косыгиных и сусловых.

Я так устала, у меня нет сил сейчас думать и рассуждать. Скоро мы вылетаем, у меня есть одна неделя в деревне, только неделя! Посмотрим, может быть что-то удастся... Уснуть бы на полчаса и только добраться бы сегодня до Ганга. Я не могу больше видеть этих людей! Я не могу больше их видеть...

Берег Ганга

Небольшой самолет летел над квадратами полей, залитыми водой: недавно здесь был дождь. Угрюмая, длинноногая Рева молчала. Она думала о предстоящем браке с очень богатым и знатным молодым человеком, которого она видела всего лишь один раз. Какие изумруды и рубины подарят ей к свадьбе! Разговор у нас не клеился. Мы думали о разных вещах.

Потом мы ехали три часа по пыльной деревенской дороге. Странное волнение начало все больше охватывать меня по мере того, как приближалась цель моей поездки. Почему так знакома мне эта выжженная равнина с редкими, круглыми деревьями? Где я видела прежде эту пыльную дорогу?

Мы за 600 миль от Дели, в деревенской глуши, я никого не знаю вокруг и еду в незнакомую семью, но мне кажется, что я еду домой. Я прижимаю к своему боку сумку. Ты рад, что возвращаешься домой, Баджеш Сингх. Твоя душа радуется – и мы летим как на крыльях. Скоро, скоро уже, подожди.

...Мы сворачиваем на боковую дорогу. Сухие безводные поля. Жухлая, пыльная зелень деревьев. Узкая деревенская улица – она же дорога. Женщины с детьми на руках, мужчины, – все вышли на улицу, все ждут нас и идут следом за машиной, которая медленно пробирается через толпу к воротам большого, белого дома, за которым блещет на солнце водная гладь.

Сколько народа! Куда ни посмотришь, наверное и из соседних деревень. – Смотри, Баджеш, они пришли встретить тебя и про-

водить. Здесь, наконец, я вижу человеческие лица, глаза, слезы...

Мы остановились и нас тут же окружили вплотную. Двое мужчин, босых, в белой одежде, берут у меня, наконец, мою драгоценную сумку – это твой брат, Баджеш, теперь ты дома. Вот твой добрый друг Пракашвати, жена брата, вот твоя любимая племянница Даду, вот другой твой племянник Сириш, толстый молодой человек в белой рубахе, он не раджа и не министр, его лицо залито слезами. Я отдаю тебя в добрые руки, теперь я спокойна.

Нечего и думать об отдыхе с дороги: все эти люди собрались тут и ждали уже несколько часов. Мужчины идут к лодкам, чтобы выехать на середину реки, а женщинам нельзя. Мы все остаемся на большой террасе перед домом, где стоит и Наггу с шестью дочками.

Мы смотрим на песчаный берег Ганга, куда выходит процессия. Весь берег полон народа, бегут мальчишки, вздымая песчаную пыль. Они удаляются от нас вниз по берегу, дальше, туда, где стоят лодки на глубоком месте – прощай, Баджеш! Прощай.

Я вдруг начинаю плакать, меня всю трясет, я не могу взять себя в руки. Кто-то кладет мне руку на плечо и дает платок – это Пракашвати, она так и остается стоять, обняв меня. Мы все долго стоим на террасе, пока лодки не выехали на середину реки и мы не увидели, как все встали в лодках и долго стояли молча.

С нашей террасы мы смотрели вдоль реки, и далеко вниз по течению были видны все ее повороты, песчаные берега и отмели посередине... Потом мы увидели, что лодки медленно повернули к берегу.

«Они бросили много цветов в воду», – сказала Пракаш, – «цветы будут долго плыть вниз по течению. Видите, дети бегут вдоль берега и следят за цветами. Они всегда так делают».

Все стали расходиться с нашей террасы, и я уже не могла отойти от высокой, стройной Пракаш.

«Столько друзей хотели приехать из Лакхнау и Аллахабада», – сказала она, вздыхая, – «но мы ничего не знали о вашем приезде почти два месяца. Только сегодня вдруг сообщили из Дели от Динеша, что вы едете, и мы скорее дали знать всем вокруг. Ведь здесь Баджеш был любим в каждой деревне, – видите сколько народу собралось! Мы ждали сегодня, и боялись, что опять вас не будет. Но мы не успели сообщить тем, кто в городе, они будут теперь обижены на нас!»

«Как? Разве вам не сообщили раньше? Ведь это Динеш просил меня подождать с выездом из Москвы. Но он давно знал, что я приеду 20-го декабря, и он сам назначил сегодняшней день, но он не смог приехать. Я думала, что вы давно знаете, что все друзья знают... Поверьте, это не моя вина!» – сказала я, сгорая от стыда.

Мне было понятно, чья это вина: меня решили не пускать в деревню, ничего не сообщая брату, боялись информировать друзей, хранили великую «государственную тайну». И Динеш, конечно, содействовал и помогал советскому посольству.

«О, я знаю, что это не ваша вина! – вздохнула Пракаш. – Мы так рады вас видеть! Пойдемте сейчас в наш дом, все вернутся и пойдут к нам. Это радж-бхаван, дворец раджи. Люди из деревни боятся Наггу, а к нам все придут».

Меня усадили на кровать в маленькой комнате, где Баджеш жил последние годы, после того, как вернулся из Лондона. Когда-то весь этот дом принадлежал ему, потом он отдал его брату. Пришли простые, бедные люди, сели на пол, скрестив ноги. Вернулись Суреш и его сын, все еще заплаканные. Каждый рассказывал мне что-нибудь о том, каким был Баджеш Сингх, как он помогал крестьянам, давал деньги, вызволял из затруднений, давал советы.

Говорили на хинди, кто-нибудь из семьи переводил мне. Расспрашивали о его болезни, – никто не мог поверить, что так быстро сдало сердце – ведь он уехал бодрым человеком.

Пришел доктор Нагар, проработавший в местной маленькой клинике сорок лет, – я о нем знала из рассказов. Удивительно, что я все уже знала о Калаканкаре! Баджеш рассказывал обо всех так подробно. И каждое его слово было правдой, я убеждалась в этом сейчас на каждом шагу. Как сладко было мне сейчас, после пяти дней лжи и напряжения в Дели. Как ждали меня здесь. Недаром я так рвалась сюда, к этим милым людям.

«Теперь это ваша комната, приходите сюда и оставайтесь когда и сколько хотите», – сказали мне.

Вечером все пошли в радж-бхаван к обеду. Для меня и Кассировой были приготовлены комнаты в этом огромном доме с толстыми каменными стенами, похожем на белую крепость. Дом построил раджа Рампал Сингх в конце прошлого века. Сам он прожил большую часть жизни в Англии, откуда привез и жену – англичанку. Он был самым необычным человеком из всех предков, всегда носил европейское платье, основал первую газету на языке хинди, провел большой канал для орошения всего района. В доме лежат огромные гири, которыми он упражнялся по утрам.

Наггу говорила, как хороший экскурсовод по Калаканкару, а мы с Кассировой сидели, как туристы. Без сомнения, Наггу было чем похвалиться, но Баджеш Сингх был здесь давно забыт.

Потом я снова вышла на террасу и долго сидела там, не в силах оторвать глаз от величавой, спокойной реки.

Стемнело, трещали цикады. Загорались одна за другой огромные, яркие звезды. Высокие старые эвкалипты слегка шелестели.

Потом начали вскрикивать ночные птицы, – как будто кричали чайки, – и парить над рекой. На другом далеком берегу мерцали огоньки маленькой деревни. Кругом был мир и покой, в которые было трудно поверить после сегодняшнего суматошного утра и тяжелого дня.

Все улеглось и затихло во мне. Ночь была теплой. И чем дольше я сидела так одна, тем яснее мне становилось, что я не вернусь в Дели через неделю. Что же, придется вступить в борьбу с моим посольством. Возле этой реки я чувствовала себя спокойной, сильной и неуязвимой. Да, я останусь здесь, у меня есть индийская виза до 20-го января, я ничего не нарушаю. А там посмотрим, что дальше...

Стало прохладно, и я пошла спать в белый, похожий на крепость, дом.

* * *

Наутро я написала письмо Смирнову и послу Бенедиктову, сообщая им, что я останусь в деревне до 18-го января, поскольку в моем паспорте есть индийская виза на один месяц, что Кассирова может вернуться в Москву когда угодно и что в деревне я могу оставаться гостем Суреш Сингха, в случае если семья Динеша уедет.

Дальше я написала все, что думала о недопустимом давлении, которое советское посольство оказывает на частную жизнь в Индии. Ведь Динеш, приглашавший меня в личном письме в Дели, вынужден был отказаться от своего приглашения; а поскольку меня решили не пускать в деревню, он ничего не мог сказать брату мужа о дне моего приезда. Поэтому все оставалось в тайне от родных и ближайших друзей, которые, к счастью, поняли, что мне самой хотелось бы сделать иначе. Я писала, что все это не делает чести моей стране и ее посольству, и что мне стыдно за них.

Потом я отдала это письмо Кассировой для передачи послу, объяснив ей о чем я пишу и просила ее ехать в Дели, а затем домой, в Москву.

Кассирова остолбенела. Потом попыталась меня урезонить, потом разжалобить, потом обиделась и рассердилась. Но я твердо стояла на своем – я останусь здесь в соответствии с моей индийской визой. Это было мое законное право. Ей ничего не оставалось, как уехать. Наггу заказала ей билет из Лакхнау в Дели и посмеиваясь вместе с шестью дочками, проводила ее до «джипа».

Я осталась в деревне и начала погружаться в индийскую жизнь, как в теплую, ароматную ванну, наслаждаясь ею каждую минуту. Жизнь в Калаканкаре была во всех отношениях иной, непохожей

на мою прежнюю, а это сейчас и было мне необходимо, как воздух. Я устала от напряжения последних дней в Дели, последних месяцев в Москве, последних трех лет, и от всех сорока лет моей ненормальной двойственной жизни. Я чувствовала, что внутренне подошла к какому-то пределу, за которым может произойти глубокий внутренний перелом.

Я не могла еще найти для себя ясные и четкие решения. У меня было только желание жить иначе. Я не знала, возможно ли будет остаться в Индии, хотя надеялась на это, не отдавая сейчас себе отчета – как я стала бы жить здесь. Я ждала приезда Динеша и возможной встречи с Индирой Ганди, которую ожидали здесь, в деревне к середине января. Часами я сидела, глядя на Ганг, чувствуя только одно – как мне необходим этот покой и свежий ветерок от реки.

В Калаканкаре жизнь была непростой. Из рассказов Сингха я уже знала, что здесь остро столкнулись и вели между собой многолетнее соперничество две семьи, два уклада жизни. Это отравляло прекрасный и, казалось, безмятежный уголок земли. Хорошо еще, что мне заранее было это известно.

Радж-бхаван, принадлежавший Динешу и его семье, походил на большой белый пароход, причаливший к берегу. С его плоской, как верхняя палуба, крыши, открывался такой простор водной глади Ганга и всей окрестности, что захватывало дух. Во время разлива реки вода заливала подвалы и доходила до края террасы. Раджа Рампад Сингх знал, как выбрать место для дома. Основанием ему служил каменный уступ, который река огибала с трех сторон. Но в этом красивом доме с большой библиотекой было холодно. Легкий внешний налет европеизма, короткая стрижка и контактные линзы у девочек, английский завтрак и американские журналы уживались здесь с глубоким, врожденным чувством собственного превосходства – чувством высшей касты.

Это аристократическое отчуждение ощущал каждый, входивший в дом. Даже Даду, сестра Динеша, когда-то нарушившая законы касты и вышедшая замуж по любви, была отринута и лишена не только уважения, но и собственности. Ей много лет не разрешалось приезжать в радж-бхаван, где она родилась. Сейчас она гостила здесь, с ней были приветливы из-за моего присутствия, и Пракаш сказала мне, как счастлива Даду.

Маленькая, круглая, как мячик, Даду, наслаждалась болтая целый день на террасе с девочками. Брэджейш любил ее, помогал ей, как мог, посылал ей деньги из Москвы и был ее защитником в семье. Но и он был бессилен против вековых традиций, которые в Индии все еще сильнее закона: Даду так и не могла получить даже драгоценности своей матери, которые Динеш поместил в

банк. У нее были печальные глаза и добрая улыбка; она была похожа на своего дядю. Мне было так приятно, когда она заходила вечером в мою комнату, садилась на кровать и мы говорили, как давние знакомые.

Даду явно чувствовала себя здесь бедной родственницей, так же как и я. Смущались и другие посетители, – родственники, соседи, гости из деревни, заходившие повидать Наггу, неизменно сидевшую с девочками на огромной тахте в гостиной, с вязанием в руках. Только перед старыми женщинами в семье Наггу смирялась – вставала с тахты, подходила и низко кланялась, касаясь руками лба и земли у ног старшей. Потом она садилась на диван и продолжала разговор, как будто присутствующих и не было. Гости оставляли обувь у дверей, входя босиком, в знак уважения.

Недоступность радж-бхавана подчеркивал здоровенный страж – пенджабец, стоявший во дворе. В его руках было длинное деревянное копьё со стальным наконечником. Он неизменно запирали на засов калитку и замахивался копьем на голодных деревенских собак. Впрочем, кроме собак, никто из деревни и не подходил к воротам.

Двери другого дома, где жила семья Суреша, были всегда открыты настежь. Это был старый перестроенный дом, увитый цветущими красными растениями, похожий на современную виллу. Когда-то дом был очень красив и ухожен, – еще остались следы того времени, когда оба брата были богатыми помещиками. Независимость Индии и земельная реформа оставили им только небольшую ферму, огромный манговый сад да старое, доброе имя.

Теперь дом, который Баджеш уже давно отдал брату, был полузапущен, большая половина его превратилась в склад. Другая половина, обращенная всеми окнами к Гангу, была жилой и уютной. Но во всем чувствовалось, что хозяева обеднели, подавлены жизнью и на все махнули рукой. В комнатах, обставленных простой европейской мебелью, было много английских книг, портреты Махатмы Ганди, хорошие акварели современного индийского художника. Каменный пол в гостиной был покрыт потертым ковром, на который неизменно садились деревенский староста, писарь с машинкой, женщины с детьми и другие многочисленные посетители. Доктор Нагар, ректор колледжа и местный учитель, а также гости из города садились в кресла.

Суреш Сингх, образованный либеральный помещик, жил безвыездно в Калаканкаре. Он и его брат окончили лучший колледж в Лакхнау и целиком погрузились в борьбу за независимость – как и все лучшие люди Индии. Когда независимость была получена, Суреш много лет был неизменным членом законодательного собрания в своем штате Уттар Прадеш.

Для собственного удовольствия он писал на хинди маленькие юмористические рассказы из жизни деревни; написал книгу об индийских птицах и растениях для подростков, получившую национальную премию. Он любил растения, собирал их в своем небольшом саду, наблюдал за ними. Тихий, беззлобный человек, глубоко мирный, непрактичный, он не мог похвастаться ни хозяйством своей фермы, ни достатком. И половину всех сил у него отнимала борьба с собственным племянником – борьба имущественная и борьба амбиций.

Дело в том, что в индийской семье – по традиции – титул раджи, а вместе с ним дом, имущество и общественное положение, наследует всегда только старший сын, родные братья которого уже ни в коей мере не считаются ему равными.

Традиции касты, сложившиеся тысячелетиями, не отмирают за какие-нибудь двадцать лет, особенно в деревенском захолустье. Здесь сорокалетний Динеш был раджа, и он фактически правил этим маленьким царством – Калаканкаром. Здесь был его избирательный округ, и окрестные крестьяне не посмели бы выбрать в центральный парламент кого-нибудь другого, вместо их раджи-сахаба. Динеш был также главой семейного Треста, финансировавшего в Калаканкаре два колледжа, клинику, храмы, школу санскрита, и вообще любое местное мероприятие.

Два дяди Динеша пользовались уважением далеко за пределами Калаканкара. Но они были неправы по сравнению с молодым племянником-раджей, – ситуация столь обычная для восточных стран, и с таким трудом воспринимаемая западным умом.

Браджеш Сингх играл здесь роль миротворца. В молодости он резко порвал с традициями и кастовыми правилами своей семьи. Позже он стал коммунистом. Но в нем всегда преобладало стремление делать добро ближнему и жертвовать всем для других, – что является одной из заповедей всех индийских религий. Так как он всю жизнь твердо следовал этому правилу, то в конце концов остался без собственности, без дома, без земли и без всех, обычных для его класса, средств к существованию. Тогда он продал все, что оставалось, и уехал в Лондон с женой и сыном. И когда через несколько лет вернулся в Индию, то был вынужден попросить у брата лишь маленькую комнату в своем же бывшем доме, и часто оставался совсем без денег. Все его интересы в последние годы были устремлены на советы и помощь окружающим – поэтому его везде любили. Опора своему брату и заступник всех обиженных, начиная от бесправной Даду, он был, конечно, бельмом на глазу у раджи. Он всегда говорил мне, что жизнь в Калаканкаре полна трудностей, без которых не обходится ни одна большая индийская семья. Теперь я видела, насколько он был

прав.

Возле комнаты, где жил Браджеш, была небольшая терраса, выходящая на песчаный берег Ганга, защищенная от солнца густыми, темно-зелеными деревьями Ашоки. У края ее росли трехметровые кактусы, между большими каменными плитами пробивалась трава. Здесь было тихо и я сидела часами, глядя как меняется Ганг в разное время суток. Мне казалось, что вот именно здесь я нахожусь в некоей наилучшей для меня точке всей земли – так хорошо и спокойно было мне. Таким неожиданным, таким хрупким и временным было это блаженство, что я пила каждую минуту этого покоя, как сладкий нектар.

Между двумя домами находилась небольшая площадка со старым индуистским храмом, полным раскрашенных статуй всевозможных богов, которых так много в мифологии индусов. Нужно было каждый раз проходить мимо навеса, где почти под открытым небом жили 90-летний, сгорбленный пандит Чакра, его жена и маленькая внучка. Девочка всякий раз кричала мне намасте!, приходилось остановиться и сказать намасте каждому.

Меня вскоре спросили, как я отнеслась бы к «заупокойной службе» – употребляя христианскую терминологию. Но разницы нет: если веришь в бессмертие души, то пожелать ей покоя и мира можно в любом религиозном обряде, на любом языке. Я предложила родственникам самим решать и делать то, что они считают нужным. Это оказалось не так просто, потому что семьи Динеша и Суреша принадлежали к разным направлениям индуизма.

Сначала Наггу устроила церемонию в ортодоксальном индуистском храме. Пандит Чакра (которого Браджеш называл не иначе как «плут и обманщик») звонил в колокольчик, обходил несколько раз вокруг храма, зажигал масляные светильники, кропил «святой водой», взятой из Ганга, и долго перебирал четки, бормоча молитвы. Церемония была длинной и казалось никогда не кончится. Я сидела в белом сари, поджав онемевшие ноги, зажигала светильник, делала все, что полагалось.

На следующий день Суреш, немного волнуясь, объяснил мне, что как и Браджеш, он сам и его семья принадлежат к Арья Самадж – индуистскому протестантскому течению, основанному на Ведах, не признающему многобожия, храмов, многочисленных статуй и длинных церемоний. Теперь они все хотели бы помолиться за упокой души по-своему. Я согласилась, мне все было интересно. Пришел другой пандит – приятный и благообразный – и единственным ритуалом был костер под открытым небом. В огонь бросали ароматную смолу, читая молитвы на санскрите. Все было проще, красивее и как-то понятнее. По смыслу инду-

ская молитва за упокой души показалась мне давно знакомой: «пусть душе будет отныне мир и покой»...

Общим в обеих церемониях было то, что нужно было давать деньги брахманам – священникам и их ученикам, сидевшим скрестив ноги и бормотавшим молитвы.

Пракаш объясняла мне все правила здешней жизни. Хотя Наггу и носила титул рани Калаканкара, она мало интересовалась жизнью этой большой деревни. Но Пракаш была здесь признанным духовным руководителем.

С утра Пракаш сидела на маленькой терраске у входа, щурясь от солнца, и обсуждала хозяйственные дела. Деревня была рядом, за углом кирпичной стены: оттуда доносилось монотонное пение учеников санскритской школы – они разучивали молитвы. Сюда приходили утром все, кто хотел поговорить с Пракаш. Она давала советы и лекарства женщинам, она была авторитетным пропагандистом «планирования семьи». Она же судила семейные ссоры, и объясняла все о выборах.

Накануне всеобщих выборов в деревне остро обсуждалась политическая борьба, и обитатели Калаканкара принимали в ней живейшее участие. Динеш принадлежал к правящей партии Национальный Конгресс, как и Суреш, но последний сильно сочувствовал социалистам, влиятельным в этом штате. Пракаш питала больше симпатии к молодой прокапиталистической партии Сва-тантра. Она и ее муж тайно желали Динешу поражения, но поддерживая честь семьи, работали в предвыборной агитации за него. Пракаш часто выезжала в соседние деревни на «джипе», созывала митинги, говорила с женщинами. Ничего этого, конечно, не делала Наггу, мечтавшая лишь поехать в Бенарес покупать свадебные сари и вернуться назад в Дели.

Однажды, когда мы сидели с Пракаш на ее утренней терраске, я увидела двух молодых людей – негра и белого, в европейской одежде, сандалиях и рубашках навыпуск. Они шли к дому, но Пракаш сказала что-то на хинди своему сыну, и он увел их прочь.

«Кто это?» – спросила я.

«Это американцы из Корпуса Мира, – объяснила Пракаш, немного смущенная. – Они хорошие мальчики, очень много работают в нашем сельскохозяйственном центре. Они так молоды и одни здесь. Я часто зову их пить чай, они приходят к Сиришу. Но Динеш сказал, что они „американские шпионы“, и велел мне не допускать вас к ним. Я не знаю, что делать? Они привыкли ходить к нам. Этот негр, Миллер, говорит, что у нас он совсем как дома. Они немного знают хинди».

«Оставьте, какие глупости!» – сказала я, опять краснея от стыда за свое посольство. – «Разве они знают, откуда я?»

«Они вообще не задают вопросов», – отмахнулась Пракаш. – «Славные мальчишки, работают целый день и учат крестьян, но наших крестьян не так легко заставить работать. И все равно мы зависим от дождей, как ни работай».

Как было хорошо и интересно с Пракаш! Как мне надоели высокие чины, министры и премьер-министры, послы и аристократы, вершители судеб народов и отдельных людей... С каким удовольствием я забывалась от всего, сидя на циновке возле Пракаш на каменном полу, служившем ей кухонным столом. Здесь она резала овощи и готовила на керосинке что-то необычайно вкусное из фасоли, картофеля, лука, помидоров, цветной капусты: это называлось «зимние овощи». Летом будут манго, папай и другие летние плоды.

Огород, рядом с домом, был маленьким зеленым оазисом, орошаемым из колодца, как и небольшой сад, куда мы ходили с Пракаш по утрам, собрать свежих цветов. Резеда, левкой, горошек должны были расцвести через месяц. А сколько растений, незнакомых мне, росло и цвело вокруг!

* * *

Я выросла на природе и привыкла наблюдать ежегодное пробуждение и умирание зеленого мира вокруг себя. Деревья и цветы часто говорят мне больше, чем люди. Они всегда помогают и утешают, давая душе еще раз поверить, что мир прекрасен и разумен, что безумные глупости и жестокости человечества совершаются против естественных законов Природы и Разума, что рано или поздно насилие потерпит крах на этой Земле. Никакие слова, собранные в книгах, не убеждают сильнее, чем язык листвы, облаков, водной ряби, дождя. С детства я знаю этот язык и привыкла к нему. Поэтому и теперь, перемещенная в теплый климат Индии прямо из московской зимы, я так жадно, вслушивалась в него, и природа опять говорила мне много.

Необычной оказалась встреча Нового, 1967-го, года в индийской деревне. День 31-го декабря проходит для индусов незамеченным, потому что в деревне продолжают следовать индуистскому календарю. Поэтому мне оставалось только рано лечь спать. Но все-таки мне хотелось отметить чем-то наступление Нового года, который, вот уже столько лет в Москве я встречала дома с детьми и только с очень близкими людьми. Я ушла из радж-бхавана ночевать в маленькой комнатке, где жил Баджеш.

В комнате была старая белая мебель, должно быть привезенная в прошлом веке все тем же дедом-оригиналом, вместе с женой из Англии. Старомодная деревянная кровать стояла возле окна, выходившего на реку.

Я долго лежала, не засыпая, глядя на белый от яркого лунного света песок, пытаюсь вообразить подмосковные сугробы и трескучий новогодний мороз. Хорошо было уезжать в Жуковку под Новый год и гулять ночью, при свете луны, по заснеженному лесу...

Сразу же за моим окном была терраса из каменных плит, потом шел ряд высоких, как деревья, кактусов, потом песчаный берег и, наконец, всего в каких-нибудь 100 метрах от меня, спокойная, как масло, гладь Ганга. Было прохладно и тихо, только звенели цикады. На берег вышел сгорбленный в три погибели пандит Чакра и медленно заковылял к реке. Он опирался на палку, а в другой руке нес латунный горшочек, взять воду из Ганга. Латунь мерцала при свете луны... Здесь я уснула.

Согласно старой примете, какова встреча Нового Года, таков будет и весь год. Наступающий год обещал быть совсем непохожим на все мои прежние годы.

Рано утром, пока еще не начало светать, я пошла искупаться в Ганге. У меня не было для этого мистических или религиозных мотивов. Волнение все-таки охватило меня потому, что в эту воду бросили прах Сингха, и потому что Ганг был для меня образом вечности, символом мудрости и спокойствия – всего того, что мне так дорого в Индии. Что-то необъяснимое есть в этой реке: всякий раз, когда взгляд встречает ее водную поверхность, замирает сердце.

Даду пошла со мной. Она объяснила мне, что полагается купаться до восхода солнца, обычно, в полнолуние. Мы шли по холодному песку босиком к лодке. Упираясь шестом в дно, мальчик подвел лодку к острову посередине реки.

К Гангу идут, как в храм. Сначала бросают в воду цветы, потом берут горстью немного воды в рот, смачивают лоб. Только потом входят в воду ногами, говоря при этом молитву. Даду соблюдала все, как следует. Она купалась прямо в сари, как все индийские женщины. Мне Пракаш посоветовала тоже не раздеваться и купаться в пижаме. Я так и шла, босиком, накинув на пижаму свое пальто.

Холодная вода обожгла на минуту, но потом вся кожа стала гореть, и вода казалась теплой. Не хотелось выходить. Веками считалось, что вода Ганга исцеляет; возможно, что она естественно радиоактивна, в ней много солей, она имеет серный запах. Во всяком случае, она необыкновенно освежает, и кожа долго горит потом, как после легкого солнечного ожога.

Тихо всплескивая воду, лодка шла назад к нашему берегу. Все небо уже алело, вода была розовой, дул предрассветный ветерок. Мальчик с шестом, Даду и девушка, сопровождавшая ее, улыбались мне. Я чувствовала себя помолодевшей, счастливой и сердце

было спокойно, как эта розовая, тихая вода.

Ганг меняется в течение дня много раз и никогда не надоест наблюдать его. Берега его пустынные и песчаные, один берег выше, там ветер пересыпает сыпучие дюны. Ниже по течению плоские отмели, где сидят, отдыхая от перелета, северные птицы – утки, цапли, серые журавли...

Однажды, бродя возле Ганга я услышала знакомое курлыканье, и не поверила бы своим ушам, если бы не увидела высоко в небе журавлиные треугольники. Летят журавли, летят журавли из России над Калаканкаром, – счастливые птицы, – не ведающие ни виз, ни паспортов, ни прочих глупостей, выдуманных людьми. Знают журавли, что Ганг не простая река, потому и держатся ее, как тропки, в необъятных просторах неба и земли. Садятся на отмели, разгуливают по песку. Летят на юг, возвращаются на север.

Солнце всходит за деревней, а около полудня нестерпимо блещет мелкая рябь на поверхности буроватой мутной воды. Днем всегда свежий ветер, иногда сильная волна, на деревенские лодки ставят паруса. Мостов не существует на многие десятки и сотни километров. Людей, тюки, скот перевозят на лодках. В Калаканкаре как раз такой перевоз.

Днем берег реки оживлен и многолюден, полно собак, пыль. Приходят за водой, стирают сари и дхоти, нещадно колотя их о воду, потом расстилают на песке сушить. Чистят песком кухонную посуду из латуни. Едут на остров, посередине реки, где посеяны и уже взошли арбузы – до сезона дождей и разлива, когда остров будет затоплен, их успеют собрать. А пока что их надо поливать, а ночью отгонять грызунов. Сейчас остров во власти деревенских мальчишек, они следят за арбузами, ставят пугала от птиц. На другом берегу иногда появляются верблюды, там тоже деревня.

К концу дня гвалт затихает, пыль и ветер исчезают, вода становится темной и тяжелой, как масло, и солнце не расстается теперь с этим гладким зеркалом до самого заката. И вот начинается постепенное умирание солнца, оно больше не жжет и не слепит, а заливает все небо, землю и воду золотым, апельсиновым светом. Это – национальный цвет Индии. Он становится все гуще и гуще, но не где-то там, на горизонте, а везде вокруг вас и кажется, что вы дышите этим затухающим светом...

Потом оранжевый шар уходит под землю, прямо за противоположный берег, и тогда вдруг быстро наступает темнота; все как будто проваливается в густой сумрак ночи, и река замирает до следующего утра, отражая в себе неправдоподобно огромные звезды.

Крутом пустынно. Этот район далек от городов, до Аллахабада 40 миль, до Лакхнау 90. Это самое сердце Индии, здесь была древняя Арьяварта, и эти песчаные берега остались такими же, и все так же огибала река каменный уступ, к которому теперь прилепился дом. Калаканкар и означает – черные камни.

Двадцать поколений рода Сингхов сменилось здесь, и все уходило в Ганг. Многие совершали религиозный подвиг – после долгого поста, ослабляющего тело, выезжали на середину реки на плоту и под громкие звуки барабанов бросались в реку навсегда. Всех принимала река и всех уносила в вечность, и так же мелела зимой, обнажая острова и отмели. Здесь нет знаменитых храмов и памятников искусства, нет достопримечательностей на этой пустынной, выжженной земле, в этой грязной деревне. Краски неярки, однотонна белая одежда крестьян, тускла пыльная зелень. Здесь нет экзотики, сказочности – всего того, что ищет в Индии турист. Но здесь во всем вокруг присутствует, все наполняет какой-то неуловимый, глубокий как орган, звук: помолчите, посидите спокойно, глядя на реку и берега, и вы услышите его. Вы ощутите как, подобно медленному, гулкому гонгу, здесь бьется и дышит спокойное сердце вечной, могучей жизни, в которой сливаются вместе земля, река, деревья, птицы и человек. И даже тот, кто не знает Бога и не верует в него, сам того не подозревая, пошлет Ему благодарение за мир в своей душе, и из нее произвольно вырвется: «Господи, как хорошо!»

Отсрочки и попытки

Это созерцание и отдых были прерваны однажды, как ударом тока. Утром, когда мы с Дадугу сидели после завтрака на террасе радж-бхавана, вдруг на дворе началось какое-то волнение. К нам побежал слуга, и я увидела, не веря своим глазам, Сурова, – второго секретаря советского посольства в Дели. Он имел курортный вид в легких брюках и полосатой рубашке с короткими рукавами, и благодушно улыбался.

Вышла Наггу с девочками, стала показывать ему дом и чудный вид на окрестность. Суров вежливо удивлялся и восхищался. Наггу заметно оживилась, у девочек заблестели глазенки от любопытства. Сурова пригласили остаться на ланч. Затем все ушли, оставив нас вдвоем.

Тут Суров поблек, закурил, и сообщил, что мне «продлили» срок визита на одну неделю и, вместо 4-го января, мой билет будет действителен на самолет 11-го января. Кассирова ждет в Дели. Сам он ехал 12 часов машиной и остановился в Лакхнау в гостинице, где он может подождать меня день или два и потом отвезти

в Дели.

«Вам пошли навстречу», – сказал он не без гордости за свое посольство.

«Но ведь я написала Смирнову и послу, что останусь здесь в соответствии с индийской визой, срок которой кончается 20-го января», – сказала я. – «Я не уеду раньше. Дайте мне побыть с людьми, которых я, возможно, никогда больше не увижу. Почему этого нельзя?»

«Я передам ваш ответ», – сказал он, – «но мне кажется, что вы уже отдохнули здесь, вы хорошо выглядите»...

«Я ничего не могу добавить, кроме того, что я уже сообщила послу. А Кассирова пусть едет домой, я пошлю с ней письмо детям. Ей вообще незачем было сюда ехать. Вы же видите, здесь глушь, никаких корреспондентов. Это все, что я могу вам сказать».

Потом был ланч, как всегда – индийский (утром завтракали по-английски. Девочки переглядывались: ситуация становилась интересной, – за мной приехали, а я хочу остаться).

Наггу снова рассказывала, как раджа Рампал Сингх построил этот дом. Суров ел карри без аппетита. Наконец он сел в свою машину у ворот, а я пошла в дом Пракаш, где вся семья ждала меня, волнуясь: «Мы боялись, что он увезет вас!»

Неприятный осадок от визита оставался, и я не знала, что еще предпримет мое посольство в Дели. Мысли невольно обращались к Москве, и при этом меня охватывал холод и беспокойство. Не хотелось думать о нашей квартире, о моей комнате, где побывала смерть. Но меня ждали дома дети, я написала им письмо, придумывала что бы привезти в подарок, – Пракаш уже вязала для Кати свитер. Мои дети были сейчас единственным, что тянуло и звало вернуться в Москву. Я уже скучала о них, наша жизнь была тесной и дружной многие годы, – но тем сильнее я чувствовала, что не хочу возвращаться...

Это раздвоение становилось все острее, оно принуждало к трезвому и спокойному обдумыванию всех возможностей. Мысль о том, что придется снова ходить на партийные собрания, «войти в коллектив», – как сказали Косыгин и Сулов, была мне невыносима. Я тихо и незаметно жила с детьми последние десять лет, вела хозяйство, делала переводы. Какое им всем дело до того, чем я занимаюсь? Нет, мне никогда не дадут жить жизнью нормально, обычного человека...

Визит Сурова произвел действие, совершенно обратное его намерениям. Теперь я с нетерпением ждала приезда Динеша, чтобы еще раз поговорить с ним о возможности остаться в Индии. Мне казалось, что он хотел мне помочь; во всяком случае наш первый

разговор об этом в Дели был обнадеживающим.

* * *

В угоду советскому посольству Динеш успел инструктировать всех, чтобы меня не пускали разгуливать по деревне. Но пока его не было, я, конечно, обошла все вокруг.

Зимних дождей в этот год не было. Все пересохло, тучи пыли поднимались при малейшем ветерке. На узких, грязных улочках деревни полно голодных собак, тут же на открытых лотках торгуют овощами, фруктами, пряностями. Из одного колодца доставали воду ведром на веревке, как в русской деревне; там всегда толпились женщины с латунными кувшинами для воды. Другой колодец был большой и древний: кожаный мешок с водой поднимало скрипучее устройство, приводимое в движение буйволом, которого водил взад и вперед мальчик. Через определенные промежутки времени другой мальчик опрокидывал кожаное ведро в деревянный желоб и она текла по желобам дальше, к полям. Этот «вечный двигатель» работал в медленном ритме, скрипуче и усыпляюще, но вода текла. Из колодцев, работавших на электричестве, вода не текла, так как ближайшая электростанция бастовала, надеясь перед выборами на повышение зарплаты.

По той же причине не ходил автобус в город, а там не работали суд и государственные учреждения. Электростанция иногда ненадолго давала ток днем – именно для колодцев, а вечером выключала, и в доме зажигали керосиновые лампы.

Несмотря на то, что большая река была рядом, поля вокруг деревни выглядели как во время долгой засухи. Глубокий колодец, построенный специально для орошения полей, бездействовал: слишком дорого купить насос. Печальный дух запустения и пассивности присутствовал во всем. Большой, глубокий канал, прорытый в дни Рампал Сингха, в конце прошлого века специально для орошения, превратил бы всю окрестность в цветущий сад. Когда-то по нему ходили большие лодки. Но он давно высох, дно его заросло деревьями и редким кустарником, там паслись козы.

Таким же печальным памятником лендлордизма был разрушенный типографский пресс первой газеты на хинди, основанной все тем же Рампал Сингхом, который был также одним из основателей партии Национальный Конгресс. Возле пересохшего канала, на красивом холме стояли развалины дома, где некогда жил известный поэт Сумитра Нандан Пант, старый друг всей семьи.

Все эти печальные руины помещичьей культуры и жизнь семьи Суреша много раз заставляли меня вспоминать чеховский

«Вишневый сад». Здесь был и сад, – только манговый; огромные, прекрасные вечнозеленые деревья тоже стояли полузапущенные и земля вокруг них была как камень. Правда, здесь никто не рубил символический сад, – но никто и не приходил на смену ему, ничто новое не теснило это постепенное умирание. Единственным крупным прогрессивным реформатором Калаканкара был только раджа Рампал Сингх, но то были другие времена. Сейчас жизнь здесь влачилась в ожидании дождя. Очевидно, это был только пример общего положения в индийской деревне.

Независимость и земельная реформа в Индии нанесли удар феодальному землевладению и всей старой культуре, но что же вместо этого? Опыты в духе социализма не могут решить проблемы крестьянской Индии, и не вызывают массовой симпатии. Идеалистическое пристрастие Неру к социализму было оставлено им в наследие стране. Но когда о «пятилетнем плане» говорил Динеш, то я просто чувствовала, что ему хочется снова поехать в Москву и произвести там хорошее впечатление. Заподозрить его в идеалистическом заблуждении невозможно.

Я давилась от смеха, когда Наггу, – эта махарани с бриллиантом в ноздре, для которой не существует жизни за пределами касты, – толковала мне о преимуществах социализма и государственного контроля. Мне! – как будто мы в СССР не знаем лучше, что значит все это на деле.

Единственный коммунист в Калаканкаре, бедный и больной крестьянин Рам Дин, тоже пытался доказать мне эти «преимущества», держа в руках коммунистические брошюры на хинди. Но, как только я ему сказала, что в СССР крестьяне не владеют землей и работают на полях, как рабочие на фабрике, он сник и опечалился. Бедный Рам Дин не говорил по-английски, не читал ничего, кроме этих брошюрок, и верил в коммунизм и социализм потому, что Баджеш Сингх был объектом его любви и преданности. А просвещенные раджи и махараджи просто лицемерили. На деле Динеш и Наггу с удовольствием предпочли бы прежние порядки. Их большими фермами, несколькими домами и землей распоряжался управляющий, которого в Калаканкаре называли менаджер-сахаб и боялись еще больше, чем раджу и рани.

Правда, следуя духу времени, Динеш отдал старый дворец предков государству, и теперь в нем помещался Учебный Сельскохозяйственный Центр района. Перед красивым белым дворцом в стиле северо-индийских раджпутов молодежь вздымала клубы пыли на волейбольной площадке. Но крестьяне пассивно реагировали на «новые методы» и считали, что все дело в хорошем дожде. Те два мальчика из Американского Корпуса Мира жаловались Пракаш, что крестьян очень трудно вызвать в поле, потому

что они следуют бесчисленным индуистским приметам, боятся «дурного знака» и предпочитают молитвы об урожае – упорной работе.

Я видела два других старых дворца неподалеку, где жили дальние родичи все той же семьи Сингхов. Однажды Пракаш взяла меня с собой, чтобы оказать уважение самой старой женщине в роде. Я надела свое белое сари и делала все так, как объясняла Пракаш. Войдя в большой, открытый, внутренний двор, вымощенный камнем, мы сняли обувь в знак уважения. Возле небольшого костра сидела на корточках очень худая женщина в грубом домотканном сари, похожая на старую большую птицу. Ее глаза с красными веками были устремлены на огонь, она шевелила угли палкой. Следуя во всем за Пракаш я подошла, поклонилась и повторила жест Пракаш, коснувшись рукой босой ноги женщины. Но оказалось, что я сделала ужасную ошибку: надо было коснуться только земли у ее ног. Она вскоре поднялась и ушла мыться, так как я осквернила ее своим прикосновением. Позже она уже не вышла к нам. Пракаш, смеясь, потрепала меня по плечу и сказала: «Она очень религиозна, и готовится к смерти; она никогда не выходила из этого двора. Молодые женщины и сейчас выходят из этого дома только набросив сари на голову и лицо, и смотрят вниз. Мы давно отошли от этого всего!» Мы сели в джип, подобрав наши сари, и поехали домой, где люди вели себя нормально...

В доме у Пракаш было просто, но дух касты выветривается с трудом. В доме было много слуг, потому что каждый имел право выполнять только определенный вид работы. Готовил пищу – кроме самой Пракаш – только повар, брахман по происхождению; другой слуга подносил все, что нужно повару и мыл посуду, но не имел права готовить. Двое слуг были в доме – убирали комнаты и подавали на стол, но не могли есть ту же самую еду. Они всегда были наготове откликнуться на зов, хотя бы для того, чтобы подать стакан воды. Оба они – один совсем молодой, другой постарше, прекрасно стирали и гладили электрическим утюгом, но на полу, а не на столе. Они были уже не из брахманов, но и не из самой низшей касты.

Мыла каменные полы в доме женщина из неприкасаемых. Теперь, по закону, касты неприкасаемых не существовало, но никто другой все равно не имел права мыть полы и убирать в ванной. Ах, эта ванная комната!

К счастью, современная уборная в доме действовала исправно, что было чудом для этого захолустья и говорило о культурном уровне хозяев. Вообще же сельская местность не знает уборных и, совсем как во многих деревнях России, просто когда нужно –

выходят «во двор». Здесь крестьяне выходили на берег Ганга и присаживались на корточки, что очень мешало любоваться красотой ландшафта. Ассенизация была возложена на палящие лучи солнца и на стадо черных косматых свиней, гулявших по берегу ежедневно.

Водопровод в доме был, но вода не текла ни из одного крана. Воду для мытья приносил каждое утро панивала, старый водонос, с искривленными ногами и сторбленный от этой, выполняемой всю жизнь, работы. Обычно он приносил воду из колодца, но когда электричества не было, он шел с коромыслом к Гангу. То же было и в радж-бхаване, где в гостиной была красивая современная мебель, но воду для мытья – холодную и горячую – приносили водоносы. Там было еще больше прислуги, большая часть которой находилась в кухне и никогда не появлялась в доме. Домашние слуги в обеих семьях носили теннисные тапочки и домотканые длинные дхоти с европейской рубашкой навывпуск, или с пиджаком.

Я выдала свое плебейское происхождение очень быстро тем, что сама выстирала свои вещи и попросила уют. Но гладить на полу с непривычки невозможно, и стирать европейскую одежду без большого количества горячей воды тоже. Чтобы не испортить окончательно то, что я привезла с собой, я перешла на сари, найдя эту одежду очень удобной. Шестиметровые сари я отдавала стирать и гладить прислуге. Но все равно, слуги считали меня «простой», и поэтому относились ко мне очень приветливо.

Всю работу в доме могла бы сделать одна европейская женщина, вооруженная техникой. Здесь же слуга смахивал пыль полотенцем, вертя его в руках, и все равно пыль лежала на всем, а углы были всегда полны паутины. Но я легко мирилась с этим, так как для меня важнее было теплое отношение хозяев и слуг, их милые улыбки, их искренняя симпатия.

Мягкость и приветливость встречали меня на каждом шагу, а к условиям жизни я очень быстро приспособилась, и находила их приятными и здоровыми. Обливаться утром холодной водой, принесенной из Ганга, есть простую еду из риса, овощей и фруктов, пить чистую воду из колодца, вместо вина, и крепкий гималайский чай, вместо кофе, – что может быть полезнее? За два месяца в деревне я почувствовала себя поздоровевшей и окрепшей, и нисколько не страдала ни от сырой воды, ни от кухни, где столом служил каменный пол. Конечно, я и не думала кипятить воду или специально мыть фрукты и посуду, как меня строго инструктировали в посольстве. Просто я любила все, что видела вокруг; и все здесь платило мне ответной любовью.

Бедность вокруг была слишком очевидной, хотя Калаканкар не был пределом нищеты и голода. Это был сравнительно благополучный район, если вспомнить, что в соседнем Бихаре в этот засушливый год люди умирали от голода. Но и здесь каждая прогулка по деревне оставляла тяжкое впечатление. Как ни приветливы и милы были все, но все же лица были измождены, полуодетые тела – кожа да кости...

Как-то раз Суреш сказал мне, что ему бы хотелось что-то сделать для Калаканкара в память о брате, и он просил Динеша согласиться хотя бы на мемориальную комнату в колледже. Но Динеш, распорядившийся всеми общественными фондами в деревне, не поддержал его.

«Мы бы сделали это сами, но у нас нет денег», – заключили безнадежно Суреш и Пракаш.

Тут мне пришла в голову неожиданная мысль, – они меня сами подтолкнули к ней. Если я останусь в Индии, я буду писать; я смогла бы издать где-нибудь за границей свою первую рукопись, и тогда я не была бы бременем здесь никому, и смогла бы помочь всем этим людям. Хорошо бы построить небольшую больницу в память Баджеша, – здесь нет ничего, только маленькая клиника, где доктор Нагар оказывает первую, необходимую помощь в двух грязных комнатах. Ни оборудования, ни аптеки. Да, надо взять рукопись у Кауля как можно скорее и послать ее в Париж к Д'Астье, к единственному человеку, известному мне вне пределов СССР, благо он сам писатель.

Я никогда не считала, что «20 писем» могут быть для западного читателя политическим открытием, потому что они были написаны как семейная хроника, а не как исторические мемуары. Я не ставила себе целью рассказывать об известных или неизвестных политических событиях. Но я знала, что хроника семьи столь необычной и трагической, как наша, безусловно заставит читателя прийти и к политическим заключениям.

Я написала в Париж Любе Красиной, жене Эммануэля Д'Астье, с которым виделась до того три раза в Москве. Я писала Любе по-русски, что я в Индии, что не хочу возвращаться в СССР, и спрашивала – возможно ли будет издать книгу за границей с тем, чтобы средства пошли на помощь Калаканкару?

Через несколько дней пришла короткая телеграмма: «Да, возможно». Позже пришло письмо от Любы, которая писала по-русски, что полностью понимает меня. Но никаких практических советов в письме не было.

Могла ли я так довериться людям, которых едва знала? Мне казалось, что обратиться к Д'Астье в данных обстоятельствах безопаснее, чем просить помощи в Индии. Его жена, русская, дочь Л.

Б. Крассина[3], когда-то в детстве знала мою маму. Наш дедушка, С. Я. Аллилуев, хорошо знал всех Крассиных. – Мне было приятно вспомнить об этом в моем теперешнем безвыходном положении, поэтому я и написала Любе, которую никогда в жизни не видела.

Эммануэль Д'Астье неожиданно позвонил около моей двери в июле 1962 г. Он представился, сказав, что пишет очерк о моем отце и хотел бы уточнить со мной некоторые биографические сведения. По всем правилам советской жизни я должна была бы ему вежливо отказать, или предварительно выяснить в официальных инстанциях, – разрешено ли мне принять иностранца. Но эти «правила» так отвратительны, что я решила ими пренебречь, пригласила его войти в мою квартиру и мы проговорили несколько часов.

Имя Д'Астье было известно в кругах московской интеллигенции: его считали либералом, пацифистом, прокоммунистом, борцом за мир. По-русски был издан его роман о французском Сопротивлении, в предисловии к которому Илья Эренбург дружески назвал его «дилетантом в искусстве и в политике» и «Дон-Кихотом».

Д'Астье сразу же сказал, что Эренбург отговаривал его от встречи со мной, но что он все-таки раздобыл мой адрес у московских знакомых. Он принес мне показать свою брошюру о моем отце и фотографии, которые собрал для нее. Мне пришлось тогда убеждать его, что половина фотографий, собранных им из европейских источников, были фальшивками. Взамен он взял десятка два семейных фотографий из моих альбомов. Он никак не хотел поверить, что такой «источник», как книга Буду Сванидзе «My uncle Joe» – тоже фальшивка. Только сын А. С. Сванидзе, которого я разыскала для встречи с Д'Астье, смог убедить его, что Буду Сванидзе вообще никогда не существовал. Д'Астье записал тогда многое из наших бесед и повторял, что мне нужно самой написать книгу о своей жизни. Через год вышла его книга «О Сталине», где я нашла (без ссылки на источник) мои фотографии и рассказы, с перепутанными именами, датами и фактами.

Вскоре же после этой встречи меня вдруг пригласил к себе на дачу Микоян. Гуляя, он заметил, что, конечно, мне «не запрещено» встречаться с прогрессивными зарубежными деятелями, но что «лучше не стоит». Потом вдруг спросил: – «Тебе никогда не хотелось написать воспоминания? Пиши, если хочешь. Только не давай иностранцам, они будут охотиться за тобой». Я ответила, что не собираюсь ничего писать. Но этот разговор запомнился мне, и потому я так прятала от официальных кругов свои «20 писем», написанные годом позже. Я знала, что рукопись у меня немедленно отберут или заставят ее переделывать в духе очеред-

ной «партийной установки».

Потом Д'Астье приезжал в Москву еще два или три раза, и заходил ко мне. Каждый раз после этого меня вызывали в ЦК КПСС и вежливо спрашивали – «чего хочет этот француз?» И не верили, что он просто привез мне письмо от Любы или французские духи.

Я, конечно, нарушала «партийные правила», не сообщая первая об этих посещениях. Но я и не собиралась им следовать. Для нас затворников, отгороженных в СССР от всего мира, – а особенно для меня, – эта неожиданная и необычная возможность общения с внешним миром была драгоценным событием. Я этим дорожила и верила в симпатию французского писателя и его русской жены, хотя, в общем, мне было о них совсем мало известно. И сейчас я написала в Дели Каулю, прося его переслать мне рукопись в Калаканкар, где я задержусь дольше. Думая об этой забытой рукописи я ощущала желание писать еще, говорить еще о многом...

Если бы я осталась в Индии, то лучшего места для работы, чем эта тихая деревня, не найти.

* * *

Между тем Калаканкар и весь округ горячо обсуждали предстоящие в феврале выборы в Парламент. Динеш был здешним кандидатом от правящей партии Национальный Конгресс, и, повинаясь традиционному вассальному долгу, многие местные крестьяне голосовали за него, часто просто из страха. Это было немало похоже на «выборы» в Советском Союзе. Но в отличие от СССР здесь были на выбор программы и кандидаты семи основных партий.

Я не ожидала такой активности и политической заинтересованности здесь, в деревне. Полуодетые и полуголодные крестьяне, выбиравшие Парламент своего штата и Центральный Парламент, обсуждали все новости, доходившие сюда из местных газет и по радио. У многих были дешевые маленькие индийские транзисторы. Суреш Сингх и его семья, доктор Нагар, староста, учитель местного колледжа, все участвовали в предвыборной агитации, тоже по традиции, в пользу Динеша. Но на самом деле их симпатии далеко не всегда были с ним и даже не с его партией.

В этом штате были сильны оппозиционные партии Сватантра, Джан Сангх и Социалистическая. Правящая партия Конгресс разочаровала многих, и в Лакхнау могло сложиться оппозиционное правительство. Коммунисты не пользовались в этой провинции популярностью, и за них в Калаканкаре агитировал один лишь бедный Рам Дин, которого все звали «товарищ».

16 января в Калаканкаре ожидали Индиру Ганди, объезжавшую свой округ, находившийся по соседству. Смеясь, говорили о том, что сначала в деревню приезжают около 600 «секьюрити», переодетых в крестьянскую одежду, и на каждом митинге, где говорит Индира, они составляют первые ряды. Ожидали, что скоро они нагрянут и в Калаканкар. Дом Суреша был, как клуб: двери открыты настежь, посетители сидели на полу обсуждая новости, слушали радио.

Многие открыто выражали недовольство правящей партией и премьер-министром. Спрашивали меня: а как в СССР? И недовольно качали головами, когда я объясняла им – что такое «выборы» при однопартийной системе. Эти босые крестьяне с транзисторами не могли поверить, что в избирательном бюллетене может быть всего лишь один кандидат, – и весело смеялись над такой чепухой.

Наконец из Дели приехал Динеш, окруженный целой свитой помощников, секретарей, работников на выборах. Весь его западный демократизм исчез, здесь к нему обращались не иначе как «махарадж». Вместо европейского костюма он был одет в белые бумажные чуридар и синий ачкан и принимал посетителей, сидя на тахте, скрестив босые ноги, под портретом своего отца, изображенного во всех регалиях раджи Калаканкара.

Подойти к Динешу и остаться с ним вдвоем для разговора было теперь невозможно. Когда уходили посетители, его немедленно окружали шесть дочек. Динеш делал вид, что забыл наш разговор в Дели. Он был приветлив, угощал меня за столом, но сказал, что мне следует возвратиться в Дели, так как «посольство очень тревожится». Он передал мне письмо Кауля, тоже звавшего меня вернуться в Дели. О моей рукописи в письме не было ни слова.

Я поняла одно – меня зовут в Дели сейчас, чтобы я не встрети-лась с премьер-министром. Говорил ли с ней Динеш невозможно было выяснить. Я была встревожена тем, что Кауль не возвратил мою рукопись. Он писал, что должен уехать на время, но подойдет специально, чтобы увидеть меня, так как очень надеется, что я послушаю его доброго совета и скоро вернусь в Дели. Я написала еще раз, прося его прислать мне рукопись в Калаканкар, и добавила: «может быть у Вас уже нет рукописи и Вы отдали ее в Советское посольство?»

Теперь мне оставалось только попытаться поговорить с премьер-министром здесь, в Калаканкаре. И я наотрез отказалась ехать сейчас в Дели, мотивируя это тем, что у меня виза до 20-го января, а так как следующий рейс Аэрофлота только 26-го, то я еще немного задержусь здесь. Динеш глубоко вздохнул; гостеприимство обязывало его считаться с моим желанием.

«Ну что ж, – сказал он, – моя семья и я уедем отсюда 25-го, вы сможете поехать тогда с нами».

Вскоре деревню, в самом деле, наводнили «секьюрити» премьер-министра. Они осмотрели оба дома и берег реки, их нужно было где-то расселить и началась суматоха. Динеш со своей свитой все время разъезжал по округу, иногда по несколько дней. Наггу готовила дом к приему премьер-министра и ее свиты, и по этой причине меня, наконец, освободили от моей комнаты в радж-бхаване. Я перебралась в маленькую комнату, где жил Брэдеш, очень довольная этим перемещением.

В доме Суреша все были рады, что я еще не уезжаю; Наггу же заметно нервничала, боясь осложнений для мужа. Милая Даду курсировала между обоими домами, переноса сплетни туда и обратно. Всем была любопытна и интересна моя очевидная борьба с посольством. Письмо и телеграмма из Парижа также не остались без внимания.

Впрочем, я и не скрывала то, что делала, а в индийской семье вообще не бывает секретов, и чтение чужих писем членами семьи считается закономерным. В обсуждении любых семейных проблем принимают участие все желающие, сидя на тахте или на полу. В Калаканкаре скоро все узнали, что мэм-сахаб не хочет возвращаться в Москву. Каждый новый гость спрашивал меня: – «Нравится вам здесь? Вы бы остались в Индии?» И я не скрывая отвечала, что да, осталась бы... Это вызывало ко мне симпатию. Учитель колледжа, доктор, староста, прислуга, – все сочувствовали мне, но отлично разбирались в том, что ни раджа-сахаб, ни правительство Индии не станут из-за меня портить отношения с СССР. Учитель даже приходил давать мне уроки хинди, который я немного изучала еще в Москве.

Наконец, вся деревня была созвана на митинг возле здания колледжа, где должна была говорить Индира Ганди. Мы поехали туда на нашем «джипе». Семья Динеша уже ждала у входа, семилетняя Ратна в праздничной оранжевой одежде, держала наготове гирлянду оранжевых цветов. Мы тоже встали здесь. Я удивилась, что Динеш не приехал в этот день.

Вскоре подкатил, весь в клубах пыли, лимузин премьер-министра и, быстро выйдя из машины, женщина в сари уже шла к нам, делая намаете направо и налево всем, встречавшим ее. Ратна со всех ног бросилась навстречу и накинула ей на шею гирлянду цветов. Мы все также приветствовали ее, сложив руки в намаете, и, проходя мимо, она быстро отвечала каждому. Она давно знала семью Сингхов, все лица здесь были ей хорошо знакомы, она задержала на секунду внимательный взгляд на мне и на моем белом сари. (Посол Кауль представил меня Индире в Москве ле-

том 1965 года, когда она еще не была премьер-министром). Затем все быстро пошли за ней к открытой галерее колледжа, где был микрофон, а вместо «стола президиума» стояла тахта покрытая ковром, куда уселись Суреш, Пракаш и Наггу. Я села на пол сбоку, рядом со всеми остальными.

Индира Ганди была в темном сари из домотканой бумажной материи в мелкую клеточку. Будучи вдовой, она не носила драгоценностей и украшений. У нее было умное, вдохновенное лицо, острый взгляд. Она долго и горячо говорила на хинди, должно быть, что-то прогрессивное и вселяющее надежды. Кто же говорит иначе накануне выборов? Сидевшая перед ней на земле аудитория не очень внимательно слушала, а скорее разглядывала ее. Если это не крестьяне, а охрана, то они уже в который раз все это слышат... После ей опять поднесли гирлянды цветов, и доктор Нагар, сбиваясь и волнуясь, невнятно прочел адрес от Калаканкара, забыв про микрофон.

Митинг был окончен, и она так же стремительно вернулась в свой лимузин, а мы побежали, подхватив сари, в наш «джип», так как теперь все ехали в радж-бхаван обедать. Премьер-министр не удостоила разговором ни доктора, ни учителя колледжа и никого из приветствовавших ее; может быть она позовет их к столу вечером?

До обеда в гостиной, где было полно народа, премьер приветливо спросила меня, как мне нравится Калаканкар. Глядя ей прямо в глаза я сказала, что очень нравится, и что мне хотелось бы остаться здесь возможно дольше... Индира несколько наивно спросила: – «А вам не разрешают?» – Тут Пракаш решительно села на диван рядом с Индирой и стала говорить ей что-то на хинди прямо в самое ухо. Индира слушала, искоса поглядывая на меня, иногда кивая головой. Раджа и рани Бхадри, специально приехавшие повидать премьера, нетерпеливо переглядывались. Наггу позвала всех к столу. Моя аудиенция с премьером была окончена.

Столы были накрыты в большой столовой, расписанной по потолку подвигами Рамы, и в маленькой смежной комнате. Все было украшено цветами, даже электричество в этот вечер не «бастовало». В маленькой комнате за стол вместе с премьером сели Наггу, Суреш и Пракаш, раджа и рани Бхадри и несколько человек из свиты. В большой комнате угощались, главным образом, многочисленная свита и несколько человек из Калаканкара, недопущенных близко к Индире. Девочки, Даду и я тоже были оставлены за пределами маленькой комнаты, что, впрочем, меня не удивило: я поняла, что Динеш, по-видимому, ничего не говорил премьеру обо мне. Быть может, поэтому он и не приехал сегодня, и распорядился, чтобы Наггу не подпускала меня к ней близко.

Ну, что ж, мне неплохо и тут, вместе с Даду, которую не сажают за стол с премьером, хотя это ее дом. Бедная Даду грустно ковыряла свое карри. Еда была чудесной – карри, рис, пряности, фрукты, изобилие и довольство. Знает ли премьер, как живут здесь за стенами «радж-бхавана»?

Я вскоре ушла к себе в комнату, так как мне ничего больше не оставалось делать, и легла спать. Премьер должна была уехать утром, после завтрака.

Рано утром Пракаш вошла ко мне и сказала: «Я говорила вчера с Индирой, вы видели. Она давно знает меня, я с ней обо всем могу говорить. Они все боятся, и сейчас очень плохое время, перед выборами. Я думаю, что если бы вы остались до весны, и она снова будет премьером, ей и Динешу было бы легко вам помочь. Идемте, они завтракают сейчас на верхней террасе, Динеш приехал поздно ночью».

«Все это бесполезно», – сказала я. Но Пракаш помогла мне надеть сари и пошла вперед, сказав: «идемте со мной!» Я пошла с ней, но на душе у меня было противно и грустно.

На верхней террасе, залитой утренним солнцем, Динеш сидел рядом с Индирой и пил апельсиновый сок. Лицо его вытянулось, когда мы подошли, и он впервые посмотрел на меня с открытым недружелюбием. Мы сели. Выпили сок. – «Ну, мне пора!» – сказала глава 400-миллионного народа. Все встали. Динеш сфотографировал семейную группу вместе с Индирой, пригласив меня встать тоже. Потом все пошли вниз, во двор, проводить премьера.

Когда все уже делали ей прощальное намаете, она вдруг подошла ко мне, протянула обе руки и тепло глядя сказала: «Я вам желаю счастья!»

«Желаю вам успеха!» – ответила я, тронутая этой неожиданной сердечностью. И все они ушли.

Мы пошли на нашу маленькую террасу возле моей комнаты. Пракаш вся кипела: – «Динеш не хочет!» – повторила она. – «Они все только и ждут, чтобы вы уехали, Наггу злится... Ах, если бы был жив покойный премьер Шастри! Какой это был добрый человек, и я всегда могла говорить с ним и с его женой. Они были такие простые, а Индира даже ни с кем здесь не говорила, одни только „секьюрити“ вокруг нее! Как все изменилось, в этой стране! Разве так вел себя с людьми Ганди-джи? Теперь они хотят опереться на раджей и махараджей, а Ганди-джи разговаривал с неприкасаемыми, для него не было „неприкасаемых“. Во что теперь превратился Конгресс?» – она горестно качала головой и повторяла то, что говорили здесь все: «Во что превратился Конгресс?»

Мы сидели на терраске возле деревьев Ашоки. Слуги носили обратно в дом мебель, взятую в радж-бхаван для свиты премьер-министра. Мне сказали, что моя комната там снова свободна.

«Теперь недолго», – сказала Пракаш, – «в конце месяца Наггу и девочки уедут в Дели, тогда вы переберетесь к нам». Она не сомневалась, что я не уеду. Как я была благодарна ей и Сурешу. Они предоставляли мне возможность оставаться у них и, тем временем, сделать попытку продлить визит еще на два-три месяца, теперь уже в качестве их гостей. По советским правилам гостя у родственников за границей, всегда можно продлить визу на два-три месяца, если посольство не несет расходов за это. Ну, что ж! Значит это будет еще одной попыткой. Возможно, в самом деле, я приехала в неудачное время, и в случае победы на выборах премьер-министр немного осмелеет...

Было тревожно, что ничего до сих пор не было слышно от детей из Москвы. Я послала телеграмму Берте, прося ее сообщить им это. Послала и детям телеграмму и ждала каждый день ответа. Вдруг однажды Наггу спросила невзначай: «А разве вам не передали телеграмму, которая пришла от вашего сына на наш адрес в Дели? Динеш сказал мне, что была телеграмма, он видел ее. Там ничего особенного, сын сообщает, что у них все в порядке».

Я так и подпрыгнула! Это здесь обычно: Динеш сообщил жене о телеграмме для меня, прочтя ее, а мне они просто забыли сказать. И Наггу, конечно, уже обсудила на своей тахте эту новость со всеми.

Эта большая тахта в гостиной была настоящим женским клубом, трибуной, президиумом. Никакая мелочь не оставалась без внимания женщин, быстро перебирающих пальцами спицы и закрывавших рот только на секунду, кладя туда свежий лист бетеля.

Не так давно на тахте возникла новая тема для обсуждения.

«Американская тема»

В доме Динеша была большая библиотека на английском языке. В гостиной лежали журналы: «Ladies' Home Journal», «Time», «Life», «Newsweek». Девочки читали только на английском.

Я прочла в доме Динеша «Уроки всемирной истории» Неру, автобиографию герцогини Виндзорской, перелистала мемуары Черчилля, прочла книгу бывшего посла в Москве Джозефа Девиса и, наконец, с интересом погрузилась в «Ambassador's Report», нынешнего посла США в Дели Честера Боулз.

Эта книга была увлекательной и живой. Посол хорошо знал и любил Индию – об этом говорила каждая страница. Я вдруг на-

ткнулась на одно изречение Махатмы Ганди, так понятное мне в данных обстоятельствах, что не удержалась, чтобы не выписать себе его, по привычке. Вот оно:

«Отдельный индивидуум может бросить вызов несправедливой мощи целой империи для того, чтобы спасти собственную честь, свою веру и свою душу, и положить начало падению этой империи или ее духовному возрождению».[4]

Принято считать, почему-то, что «Восток не придает значения отдельной личности, человеку». Это глубокое заблуждение, и слова Ганди, как и вся его жизнь, доказывают обратное. Я думала об этих его словах много; в Калаканкаре для размышлений были целые дни.

Я не расставалась с книгой несколько дней. Это не ускользнуло от внимания старших девочек, и вот уже над тахтой запорхал, как яркая бабочка, новый разговор: почему бы ей не попросить убежища в американском посольстве, чтобы вернуться в Индию потом с американским паспортом? На тахте взволнованно обсуждали новый вариант, о чем мне немедленно сообщила Даду.

«Они говорят, что это самое лучшее», – взволнованно рассказывала она, – «а что вы сами думаете? Были ли еще новости от ваших парижских друзей?»

Нет, мои парижские друзья молчали. А мне всерьез подумалось, что если бы я могла рассказать о себе этому послу – Честеру Боулз, то он наверное понял бы меня... Но это я подумала и промолчала. Это еще не стало моей мыслью, а до подобного решения я была еще очень, очень далека. Я просто читала книгу с глубокой симпатией к ее автору и невольно сопоставляла его компетентность с советскими посольскими невеждами. Даду я сказала, что попытаюсь добиться разрешения погостить здесь до мая.

«Американская тема» возникла откуда-то сама собой, так же как неизвестно откуда появляются в воздухе бабочки. И как бабочка, она порхала и появлялась опять и опять, напоминая о себе неожиданно и упорно.

В доме Суреша о США говорили часто, и совсем не в связи со мной, а потому что старший его сын Ашок уже семь лет жил в Америке. Окончив инженерное отделение Вашингтонского Университета в Сеаттле, он стал работать проектировщиком в Боинг Ко. Ашок, как и его младший брат Сириш, родился и вырос в Калаканкаре. Но Сириш, подобно родителям, никуда не выезжал из Индии. Ашок же чувствовал тягу на Запад. Работа навсегда привязала его к США, к тому же он женился в Сеаттле на голландской студентке, там был их дом и двое детей. Два года назад молодая семья приезжала погостить в Калаканкар. К общему огорчению выяснилось, что Индии не нужны проектировщики

реактивных самолетов, а чистоплотной голландке не нужен дом без водопровода и электрической кухни.

О недавнем визите молодой семьи все еще говорили в Калаканкаре, где после их отъезда остались некоторые «следы цивилизации»: радиоантенны в комнатах и электрическая плита, на которой теперь иногда грели чайник. Но Пракаш все же предпочитала готовить на керосинках, сидя на каменном полу.

Главные сокровища находились в «комнате Ашока», ключ от которой Пракаш держала на поясе. В этой комнате были деревянные стеллажи для книг, сделанные Ашоком, полные его технических книг и журналов. Здесь были также комплекты «National Geographic» и «Life», выписанные Ашоком для Калаканкара. Увидев эти журналы здесь, в глухой индийской деревне, я невольно вспомнила как однажды, в Москве, я пыталась выписать «National Geographic» для своих детей, но это оказалось невозможным: только Академия Наук получала несколько экземпляров. Политические журналы «Life» и «Time» в Москве были только в специальных библиотеках, их не давали на дом.

В комнате Ашока осталась яркая плетеная мебель, брошенный радиоприемник, пластинки, ненужные игрушки. Пракаш берегла все это, – Ашок был любимым сыном, далеко улетевшим листком родного дерева и, по-видимому, талантливый молодой человек.

В Сиаттле у них был теперь свой дом, два автомобиля, хорошая работа, напряженная, но комфортабельная жизнь, о которой он рассказывал и писал. Родители жили его рассказами и повторяли их ежедневно по малейшему поводу. Иногда Ашок присылал цветные slides, чтобы показать, как быстро растут дети, или как цветут цветы в их саду, с которыми он любил возиться. Все это было где-то далеко-далеко отсюда, на другой стороне земного шара.

Его родителям, не видевшим ни одной страны, кроме Индии, жизнь в Америке казалась непомерно напряженной и ускоренной, но они отдавали должное трудолюбию и, в результате, – богатству США. Им нравилось, что там все много работают, что работа дает комфорт и свободу, что товары дешевы, что люди предприимчивы и просты. Они так гордились своим сыном, который в той далекой стране живет успешно и хорошо. И повторяли – очевидно, его слова, – что Индии тоже нужна инициатива, свободное предпринимательство, мелкая индустрия в городе и в деревне, современные механизированные фермы. Все, что «Ашок сказал» было здесь непреклонной истиной.

Мысль о том, чтобы я обратилась в американское посольство, никому в Калаканкаре не казалось чем-то сверхъестественным.

Во всех странах известно, что советские граждане нередко так и поступают. Здесь все эти женщины говорили о такой возможности для меня с наивным непониманием политического значения такого шага. Они просто верили в святую истину: пусть человек выбирает сам, где ему хочется жить.

Но я уже вынесла уроки из их болтливости, из чтения чужих писем и обсуждения чужих проблем, поэтому только повторяла, что «это неприемлемо для меня» и что «этот путь мне не подходит». Я слишком хорошо понимала, что означал бы такой шаг, и даже только разговоры о нем, если бы они дошли до моего посольства.

Трудно сказать, когда подобная мысль представилась мне реальной возможностью. Во всяком случае, только после того, как я прочла книгу Честера Боулза. Тут девочки, в самом деле, что-то угадали... Мысль о том, что посол Честер Боулз возможно понял бы меня и помог бы, я отодвинула куда-то в самый дальний угол своего сознания, и позволяла себе заглядывать туда только когда бывала совсем одна. И только без свидетелей, молча, я часто стала думать об этом, представляя себе здание американского посольства в Дели, мимо которого я однажды прошла.

О США я знала больше, чем о какой-либо другой стране. Так сложилось, что с детства меня учили английскому языку и я рано начала читать по-английски Уайльда, Голсуорси, Стейнбека и Хемингуэя. Знакомство с американским кино, а через него с Америкой, было возможно потому, что на правительственных дачах всегда крутили кино по уикэндам; сюда давали заграничные фильмы, которым не было допуска на городские экраны СССР. И, конечно, на этих дачах главными зрителями была молодежь, изучавшая иностранные языки. Грета Гарбо и Ширли Темпл, Бетти Девис и Дина Дурбин, Кетрин Хэпберн и Спенсер Треси, Мирна Лой и Кларк Гэйбл, Барбара Стенвик и Роберт Тейлор были знакомы мне еще до войны. Позже моей любимой киноартисткой надолго стала Ингрид Бергман. Я могла пользоваться этим «закрытым экраном» вплоть до 1949 года, пока не оставила навсегда старую дачу в Зубалове, где жила с детства.

Став студенткой Московского Университета я выбрала на историческом факультете историю США. Это было подсказано общим настроением и интересами тех лет – во время войны и в первые годы после нее. Дух дружбы с американским союзником был очень силен, и все стремились узнать как можно больше о великой заокеанской демократии.

Мой первый муж, студент дипломатического института, и я вместе читали «Историю русско-американских отношений» Ф. Шумана. Я писала курсовые доклады об установлении диплома-

тических отношений между США и СССР в 1933 году, о Новом Курсе Рузвельта, об американских профсоюзах. Моя давняя подруга Аля писала о возникновении Организации Объединенных Наций. Вся наша университетская группа изучала историю, экономику и географию США, внешнюю политику США в Южной Америке и в Европе.

Мы читали все то небольшое, что переводилось в СССР из американской художественной литературы. В годы войны мне удавалось просматривать «The Illustrated London News», а также «Life», «Time» и «Fortune», где всегда было много интересных подробностей о союзниках, о конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме.

Мой отец только однажды, в 1942 году вызвал меня на свою квартиру в Кремль, чтобы представить Уинстону Черчиллю. Я успела поздороваться и через пять минут была отправлена обратно. Это было исключением из общего правила отца – никогда не выводить меня в «большой свет». Ему не только не могло прийти в голову взять меня с собой на международные конференции, но он считал недопустимым мое присутствие даже на московских дипломатических обедах, хотя знал, что я могла говорить по-английски.

Эти правила строго выполнялись и после смерти отца, поэтому в Москве у меня никогда не было доступа ни к дипломатическому миру, ни к иностранным корреспондентам. Единственной встречей подобного рода было интервью в 1955 году с Рэндольфом Херстом и Кингсбери Смитом по их просьбе, разрешенное правительством. Меня долго инструктировал перед этим Молотов, а во время интервью с нами сидел переводчик из МИД'а, хотя в нем не было необходимости.

Инструктаж Молотова сводился к тому, чтобы не говорить ни о политических проблемах в стране, ни о политических взглядах моего отца. Не говорить, что мой брат Василий сидит в тюрьме, а объяснить его отсутствие болезнью. Не касаться политики и вообще возможно быстрее закончить разговор. Я пыталась отказаться от интервью, но на это Молотов заметил: «Нельзя; тогда они скажут, что мы тебя прячем, или что тебя уже нет в Москве!» И мне пришлось следовать этой инструкции в присутствии молчаливого переводчика. Это и был мой единственный «контакт» с иностранцами, да еще Эммануэль Д'Астье...

Но, несмотря на это, у меня давно сложилось некоторое живое представление о США из книг, фильмов, рассказов. Совсем недавно Алю навещала ее тетка из Детройта, приехавшая вместе с сыном, молодым врачом и всей его семьей. Она гостила у своей сестры, которую не видела сорок лет, с тех пор, как уехала из России. На московских улицах ее поразило, что каждая женщина

несет в руках тяжелую сумку, а то и две.

«Бедные женщины! У нас никто так не навьючен», – говорила она, – «покупки везут в машине, или магазин присылает вам все домой».

Ее сын содержал на заработок детского врача огромную семью и купил для всех билеты на дорогую поездку в СССР.

И к Берте приезжали ее родственники из США, примерно столько же лет не видевшие ее мать. Это была пожилая пара, делавшая туристское турне вокруг света. Как завидовала им бедная Берта, и все мы!

Впрочем, более существенным, чем все рассказы, выставки, гастроли и фильмы, было давнее и глубокое чувство симпатии к Америке давно сложившееся в России. Это чувство свойственно в СССР всем, – начиная от школьников, студентов, интеллигенции, до самых простых людей, знакомых больше с американской техникой, чем с историей. Чувство доброжелательности и симпатии к такой же огромной, как Россия, стране, с такой же смесью культур, языков и природных зон, стране, никогда с Россией не воевавшей, более чем естественно. Не разделяет этого чувства только отставшая от жизни партия и ее правительство.

Объехавший весь мир известный русский хирург А. А. Вишневецкий, говорил мне после поездки в США, что нигде он не встречал такого радушия и тепла: «С нами хотят дружить, нас любят, это чудесные люди!» – повторял он. То же самое я слышала от спортсменов, от музыкантов, от писателей, которым удавалось побывать в США. Сейчас, когда я вспоминала все это, мне казалось, что если я в самом деле решу обратиться в посольство США, то я найду отклик и понимание.

Мне не приходилось встречаться с американцами в Москве. Но дружба с московскими индийцами дала мне очень многое: я теперь легко говорила по-английски. Брэджеш и его друзья помогли мне почувствовать, что мир не кончается за границами Советского Союза. Брэджеш Сингх вывел меня в мир, как и обещал когда-то. От него я научилась свободному и легкому общению с незнакомыми людьми, – то, что мне раньше было так трудно из-за врожденной застенчивости и скованности.

Сейчас я была, к собственному удивлению, как дома, в незнакомой стране, далеко от соотечественников. У меня появились несвойственные мне раньше, уверенность в себе, спокойствие и невозмутимость. Откуда все это? Кто бы в Москве поверил, что мне легко здесь одной, что я ничего не боюсь.

В Индии я набиралась сил с каждым днем. С меня свалились тяжкие цепи, вечно давившие мое сердце и сознание в СССР. В Москве мне никогда не пришло бы в голову пойти в посольство

США. Там я всегда была пассивной и как бы парализованной; мне казалось, что осталось только «доживать жизнь», нянчить внуков – а жить будут молодые. Здесь же, в Индии, я вдруг почувствовала, что у меня есть силы, чтобы начать какую-то новую, собственную жизнь.

Но мне нужно было время, чтобы на что-нибудь решиться. Поэтому я тянула, мне нужна была отсрочка. Я еще не готова была сделать такой шаг завтра же. И – только бы никто об этом не догадался...

Однажды, когда я сидела на террасе с учителем здешнего колледжа и он писал на хинди мелом на грифельной доске, перед нами вдруг как из под земли вырос Суров. Учитель вскочил и вежливо удалился. Я приготовилась к трудному разговору.

Динеш и Кауль, как видно, уже известили посольство, что я намереваюсь остаться в Калаканкаре до 25-го января, до следующего самолета в Москву. С этим кое-как согласились. Но, когда я сказала Сурову, что буду просить Москву разрешения погостить здесь еще три месяца, он долго молчал.

«Ну, а что потом, Светлана?» – осторожно спросил он, наконец.

«Потом я вернусь домой», – сказала я, сделав над собой усилие. – «Ведь я же имею право гостить у родственников».

Суров на это кивнул головой, но он был озадачен.

«А вы совсем прижились тут», – сказал он, все еще не в силах опомниться от моего сари, – «даже язык изучаете!»

Кроме Косыгина, давшего мне разрешение на поездку в Индию, никто в Москве не взял бы на себя ответственность за продление визита. Поэтому мне оставалось лишь одно – написать ему письмо, прося о продлении. Я передала письмо Сурову. Суров задумчиво качал головой, соображая, что же теперь будет... Я знала, что пока письмо дойдет в Москву и будет обсуждено там, пройдет немало времени. Даже если мне будет отказано (в чем я почти не сомневалась), то отсрочку я все-таки выиграю. Суров уехал мрачный, увозя с собой мое письмо к премьеру.

Через несколько дней Кауль, наконец, переслал мне мою рукопись, сопроводив ее обиженным письмом: «Как Вы могли подумать, что я отдал Вашу рукопись в советское посольство? Если Вы, в самом деле, так думаете обо мне, то нашей дружбе конец».

Рукопись передал мне Динеш, которому, конечно, уже было известно от Наггу, что я писала в Париж. Он осторожно попытался расспросить меня, что в этой рукописи, написанной три года назад. Теперь он нашел время, чтобы поговорить со мной наедине, так как ему было любопытно. По-видимому, он был несколько уязвлен тем, насколько близок был к нам в Москве Кауль. Я снова увидела перед собой очаровательного, демократичного Динеша.

Я сказала ему, что в рукописи нет политических «открытий» и «секретов», что это – история семьи.

«Пошлете ли вы ее в Париж?» – спросил Динеш, и я уклончиво ответила, что «еще не знаю», «может быть». Я не хотела говорить ему ничего определенного, хотя я знала уже твердо, что к Д'Астье рукопись я не пошлю. Я сказала Динешу, что если бы в советских официальных кругах узнали о рукописи, то у меня ее немедленно бы отобрали.

«А вы уверены, что они до сих пор ничего не знают?» – спросил он.

«Да, я уверена, что пока они не знают. Во всяком случае, Кауль ничего никому не говорил целый год», – ответила я.

Тогда Динеш перешел к новой теме, как видно очень тревожившей его.

«Я не думаю», – начал он, – «что американцы могли бы вам помочь. Конечно, они издали бы вашу книгу, сделали бы из нее даже фильм, а вы сами стали бы чем-то вроде кинозвезды. Но ведь вам не нужен весь этот шум. Насколько я понимаю, вы хотели бы жить спокойно, без репортеров и телекамер».

«Да, да», – поспешила я ответить, – «это не для меня. Нет! Я не собираюсь прибегать к американской помощи».

«Я хорошо знаю посла Честера Боулз», – продолжал Динеш, – «его уважают и любят в Индии. Это очень приятный человек. Но, я думаю, что для вас не годится этот путь».

«Нет», – сказала я, – «нет! Но я прошу о продлении моего визита в Индии. Я послала запрос в Москву, быть может мне разрешат побыть здесь до лета. Если нет, то мне придется уехать домой».

«Возможно, что вам разрешат», – сказал Динеш с некоторым облегчением.

Несколько дней он был очень мил, расспрашивал о моих детях и, конечно, о рукописи. Он знакомил меня со своими гостями, угощал за столом, пригласил кататься на лодке вдоль берега, где было полно народу в этот день. Он стал любезнее к семье Суреша, заходил к нему в дом, и Пракаш смеялась, что такого давно уже не было. Но оглядывая скромные комнаты, покрытые пылью, «махарадж» не смог скрыть усмешки, а увидев на стене большой портрет Ганди в дхоти, с огромными часами за поясом, не сдержал непочтительного смеха.

Динеш предложил мне поехать с ним в одну из его предвыборных поездок по округу и быть на его избирательном участке в день выборов, но я отказалась от этой чести. Теперь я держала язык за зубами и заботилась лишь о том, чтобы Динеш не угадал моих истинных мыслей.

Рукопись я заперла в чемодан, стоявший под моей кроватью, а ключ носила с собой. Часто я уходила в пустые комнаты верхнего этажа и сидя там перечитывала свои собственные, наполовину уже забытые страницы. Сейчас многое, написанное три года назад, казалось мне самой наивным и неопределенным. Ведь это были письма, а не книга, мой первый писательский опыт, – если не считать небольшого рассказа о подруге, написанного несколько лет раньше. Его читали тогда мои друзья в Москве и советовали продолжать писать, не бросать попытки... Сколько раз я слышала от них: «Напиши о своей жизни, ты хорошо рассказываешь».

И вот я написала эти 20 писем, адресуя их к одному из московских друзей, человеку с большим литературным вкусом, хотя он и не был писателем. Он был доволен и говорил, прочитав:

«Боже, как мрачно! Какой мрак, какие трагедии, сколько смертей! Ужас, ужас! Но хотелось бы видеть более резкие, более определенные выводы. Они сами так и напрашиваются. Если бы ты сделала их резче, все обрело бы гораздо большую значительность. Несчастливая страна! Кто нами правит, подумай только!»

В этом же духе высказывались и другие мои друзья, в Советском Союзе, читавшие рукопись.

Я сидела и думала сейчас, – что можно переделать. Но для меня было очевидно, что переделки только все испортят. Просто нужно еще писать, и писать иначе. Изменять написанное мне не хотелось. Какая-то законченность формы была в этой истории семьи, изложенной в лирических «письмах к другу». В 1963 году я писала не книгу. Я делала это не думая о возможности публикации, о читателях. Эти письма, конечно, не претендовали на развернутую картину жизни в СССР или на объяснения исторической и политической роли моего отца. У лирических писем другой масштаб, чем у исторических мемуаров; они скорее – поэзия, чем история.

В конце января Динеш и его семья уезжали в Дели. Казалось, все смирились с тем, что я остаюсь пока что в Калаканкаре. Перед отъездом Динеш еще раз разговаривал со мной в своей большой, прохладной библиотеке.

«Я думаю, вы понимаете, что премьер-министр не в силах вам помочь», – сказал он прямо. – «Даже и после выборов, которые, я надеюсь, будут удачными для премьера, ничего в отношении вас не изменится. Вам необходимо самой добиться разрешения у вашего правительства жить в Индии. Тогда, конечно, все мы поможем вам устроиться, но это нельзя превращать в конфликт между Индией и СССР».

Мне осталось только молча выслушать и сказать, что «я понимаю»...

Все уехали и «радж-бхаван» опустел до дня выборов. Возле его дверей прогуливался рослый страж со своим копьем.

* * *

Всякий раз, когда Динеш уезжал, в Калаканкаре все чувствовали себя свободнее. И пока не было ни его, ни его свиты, и не пришел еще ответ из Москвы я решила посмотреть Лакхнау.

Чихавший «джип» довез нас с Сиришем до станции в трех милях от Калаканкара. Мы взяли билеты в третий класс – так всегда ездил Суреш Сингх и его семья. Поезд опаздывал. Был вечер, стемнело. Мне объяснили, что опоздание здесь обычно, а этот поезд, идущий из Аллахабада, должно быть везет многочисленных паломников с ежегодного мела – ритуального купания в Ганге в начале февраля. Наконец подошел поезд, набитый людьми так, что немислимо было войти в дверь. Мы бегали от одной двери к другой, и наконец втиснулись в вагон, где можно было только стоять. Свет в вагонах не горел. Сириш сказал, что до Лакхнау часа три-четыре, а бывает и дольше: расписание существовало только теоретически.

Мы долго ехали стоя. Зажглась маленькая лампочка в углу вагона, там, опираясь на палку, стоял старик с длинными седыми волосами и бородой. Его лицо было поразительно красиво. Покачиваясь и закрывая глаза он пел чистым, молодым голосом что-то плавное и бесконечное. Это был паломник из Аллахабада, он пел религиозные гимны на санскрите, мелодия была спокойной и ритмичной.

Полки были набиты людьми до отказа, там сидели или лежали, свернувшись калачиком. Индийцы умеют занимать очень мало места, складываясь так, как будто их тело без костей. Хотя было тесно, никто не толкался и не грубил. Было нестерпимо душно, а ветерок от дверей доносил только запах уборной. Вскоре молодые люди, сидевшие на скамейке, ухитрились сжаться и пригласили меня сесть. Я втиснулась между ними и сидела так несколько часов, пока мы не доехали до Лакхнау, после бесконечных долгих остановок.

В Лакхнау мы остановились в доме родственников Пракаш. Это был большой старый дом с колодцем во дворе, откуда носили воду в дом ведрами. Дом считался «дворцом», но его удобства были такими же как во «дворцах» Калаканкара.

В Лакхнау, как и в Дели, есть старый город, и новые улицы с дорогими современными магазинами и банками; современные улицы во всех городах мира похожи. Но старые Низир-Абад и

Амин-Абад с узкими улочками были неповторимой индийской частью города. Здесь были чудные, дешевые лавочки, которые были мне более по карману, чем большие магазины. В Москве мне разрешили обменять сто рублей на доллары, и в Индии мои 110 долларов превратились в 770 рупий. Это совсем немного, если учесть, что половину я уже раздала прислуге в Калаканкаре и немного отдала Пракаш.

Лакхнау – центр кустарной промышленности северной Индии, здесь ручная работа очень дешева: те же чудесные вышивки стоят вдвое дороже в Дели, где туристы покупают их в огромном универсальном магазине. Я купила себе здесь светло-серое ситцевое сари, сплошь покрытое вышивкой шикан – на такую работу мусульманские девушки тратят иногда целый год, а сари продается по дешевке. Я старалась найти что-нибудь интересное для моих детей: вышитые золотом домашние чувяки с загнутыми носами, серебряные звенящие браслеты, и дешевые индийские безделушки. Я представляла себе, как они обрадуются этим ярким вещичкам...

В Назир-Абаде много дешевых закусовых, еду готовят в жаровнях прямо на улице. Еда очень вкусная, но по сторонам лучше не смотреть: стены, пол, столы невероятно грязны. Должно быть люди так привыкли к грязи, что не замечают ее. Я тоже пробовала не обращать внимания, – но это невозможно. В центре города рестораны выглядели чистыми и приличными, но все-таки еда была вкуснее всего на этих маленьких улочках Назир-Абада.

По городу мы ездили на рикше, крутившем велосипед, это был наилучший и самый дешевый способ передвижения по городу. Рикша легко пробирался через толпу на улицах, автомобили же должны были подолгу сигнализировать. Мы объехали таким образом весь город.

Памятники мусульманского средневековья, кружевная архитектура Имам-Бара, мечети и минареты среди зелени садов характерны для «города роз» – Лакхнау. Университет удивил меня своими размерами. Я не ожидала увидеть здесь столько современных зданий, занимавших обширную территорию, большую Tagore Library (библиотеку Тагора), столько студентов, среди которых были европейцы и африканцы. Город выглядел одновременно богатым и бедным: всему, казалось, необходим какой-то толчок, чтобы жизнь здесь перестала быть сонной и забила ключом.

В одной из улиц был небольшой храм с ярко раскрашенной статуей Ханумана в царских одеждах. Герой индусской мифологии Хануман – обезьяний царь, верный друг Рамы, помогавший ему в подвигах. Но было дико видеть, как люди поклоняются

раскрашенной статуе обезьяны в наши дни. Даже Ганеш – мудрый слон – выглядит как-то лучше. В поклонении обезьяне царю на улицах современного города есть какой-то глубоко саркастический символ. Но Сириш, когда я сказала ему это все, только заметил, что Хануман – добрый бог и приносит удачу, поэтому у его ног кладут столько цветов.

Мы поехали навестить Даду, которая жила на окраине Лакхнау. Хотя я ожидала увидеть здесь бедность, но жилище с облупленными стенами и грязным маленьким двориком меня поразило. Дети выглядели грустными и несчастными. Трудно было вообразить, что раджа Калаканкара, родной брат Даду, не может помочь единственной сестре. Но Даду была приветлива, как обычно. Она повела нас в гости к соседке, ирландке Пегги, родившейся в Индии и вышедшей замуж за индуса.

Пегги была голубоглазой и румяной, на ней был ситцевый халатик, а дети ее выглядели как индийцы. Весь маленький дом представлял собой смесь запада и востока. Веселая Пегги громко рассказывала, как любили Индию ее родители, как любит эту страну она сама, и тут же спросила меня: – «Смогли бы вы жить в Индии?» Даду быстро объяснила ей, что я хотела бы, но мне не разрешают.

«Пойдите в американское посольство!» – воскликнула Пегги с энтузиазмом. – «Попросите у них политическое убежище и гражданство, а потом возвращайтесь в Индию!»

Я помалкивала и уже не удивлялась такой идее.

Вечером мы пошли погулять по улицам. Предвыборная агитация представляла здесь собою необычное зрелище, – это было похоже на спектакль. На площадь, запруженную народом, выходило несколько угловых зданий, и на балконе каждого стояли громкоговорители. Никто не говорил речей – это всем уже надоело. Вместо этого в веселых куплетах, с музыкальным сопровождением пелось все то, что каждая партия обещала. Это было шумно, но привлекало гораздо больше внимания, чем речи. Толпа слушала с интересом, иногда раздавался смех: партия Джан-Санг довольно остроумно высмеивала Конгресс. Люди ходили по улицам, гуляли, покупали сласти под громкую музыку и пение.

На следующий день Даду проводила нас на вокзал, где мы опять полтора часа прождали опаздывавший поезд. Правда, он не был переполнен на этот раз, и я дремала всю дорогу на деревянной скамье, положив под голову сумку.

В течение февраля мне удалось посмотреть Аллахабад и Бенарес. Поездкой туда я была обязана знакомству с доктором Бахри, филологом из Аллахабада, работавшим в Москве над хинди-русским словарем.

Его сын, адвокат, приехал в Калаканкар на собственной машине с женой, сынишкой и своим другом, – владельцем автомобильной мастерской. Я передала ему многочисленные приветы и подарки от отца и Бахри сразу же пригласил меня ехать с ними в Аллахабад, и остановиться у них в доме. Я согласилась и села рядом с их женами в машину, а молодые люди балагурили впереди, стараясь перекричать радио.

Молодой Бахри ничем не походил на своего 60-тилетнего отца, вегетарианца и аскета. Он был тяжеловат для своих лет, говорил солидно и любил выпить. Он и его друг Бир, оба предприимчивые и напористые пенджабцы, и их жены, были совсем непохожи на семейство Сингхов – это был новый middle-class Индии.

Конечно, в Калаканкаре они уже узнали о том, что я хотела бы остаться в Индии, и что два правительства этого не допустят. Всю дорогу друзья говорили об этом. Бахри сразу же предложил встретиться с одним из лидеров оппозиции, социалистом Рамманохар Лохия, бывшим в это время в Аллахабаде. Я видела один раз Лохия в Москве, когда еще был жив Баджеш, называвший его добрым малым, но чудачком. Именно такое впечатление Лохия и производил.

Бахри и Бир были славные ребята; они настолько увлеклись мыслью помочь мне остаться в Индии, что остановить их было невозможно. Время, проведенное с ними в Аллахабаде было суматошным и утомительным, но благодаря моим «гидам» я вынесла много новых впечатлений.

Возле какого-то парка, где шел предвыборный митинг, Бахри разыскал Рамманохара Лохия. Лидер социалистов помнил нашу встречу в Москве, и сейчас он сказал о Сингхе теплые слова. Бахри скороговоркой объяснил ему мою «проблему».

«Какие труссы!» – воскликнул Лохия, и глаза его засверкали. – «Я буду драться за Вас в парламенте!»

«Не надо, не надо», – поспешила сказать я, – «это бесполезно».

Лохия погрузился и с чувством пожал мне руку. Продолжать разговор не было времени, так как его уже звали, и мы были окружены людьми.

По-видимому, друзья решили представить меня всем влиятельным лицам в Аллахабаде. Вечером мы остановились около «Космополитэн клуб», где меня познакомили с известным адвокатом, и с шефом полиции. В клубе былолюдно и душно, гости были уже сильно навеселе. Подвыпившие индусы выглядят очень неопрятно, – должно быть потому, что алкоголь чужд всем их привычкам и традициям. Известный адвокат все время клал мне руку на плечо что-то напевая, пришлось его одернуть. Тогда он начал громко ругать премьер-министра, делая непристойные намеки

на ее счет. Жена с трудом утащила его домой. Другие за столом уже обсуждали – как мне «помочь». Шеф полиции сказал, что в «его городе» со мной ничего не посмели бы сделать, если бы я решила остаться. Бахри и Бир уже выпили изрядное количество виски, пора было остановить обсуждение и идти домой.

Наутро мы ели легкий завтрак вместе с двумя младшими братьями Бахри, и он просил меня не говорить его отцу в Москве, что он пьет виски...

Затем меня повезли к судье Дхавану, который был местным председателем общества Индо-Советской дружбы.

Бахри считал, что Дхаван может что-нибудь посоветовать. Пожилой франтоватый Дхаван слушал больше самого себя, рассказывая о своих впечатлениях от поездки в СССР. Он сразу понял, что моя «проблема» очень опасна даже для обсуждения, но старался быть любезным, пригласил меня к себе домой, и старался побольше расспросить. Дома были его жена и взрослый сын. Расспрашивали меня о моем отце, о матери, о Хрущеве. Когда я сказала, что понимаю бесполезность попыток остаться в Индии, Дхаван вздохнул с облегчением, и на прощание сказал мне восточный комплимент: – «Вы так же умны, как и очаровательны!»

Потом, в доме у Бахри, появился корреспондент местной газеты и пытался записывать, слушая темпераментного Бахри и задавая мне вопросы. Все это уже было опасно, и я мечтала о своем тихом Калаканкаре. Но не так легко было отсюда выбраться.

Мы были еще в гостях у местного богатого промышленника, производившего ручные фонарики для всей Индии. Он только что построил себе новую современную виллу, удобную и красивую, с бассейном для плаванья. Интерьеры были европейскими и обнаруживали хороший вкус. Красивая, приветливая хозяйка с удовольствием показывала мне комнаты. Я не знаю – кто были гости за чаем, но разговор шел о сельском хозяйстве, и я с удовольствием высказала все, что думала о неудачах колхозного строя в СССР. Один из гостей оказался коммунистом и горячо возражал мне: наверное он никогда не бывал в СССР, а только читал брошюры...

В Аллахабаде мне удалось послушать импровизацию на ситар. Что-то волшебное есть в этом инструменте, особенно бенгальцы хорошо им владеют. Все гости уже разошлись, а я сидела и никак не могла уйти. Да и сам импровизатор, закрыв глаза, забыл обо всем, и мелодии лились одна за другой, как журчащие воды реки. Эта музыка поздней ночью осталась одним из лучших впечатлений, унесенных мной из Индии.

Я видела Университет Аллахабада, раскинувшийся на большой территории, как и в Лакхнау. Мы ездили на Сангам – место слия-

ния Ганга и Джамуны, где еще продолжалась ярмарка после недавнего мела. Тысячи паломников пришли сюда пешком из далеких провинций и теперь не торопились расходиться. Они брели по дороге, отправляясь в обратный путь, опираясь на палки. Как непреодолима сила традиции, влекущей их за сотни миль сюда для того, чтобы окунуться в «священные воды» на месте слияния двух рек!

Напоследок Бахри и Бир затащили меня на собрание местного клуба «Lions International», к которому они оба принадлежали. Я никогда раньше не слышала об этом всемирном обществе «львов и львиц» и с любопытством разглядывала хорошо одетых индийских и европейских женщин. Вдруг я с ужасом услышала свое имя, произнесенное председателем. Пришлось встать и сказать несколько слов о том, как мне нравится Индия: мои «гиды» и здесь не смогли удержать язык за зубами. Я решительно сказала, что уезжаю в Калаканкар. Но мы могли еще посмотреть «священный город» Бенарес, сделав для этого крюк в сто миль, и я не удержалась от искушения.

Из машины всегда больше видишь страну, а дороги Индии под сенью огромных деревьев, хотя и пыльны, но очень интресны. Сколько деревень мы проехали, сколько уличных ярмарок, сколько чапати съели по дороге, поджаренных тут же на жаровне, вместе с перчеными овощами. Обжигало рот, но вкусно, особенно если запить чашкой крепкого чая с молоком, который наливали тут же. Постепенно я совсем перестала обращать внимание на пыль и грязь, и эта уличная еда не причиняла мне никакого вреда.

«Священный город» произвел на меня удручающее впечатление, прежде всего, грязью и вонью, несравнимой ни с чем. На улицах, ведущих к берегу Ганга, бродили полуживые, облезлые коровы, под ногами всюду валялся помет. Нищие, калеки, умирающие паломники сидели тут же в пыли. На них жутко было взглянуть.

На набережной со множеством храмов, протянувшейся вдоль Ганга, молились, купались, стирали сари и дхоти. На ступенях одного храма сидел длиноволосый старик в красных одеждах и, закрыв глаза, пел – как тот паломник в поезде. Только этот старик был красив – все остальное отталкивало. Лодочники зазывали прокатиться по реке, – я отказалась. Пустынный Ганг в Калаканкаре был несравнимо прекраснее и внушительнее, чем здесь, в этом «сердце индуизма».

Мне хотелось назад в Калаканкар. Надоели шумные спутники, державшие бутылку вина даже в машине, раздражала суматоха, которую они устраивали вокруг меня. Они были славные ребята,

и искренне хотели мне помочь, но разговоры, поднятые ими на весь Аллахабад, могли только все испортить. Этого они не понимали, а я им ничего не говорила о своих возможных планах. Наконец они отвезли меня в Калаканкар и укатили, выпив на дороге еще по стаканчику.

Оставшись в своей комнате, я заглянула – на месте ли моя рукопись. Никто ею не интересовался здесь, и отлично! Меня ждала телеграмма от Любы Д'Астье: «Будем рады видеть Вас в Париже». Я рассмеялась прочтя это: с таким же успехом можно было сейчас пригласить меня на Луну...

Наутро на берегу реки я увидела группу крестьян и несколько человек в шортах и белых европейских рубашках.

«Это тоже американцы из Корпуса Мира», – сказала Пракаш, – «они учат наших как снимать местность на карту».

Вокруг работавших бегали любопытные мальчишки. Мне вдруг страшно захотелось заговорить с этими молодыми людьми – просто, чтобы посмотреть – а какие они, американцы? Молодые ребята оказались очень симпатичными, спросили меня, откуда я. Узнав, что я из Москвы, один заметил, что у него родственники в Латвии. Я постояла с ними минут пять и пошла к себе. Они не задавали никаких вопросов, потому что им надо было работать.

Когда я вернулась в дом, Пракаш смеялась: – «Ну, раз вы сами познакомились с американцами, теперь я могу позвать к чаю тех двух, которые работают в нашем сельскохозяйственном центре. Пускай Динеш злится – я не виновата!»

Был устроен чай с индийскими сладостями и Сириш привел, наконец, своих американских друзей. Негра звали Миллер, а голубоглазого Шмидт. Оба были выбриты и вымыты, в свежих рубашках, их молодые лица были приветливы, они были рады снова быть здесь в гостях. Миллер рассказывал, что, наконец, они нашли себе повара, который готовит им пищу, и теперь они счастливы.

«Ах, какой повар!» – воскликнул он, – «как я люблю нашего повара!»

Неудобства жизни в индийской деревне, как видно, ничего не значили для этих здоровых, веселых ребят. Пракаш спрашивала их, получают ли они письма от родителей, не трудно ли им работать здесь. Но им ничего не было трудно – раз есть повар! Это была милая встреча, важная для меня: я все больше верила теперь, что если я решусь обратиться к американцам, то мне легко будет разговаривать с ними.

Приближался день выборов в Парламент, 17-го февраля. Суреш был взволнован открытием: оказалось, что в избирательные списки включено несколько десятков давно умерших жителей.

Пракаш с возмущением говорила, что на предвыборных митингах сторонники Конгресса угрожали тем, кто не будет голосовать за Конгресс и избивали агитаторов за социалистов.

«Этого никогда у нас не было!» – говорила она, – «они запугивают наших крестьян, которые не понимают, что выборы тайные. Крестьяне думают, что обязаны голосовать за Динеша».

На избирательном бюллетене значатся не имена кандидатов, а семь рисунков-символов каждой партии. У Конгресса – вол, у коммунистов – серп и сноп, и так далее. Надо выбирать одну из семи таких же печатей и поставить ее на бюллетене. Это умеют даже неграмотные старики и женщины в самых отдаленных деревнях, но часто они не знают, кому отдать предпочтение.

Выборы проходили в разных провинциях в разные дни. Радио не умолкало в доме Суреша ни на минуту. Это были критические дни для правящей партии. Успех Конгресса висел во многих штатах на волоске.

В округе, к которому принадлежал Калаканкар, выборы не обошлись без насилия. Противники Конгресса были избиты. Крестьянам не давали подумать и подталкивали их, торопливо подсказывая где ставить печать. Об этом говорили все, кто входил в эти дни в постоянно открытые двери дома. Динеш, конечно, одержал победу, но очень незначительным большинством голосов. Теперь он уедет в Дели и снова надолго забудет о своем маленьком царстве.

* * *

Вскоре Суров еще раз посетил Калаканкар и привез категорический ответ Москвы на мою просьбу: – «В связи с тем, что цель визита осуществлена, дальнейшее пребывание в Индии нецелесообразно».

Моя индийская виза была уже просрочена на целый месяц, и МИД Индии продлил ее теперь до 15-го марта. Мне ничего не оставалось, как возвращаться в Дели. Самолет в Москву шел 1-го и 8-го марта.

Я хотела выиграть хоть лишнюю недельку, чтобы набраться сил здесь, в деревне, и просила Динеша заказать мне билет на самолет из Лакхнау в Дели на 5-го марта. Советское посольство было извещено. Я написала Бахри и Виру в Аллахабад, что к сожалению, должна уезжать.

В оставшиеся мне считанные дни я бродила по обезлюдевшему Калаканкару или сидела на террасе, глядя на Ганг. Я была приперта к стене. Все чувства были обострены и напряжены. Может быть, единственный раз жизнь предоставляла мне случай уйти от собственного прошлого.

Найду ли я в себе силы воспользоваться этим, или опять вернуться в проторенное русло привычного московского существования? Есть ли у меня самой силы начинать что-то новое? Моя решимость то нарастала, то исчезала. Я думала и думала об этом все последние дни. Рукопись жгла мне руки, как билет в другую, возможную жизнь. Но если бы и не было никакой рукописи, я все равно стояла бы сейчас перед той же дилеммой.

Последний день в Калаканкаре был печальным. Пракаш плакала с утра. Я была подавлена безвыходностью, у меня было такое чувство, как будто я добровольно отправлялась в тюрьму.

Наконец свежие цветы расставлены во всех комнатах – пусть здесь помнят обо мне еще несколько дней. Вещи уложены в «джип», в котором предстоит трястись в пыли три часа. Во дворе полно народу, пришли из деревни.

Сириш едет со мной в Лакхнау. Мне хочется расцеловать моих милых хозяев, с которыми мне было так хорошо, – но в Индии не приняты поцелуи. Все делают только последнее намаете.

«Я вернусь!» – говорю я им, зная, что вернусь сюда только в том случае, если не вернусь в Москву. Но они этого не понимают.

Наш «джип» поворачивает за кирпичную стену, и больше не видно серебристой ряби Ганга. Мы медленно едем по узкой улочке в гору.

Вот старый колодец, вот здание колледжа и Калаканкар скрывается из виду. Не знаю – надолго, или навсегда...

Возвращение невозможно

3-го и 4-го марта я провела в Лакхнау, в доме Аруны Сингх, племянницы Пракаш. Делать покупки в Амин-Абаде уже не хотелось. Я принуждала себя болтать с Аруной. Мы ходили в ресторан, чистый, дорогой и неудобный; муж Аруны рассказывал о своей поездке в Японию, восхищался современными методами японского сельского хозяйства. Он владел большой фермой, которую механизировал, насколько это возможно в Индии, и знал на деле – что значит урожай. Мы долго говорили, сидя вечером во дворике, о бесполезности «социалистических» опытов для индийской деревни.

С молодыми людьми было приятно и интересно, но мои мысли вертелись вокруг одного и того же, как в заколдованном круте. Об этом ни с кем нельзя было сказать ни слова...

Я думала о своем доме в Москве, где остались мои дети.

Четырнадцать лет я жила с детьми в квартире на набережной, где был мой первый, настоящий дом. Я переехала туда в 1952 году, еще до смерти отца, когда разошлась со Ждановым и не хотела

возвращаться в Кремль. Мой семилетний сын пошел отсюда в школу, потом в ту же школу стала ходить Катя. Сначала у нас была прислуга и няня у детей; позже, когда подросли дети, мы сами вели свое нехитрое хозяйство. Здесь я научилась пользоваться газовой плитой, готовить, шить, стирать – до того все это делали за меня другие. Моя старая няня считала, что самое важное – книги и образование и никогда не учила меня хозяйству.

Все это мне пришлось наверстать только теперь, и я не сразу научилась сложной «домашней науке». Я была счастлива сама платить за газ, свет, за квартиру. После стольких казенных резиденций это был, наконец, дом.

Две комнаты принадлежали детям, у меня в спальне стоял письменный стол, а гостиной редко пользовались: мы любили близких друзей, но не собирали гостей. Пожалуй, нашей главной комнатой была кухня со столом у окна, выходящего во двор, где чудом сохранилась резная белая церковка 16 века. В кухне и принимали друзей, завтракали, обедали и пили вечерний чай. Дети возвращались с занятий в разное время, у каждого был свой режим, но мы старались собираться вместе возле плиты. Мы стряпали здесь свои нехитрые завтраки и ужины, а готовые обеды брали в столовой.

За четырнадцать лет мы потихоньку обжили свой дом. У каждого был удобный угол для работы и отдыха, свои необходимые книги, простая удобная мебель. Мы въехали в пустую квартиру, я ничего не хотела брать из Кремля, который никогда не любила, и мы постепенно покупали необходимое. Только в 1955 году я просила премьера Булганина, чтобы мне отдали небольшую часть огромной библиотеки отца, которую начала собирать еще мама. По всем законам ее всю должны были бы отдать мне и внукам. Но в СССР законы не действуют, а премьер оставил мой запрос вообще без ответа. Я не стала настаивать и постепенно собрала свою маленькую библиотеку: так было приятнее.

Каждый из нас жил по своему вкусу. У Кати вся стена была залеплена фотографиями лошадей и наездников. Здесь была и Джеки Кеннеди на лошади с маленьким Джоном, а Каролайн рядом на пони, – фотография, вырезанная из журнала.

У Оси вьетнамская циновка, роги в серебре на стене, черная грузинская керамика. Мой сын эстет и консерватор. Зная мою страсть к перестановке мебели, он не давал мне сдвинуть с места его старое, ободранное кресло, а надо мной смеялся: «Ты уже все передвинула. Теперь хочешь пробить новую дверь, а старые заделывать?» Постоянство и спокойствие характерны для него.

В детстве он не гонял в футбол, не рвал и не пачкал одежду и не играл «в войну», как все мальчишки. Возможно, это оттого, что

семь лет – до школы, он прожил отшельником на даче, в лесу, и не привык к «коллективу». Он всегда был ленив к спорту, хотя отлично ходит на лыжах и плавает. Зато он рано начал читать, упивался Толстым в 14 лет.

Я не учила его музыке, считая, что уроки английского языка для него полезнее. Но у него хороший слух и вкус, он быстро пристрастился к серьезной музыке и мы стали вдвоем ходить на камерные и симфонические концерты в Консерватории. Ему нравились Гендель, Гайдн, Вивальди, мы любили органные вечера Баха, особенно если гастролировали немцы. Он умеет слушать, его общество приятно, и я с удовольствием разглядывала вокруг нас молодые лица его сверстников. Когда я была студенткой, на органные вечера ходила только пожилая публика, нас были единицы. Времена и вкусы изменились. Мой сын прекрасно танцует все самые новейшие танцы, но модернизма в искусстве он не любит, – в отличие от своего поколения.

Он неплохо рисует, и мог бы стать профессиональным художником-мультипликатором: он рисует выразительных зверюшек в духе Уолта Диснейя и карикатуры. Летом мы потешались на даче, выпуская с ним вдвоем юмористическую стенгазету, соперничая с такой же семейной прессой наших соседей.

Способный к гуманитарным наукам и языкам, он все же выбрал медицину, чтобы политика не касалась его работы и жизни, чтобы иметь дело с постоянными ценностями, независимыми от переменчивых политических капризов. Это не значит, что он не интересуется политикой. Он следит за ней, так же как и я; но так же как и для меня, политика не есть существенный фактор в его жизни. Он хочет и умеет работать, он будет хорошим врачом. Он любит детей и животных. Он – тихий, мирный созидатель, родившийся после войны и победы – в мае 1945 года. Его любят все мои взрослые друзья и подруги, а он всегда наслаждался обществом старших.

Ему было семь лет, а Кате два года, когда мы переехали в эту квартиру. Я покупала его первые книги, учила его плавать, ходить на лыжах, фотографировать. Со мной он танцевал свой первый фокстрот. Потом к нему перешел мой старый письменный стол, мои книги, мое пристрастие к Баху, увлечение Индией, и, в конце концов – моя кровать, когда он женился на девочке, с которой встречался и ссорился четыре года.

Перед ним трудная, но благодарная жизнь врача, у него милая работающая жена, в нем души не чает его отец. Он меньше скучает обо мне, чем Катя, и я ему не нужна: все, что я могла, уже сделано для него.

Катя родилась в 1950 году. Она выросла, гуляя в этом сером каменном дворе с группой детей, и общительность, пожалуй, самая главная черта ее характера. Это веселое, открытое, бесхитрое существо, с пунцовыми щеками, всегда окружено шумной ватагой. Она любит лыжи, пинг-понг, баскетбол, она вся в движении. Занятия музыкой она бросила в 12 лет, сказав, что лучше потратит это время на верховую езду, которой с тех пор страстно увлекается. Летом, в спортивном лагере, она играла даже в футбол в компании таких же отчаянных девчонок.

«Войну и Мир» она не смогла дочитать и до половины, романы скучны для нее, она не анализирует ни себя, ни других. В детстве она увлекалась сказками, фантастическими сюжетами и сама сочиняла их, а позже это привело ее к научной фантастике. Как и мой сын, она пишет лучшие сочинения в классе, и очень живые письма, но литература и искусство – не ее сфера. Физика, химия, математика, астрономия, минералогия для нее намного интереснее.

К сожалению, у нее слабо развито эстетическое чувство. Может быть это придет позже, но в 16 лет она еще не наслаждалась формой и красками, – ей слишком нужно движение, действие. Она не умеет одеться, Ося или я должны были подсказывать ей, а Леночка делала ей прически к лицу.

От своих сверстниц, влюблявшихся уже не раз, она отстает – с мальчиками она или крепко дружит, или дерется. Она бескорыстный, добрый и верный друг, поэтому ее так любят сверстники. Она бесстрашно подходит к самой свирепой чужой собаке и любит выбрать самую упрямую лошадь, а если упадет с нее, то тут же вскакивает обратно в седло. Лошадям она уносит из дома свежие фрукты, овощи и сахар.

Она ласкова и непритязательна, а коробка шоколада приводит ее в такой восторг, как будто ей подарили полмира. Шоколад да книги – это единственные материальные ценности для нее; о платьях она не думает, что всегда шокирует моего сына, очень следящего за своей наружностью. А она любит джинсы и свитер больше всего на свете.

Ее непрактичность пугает меня, когда я думаю о ее будущем: она не умеет шить, гладить, готовить. Все это прекрасно умеет мой сын. Но она упорно решает свои математические задачи и знает чего хочет. Брат и сестра очень разные, но они дружны и скучают друг без друга.

Они оба – «мамины дети»; в доме я долго была единственным авторитетом. Мы жили тесной и дружной семьей, потом к нам присоединилась Леночка. Как хорошо было чувствовать рядом с собой молодую жизнь, молодые голоса, как щебет птиц.

На своих вечеринках они танцевали твист, рок, шейк – у них все получалось красиво. Обычно же в доме было тихо. Дети рано уходили на занятия, вернувшись быстро обедали в кухне, разогревая каждый сам себе готовый обед, и расходились по комнатам. Там они проводили долгие часы, каждый за своим столом, со своими книгами. Они выросли в покое и любви, они любят труд и покой. Они не борцы и не разрушители, но у них достаточно здравого критического понимания, свойственного их поколению во всех странах.

Это поколение остро чувствует ложь и не терпит ее. Оно хочет правдивой, естественной и свободной жизни. Оно верит в реальность, а не в философию. Марксизм и прочие «измы» не привлекают молодые умы: «измы» отжили свой век.

Если я не вернусь в СССР, жизнь моих детей не изменится: она слишком хорошо налажена, они дружны втроем, они будут продолжать работать. У них кругом любящие друзья, их отцы сделают все возможное, чтобы помочь им. Осин отец – известный в Москве специалист по международному праву и внешней политике. С тех пор как мы расстались, он всегда мечтал принимать участие в жизни сына: у него нет других детей. Катин отец – ректор одного из крупнейших в СССР университетов, доктор биохимии. Катя дружна с ним, хотя он живет в Ростове, где у него другая семья и маленький сын. Но это не мешает их общему интересу к точным наукам. Несомненно, он поможет ей в дальнейшем образовании. Детям даже полезно, наконец, расправить собственные крылышки. Моему сердцу будет не хватать их, но им я не так уж необходима. Только они зовут меня сейчас вернуться...

Еще в Калаканкаре я получила от сына письмо, ласковое и дружеское, – как он всегда писал мне:

«Мамочка, милая, здравствуй! Получил твое письмо и телеграмму. Очень удивлен тем, что ты не получила ту телеграмму, которую я послал тебе. Я думаю, что она где-нибудь потерялась... У нас все прекрасно. Обеденную книжку мы получили по твоей доверенности, а в остальном все не так уж плохо, за исключением того, что Катя очень по тебе тоскует. Я тоже очень скучаю по тебе и очень хочу тебя видеть. В смысле быта у нас все прекрасно...

...Мы здесь живем так: во время Катиных каникул она ездила на дачу с Таней. А мы во время наших каникул предприняли вояж в Тбилиси к кузине И. М. Во все это время О. С. была здесь и блюла Катю. В общем все очень хорошо, за тем исключением, что мы очень скучаем по тебе. Очень нам без тебя плохо. Приезжай, пожалуйста! Дай Бог здоровья Шри Суреш Сингх и всей его семье. Целую тебя крепко и очень жду. Целую. Ося».

Кроме любви к детям и привязанности к друзьям, меня не звало назад ничего.

Вся моя жизнь была лишь отмиранием корней, – непрочных, нереальных. Я не была привязана ни к родичам по крови, ни к Москве, где родилась и прожила всю жизнь, ни ко всему тому, что меня окружало там с детства.

Мне было сорок лет. Двадцать семь из них я жила под тяжелым прессом, а следующие четырнадцать лишь постепенно освобождалась от этого пресса. Двадцать семь лет – с 1926 по 1953 – было временем, которое историки называют «периодом сталинизма» в СССР, временем единоличного деспотизма, кровавого террора, экономических трудностей, жесточайшей войны и идеологической реакции.

После 1953 года страна начала постепенно оживать и приходить в себя. Террор, казалось, канул в прошлое. Но то, что складывалось годами как экономическая, социальная и политическая система, оказалось живучим и цепким внутри партии, и в сознании поработанных и ослепленных миллионов.

И хотя я жила на «самой вершине пирамиды», куда меньше всего достигала правда, вся моя жизнь распалась на два таких же периода, как и жизнь всей страны: до 1953 года, и после него.

Для меня процесс освобождения от духовного плена шел своими путями, не как у других. Но он шел неуклонно, и капля за каплей правда пробивалась через гранит.

«Капля долбит камень, не силой, а часто падая». Это латинское изречение мы учили наизусть еще в университете.

Иначе я не раздумывала бы сейчас, в Лакхнау, о том, что мне делать, а жила бы спокойно в Грузии, где имя отца до сих пор окружено почетом и водила бы экскурсии по музею Сталина в Гори, повествуя о «великих делах» и «достижениях»...

В семье, где я родилась и выросла, все было ненормальным и угнетающим, а самоубийство мамы было самым красноречивым символом безвыходности.[5] Кремлевские стены вокруг, секретная полиция в доме, в школе, в кухне. Опустошенный, ожесточенный человек, отгородившийся стеной от старых коллег, от друзей, от близких, от всего мира, вместе со своими сообщниками превративший страну в тюрьму, где казнилось все живое и мыслящее; человек, вызывавший страх и ненависть у миллионов людей – это мой отец...

Если бы судьба дала мне родиться в лачуге неизвестного грузинского сапожника! Как естественно и легко было бы мне, вместе с другими, ненавидеть того далекого тирана, его партию, его дела и слова. Разве не ясно – где черное, а где белое?

Но нет, я родилась его дочерью, в детстве – любимой. Моя юность прошла под знаком его неопровержимого авторитета; все учило и заставляло меня верить этому авторитету, а если было столько горя вокруг, то мне только оставалось думать, что другие были в этом виноваты. Двадцать семь лет я была свидетелем духовного разрушения собственного отца и наблюдала день за днем как его покидало все человеческое и он постепенно превращался в мрачный монумент самому себе... Но мое поколение учили думать, что этот монумент и есть воплощение всех прекрасных идеалов коммунизма, его живое олицетворение.

Нас учили коммунизму почти с пеленок – дома, в школе, в университете. Мы были сначала октябрятами, потом пионерами, потом комсомольцами. Потом нас принимали в партию. И если я не вела никакой работы в партии (как многие), а только платила взносы (как все), то все равно я обязана была голосовать за любое партийное решение, даже если оно казалось мне неверным. Ленин был нашей иконой, Маркс и Энгельс апостолами, каждое их слово – непреложной истиной. И каждое слово моего отца, письменное или устное – откровением свыше.

Коммунизм был для меня в годы юности незыблемой твердыней. Незыблемым оставался и авторитет отца, его правота во всем без исключения. Но позже я начала постепенно сомневаться в его правоте и все больше убеждаться в его необоснованной жестокости. Теории и догмы «марксизма-ленинизма» блекли и увядали в моих глазах. Партия лишалась своего героического и революционного ореола правоты. А когда после 1953 года она попыталась неуклюже и беспомощно отмежеваться от своего бывшего вождя, то меня это лишь убедило в глубоком внутреннем единстве партии и «культы личности», который она поддерживала более двадцати лет.

Для меня постепенно все более очевидным становился не только деспотизм моего отца и то, что он создал систему кровавого террора, погубившую миллионы невинных жертв. Мне становилось также ясно, что вся система, сделавшая это возможным, была глубоко порочной, и что никто из соучастников не может избежать ответственности, сколько бы ни старался. И рухнула сверху донизу вся постройка, основанная на лжи.

Прозрев однажды, невозможно притворяться слепым. Этот процесс прозрения был для меня нелегким и нескорым. Он все еще идет. Мое поколение слишком мало знало историю своей страны, революции, партии, от нас долго прятали правду.

Я знала отца дома, в кругу близких, с которыми он был противоречив и переменчив. Но я долго не могла знать истории политической борьбы за единоличную власть, которую он вел в пар-

тии против бывших своих товарищей. И чем больше я ее узнавала – порой из самых неожиданных источников – тем глубже падало всякий раз мое сердце, и замирало от ужаса, и хотелось бежать без оглядки, не знаю куда... Ведь это был мой отец, и от этого правда становилась страшнее.

Официальные разоблачения «культы личности» мало что объясняли. Самый этот безграмотный термин говорил, что партия не может и не хочет сформулировать и раскрыть порочные основы всей системы, враждебной и противоположной демократии. Не политические толкования, а сама жизнь с ее неожиданными парадоксами помогала мне понять правду. И хотя моей мамы давно уже не было в живых, но я должна отдать должное, прежде всего, памяти о ней.

Только первые мои шесть с половиной лет были согреты мамой и они остались в памяти солнечным детством. Я помню маму очень красивой, плавной, пахнувшей духами. Я была целиком отдана в руки няни и воспитательницы, но мамино присутствие выражалось вокруг во всем укладе нашей детской жизни. Самым главным она считала наше образование и этическое воспитание. Честность, труд, правда – были для нее важнее всего. В ней самой был заложен крепкий и острый кристалл Правды, который требует жить «не хлебом единым». Маме не было еще тридцати лет, она училась чтобы стать инженером в текстильной промышленности, ей хотелось не зависеть от ее «высокого положения», угнетавшего ее.

Мама была идеалисткой, и к революции относилась романтически, как поэты. Она поверила в лучшее будущее, которое создадут люди улучшившие, прежде всего, самих себя. Так говорили о ней ее старые приятельницы – Полина Молотова, Дора Андреева, Мария Каганович, Екатерина Ворошилова, Ашхен Микоян. У нее были другие подруги, гораздо более близкие ей и ее интересам, бывшие гимназические одноклассницы, но мне не пришлось с ними встретиться после ее смерти. Я знала лишь ее бывшую учительницу музыки, А. В. Пухлякову, одаренного, интересного человека. Много позже она учила музыке меня, и говорила всегда о маме, как о чуткой артистической натуре.

Бабушка, мамина мать, даже в старости оставшаяся темпераментной и несдержанной на язык, часто повторяла: «твоя мать была душой!» Она с самого начала осуждала ее за брак с моим отцом и эта резкая «оценка» отражала обычный взгляд реалистов на романтиков и поэтов. По словам моих теток, мама была очень сдержанной, корректной и скорее меланхоличной – в отличие от бабушкиной горячности. Тетки считали, что она была слишком «строга и серьезна», слишком «дисциплинирована» для ее лет. И

все, кто ее знал, единодушно говорили, что она была последнее время несчастлива, разочарована и подавлена.

Ей было только шестнадцать лет, когда мой отец показался ей героем революции. Став зрелым человеком, она поняла, что ошиблась. Ее собственные принципы столкнулись с политическим цинизмом и жестокостью моего отца. Все вокруг пошло совсем не теми путями, которые представлялись ей правильными, а отец оказался совсем не тем идеалом, который ей рисовался, – скорее наоборот...

Ее жизнь, по словам ее сестры, стала невыносимой. Однажды она уехала в Ленинград, забрав детей, чтобы не возвращаться к отцу, – но потом вернулась. Позже она хотела уехать на Украину, к сестре, и работать там. Она спорила с отцом, протестовала против репрессий, но это не помогало: она ничего не могла изменить. Когда ей был лишь тридцать один год она покончила с собой, доведенная до отчаяния глубоким разочарованием и невозможностью что-либо изменить.

Это был 1932 год, страшный год голода, усилий пятилетки, насильственной коллективизации, год, когда внутри самой партии громко раздавались требования об устранении отца с поста генерального секретаря.

Перед смертью мама оставила письмо отцу, полное политических обвинений. Это письмо смогли прочесть тогда лишь самые близкие люди, оно было быстро уничтожено. Его политический характер придал бы слишком большое значение случившемуся для самой партии.

Мои тетки, возвратившиеся в 1954 году из тюрьмы, рассказывали мне об этом письме, о самоубийстве мамы. Отец уже умер, я была взрослым человеком и тетки не стали бы лгать мне после всего, перенесенного ими. Они говорили, что событие само по себе настолько потрясло всех тогда – что все растерялись и заботились лишь о том, чтобы как-то скрыть случившееся. Поэтому к телу не были допущены врачи, не было медицинского заключения, в некрологе таинственно сообщалось о «неожиданной кончине в ночь на 9-е ноября». Не разрешили даже набальзамировать тело до дня похорон; в дом никого не пускали.

Антипатия, страх, ненависть к фигуре отца были столь сильны в тот год, что немедленно распространился слух об убийстве. Это казалось многим более правдоподобным, чем самоубийство молодой, здоровой женщины, на стороне которой была общая симпатия. Мне приходилось не раз слышать разнообразные версии убийства, самые противоречивые, но сводившиеся к одному: что оно было совершено руками отца.

Между тем, по словам моих теток (маминой сестры Анны Ренденс и жены ее брата Евгении Аллилуевой), отец был потрясен больше всех, потому что вполне понял, что это был вызов и протест против него. Он не смог заставить себя даже пойти на похороны. Он был разбит, опустошен. Маму он считал верным, преданным другом. Ее оценки и мнения, расходившиеся с его собственными, он игнорировал и недооценивал просто потому, что его отношение к жене, к семье, всегда было «азиатским», в самом банальном смысле слова. Придя в себя от случившегося он только ожесточился. И в 1948 году не остановился перед тем, чтобы отправить теток на 10 лет в тюрьму лишь за то, что они «слишком много знали». В партии же, в поздние годы, утвердилась официальная версия, что мама была «нервнобольной», и о ней считалось неприличным упоминать. Я слышала эту версию в семье Ждановых, именно в 1948-50 годах.

Маму любили все, кто знал ее, и в числе ближайших ее друзей были Бухарин и Киров. Несомненно, что их либерализм и демократизм были ближе ее натуре, чем нетерпимость отца. Бухарин и Киров оптимистически верили, что на отца можно «влиять» в лучшую сторону. Мама утратила этот оптимизм, поэтому отчаяние и сломило ее. Она оказалась прозорливее двух опытных политиков.

Три трагических судьбы близких друг другу людей – мамы, Бухарина и Кирова глубоко и беспощадно объясняют мне систему «сталинизма». Все трое боролись против нее, каждый по-своему, и в неравной борьбе погибли... Что могут разъяснить мне Хрущев, Микоян и прочие бывшие сообщники, во всем трусливо поддерживавшие отца, а после его смерти пожелавшие уйти от ответственности?!

Когда умерла мама, мне было только шесть лет, и я долго не могла знать правды. Последующее десятилетие я только наблюдала, как с корнем уничтожалось все, созданное ее руками и усилиями. Прогнали учительниц и прислугу в доме, рухнула вся система детских занятий, и как символ ее – была уничтожена даже наша детская площадка на даче. Исчезла мамина незатейливая мебель и ее безделушки. Все ее тетради и личные вещи были убраны и заперты, а ключ хранился у коменданта от МГБ. Теперь весь дом военизировался, прислугой стали платные сотрудники МГБ и возглавил ее капитан госбезопасности. Дом, каким он был при маме, перестал существовать: квартира в Кремле, наша старая дача и новая дача отца, куда он теперь переехал жить, стали называться по-казенному: «объект № такой-то».

Десять лет после смерти мамы прошли для меня монотонно и изолировано. Я жила в Кремле как в крепости, где единственным

добрым существом возле меня оставалась моя няня. Я не могла понимать в те годы, что творилось в стране, но жестокие трагедии тех лет не миновали и нашей семьи. В 1937 году был арестован брат первой жены моего отца – старый грузинский большевик А. С. Сванидзе со своей женой Марией. Арестована была его сестра Марико. Затем был арестован муж маминой сестры – польский коммунист Станислав Реденс. Трое Сванидзе и Реденс погибли в тюрьме, а маминой сестре было запрещено навещать нас, детей. Мамин брат, Павел, умер от разрыва сердца, потрясенный арестами близких и многочисленных друзей, которых он безуспешно пытался защитить перед отцом. Его вдове запретили видеться с нами. Старики, мамы родители, фактически лишились возможности встречаться с отцом, – он не хотел расспросов о судьбе «опальных родственников», чью гибель, безусловно, кроме него самого никто не мог санкционировать.

Школьнице 12-ти – 13-ти лет невозможно было осмыслить все происходившее. Немыслимо было согласиться с тем, что «дядя Алеша», «тетя Маруся» и «дядя Стах» являются теми самыми «врагами народа», о которых твердила, даже школьникам, официальная пропаганда тех дней. Оставалось думать, что они попали в какую-то общую трагическую путаницу, в которой не может разобраться «даже сам отец». Должно было пройти много лет, чтобы в моем сознании все творившееся не в одной нашей семье, а по всей стране, соединилось с именем моего отца, чтобы я смогла понять, что он сам это творил... А в те годы я не могла даже вообразить, что он способен обрекать на безвинную смерть тех людей, чья честность и порядочность были ему хорошо известны. Лишь позже, в годы юности, несколько открытий убедило меня в этом.

Мне было 16 лет, когда я узнала, что мамина смерть была самоубийством. Это было жестоким открытием для меня. Шла война, я была в Куйбышеве в ту зиму вместе с маминой сестрой и бабушкой. Начав сейчас же расспрашивать их я поняла, что мама была очень несчастлива, что у нее с отцом были разные взгляды на все – от политики до воспитания детей. Я всегда любила маму, хотя она не баловала нас. И теперь я почувствовала, что отец, очевидно, был глубоко неправ, и что это он повинен в ее смерти. Его незыблемый авторитет резко покачнулся...

Я была воспитана в беспрекословном послушании и уважении к нему. Дома, в школе, везде я слышала его имя только с эпитетами «великий», «мудрый». Я знала, что он любил меня больше моих братьев, был доволен, что я хорошо училась. Я видела его мало, он жил отдельно на своей даче, но все же после маминой смерти, вплоть до начала войны, он старался уделять мне воз-

можно больше внимания. Я уважала его и любила, пока не выросла.

Но пришла пора «юности мятежной», когда все авторитеты подвергаются критике, и прежде всего – авторитет родителей. И я вдруг почувствовала некую абсолютную правду в облике мамы, в том, что я помнила и что говорили о ней другие, а отец этого авторитета неожиданно лишился. И дальше все только сильнее и сильнее развивалось именно в этом направлении: мама все больше вырастала в моих глазах, чем больше я узнавала о ней, а отец только терял свой ореол.

Не прошло и года, как произошел новый шок. Я была школьницей 17-ти лет, меня полюбил человек на двадцать лет старше меня, а я влюбилась в него. Этот невинный роман, состоявший из прогулок по улицам Москвы, хождения в театры и кино, из нежной привязанности двух разных, но понимавших друг друга людей, вызвал ужас окружающих меня «оперуполномоченных» и гнев отца.

Взрослый, зрелый человек понимал, что его романтическое увлечение бесперспективно. Для него это было очевидным, и он собирался уже уезжать из Москвы. Но внезапно, он был арестован, обвинен в шпионаже и выслан на 5 лет на север, а позже в лагерь еще на 5 лет. Тут не было никаких сомнений, его арестовали по приказу отца, я это узнала: инициатива исходила от него. Бессмысленный деспотизм был настолько очевиден, что я долго не могла опомниться... Спасти человека было невозможно, – отец не менял решений.

Эти два открытия, сделанные мною в течение одного года, навсегда разъединили меня с отцом, и в последующие годы разрыв только усиливался.

После войны отец почти перестал бывать в кремлевской квартире, оставаясь на своей даче, и мы стали видеться редко. Я больше не была любимой дочерью, а моя дочерняя любовь и уважение рассеивались, как туман. Но я все еще была далека от понимания «политической биографии» отца. Я отдалилась от него сначала по-человечески.

Правда не доходила за ту высокую стену, которой Кремль отгорожен от остальной России. За этой стеной я росла, как растение на безводной скале, тянувшееся к свету, питавшееся откуда-то из воздуха. Этой скалой был мой дом, а я тянулась в сторону, прочь от него. Школа, университет, были отдушинами, откуда шел свет и свежий воздух: там были мои друзья, а не внутри Кремля.

Всю жизнь я была счастлива с друзьями: они решительно отделяли меня от моего имени. Для них я была сверстницей, студенткой, молодой женщиной, всегда – просто человеком. Мои друзья

со школьной скамьи и из университета остались со мной на всю жизнь. Я видела их в последний день перед отъездом в Индию. Книги, искусство, знания – вот что нас объединяло. У многих из них были арестованы родители и родственники, но то же самое было и в моей семье, и это не изменяло их отношения ко мне. Наверное, добрая память о моей маме помогала мне.

В 1940 году арестовали отца одной девочки в нашем классе. Она дружила со мной и принесла письмо своей матери к моему отцу, с просьбой спасти мужа. Я отдала письмо отцу вечером за обедом, когда за столом сидело много народа, и невольно все стали обсуждать его. Молотов и другие помнили этого человека, – М. М. Славуцкий был советским консулом в Маньчжурии, потом некоторое время послом СССР в Японии. Произошло невероятное чудо – его освободили и он вернулся через несколько дней домой. Но мне было строжайше запрещено брать письма подобного рода для передачи, и отец долго ругал меня за это. Однако, случай был достаточно красноречивым: судьба человека зависела от одного лишь его слова.

Иногда отец вдруг говорил мне: «Почему ты встречаешься с теми, у кого родители репрессированы?» Очевидно, ему сообщали об этом. Часто результатом его недовольства было то, что этих детей директор школы переводил из моего класса в параллельный. Но проходили годы и мы встречались опять, и отношение ко мне оставалось по-прежнему дружеским.

В университете круг знакомых расширился. Я бывала часто дома у своих подруг, видела их запущенные «коммунальные» квартиры. Редко кто ходил ко мне в Кремль, да и не хотелось звать туда. Для этого надо было заказывать «пропуск» у кремлевских ворот, а мне было стыдно всех этих правил.

В университетские годы нашим «клубом» была московская Консерватория. Там я всегда встречала и своих бывших одноклассников. Музыка была одной из великих отдушин, она напоминала, что прекрасное, вечное все-таки существует. Жизнь интеллигенции в послевоенные годы становилась все мрачнее, малейшие попытки мыслить самостоятельно в социальных науках, литературе, искусстве беспощадно карались. В Консерваторию люди приходили за глотком свежего, чистого воздуха.

В университете я прошла курс Исторических и социальных наук. Мы изучали марксизм всерьез, конспектировали Маркса, Энгельса, Ленина и, конечно, Сталина. От всех этих занятий я только пришла к заключению, что тот теоретический марксизм и коммунизм, который мы изучали, не имел никакого отношения к реальной жизни в СССР. Наш социализм в экономическом смысле был больше похож на государственный капитализм. В

социальном же отношении это был какой-то странный гибрид: бюрократически-казарменный режим, где тайная полиция напоминала германское гестапо, а отсталое сельское хозяйство – деревню 19-го века. Ничего подобного не снилось Марксу. Прогресс был забыт. Советская Россия порвала со всем революционным, что было в ее истории и встала на привычные рельсы великодержавного империализма, заменив при этом либеральные свободы начала 20-го века террором Ивана Грозного...

Я не дружила с молодежью «своего» кремлевского круга, хотя, конечно, знала многих. Здесь тоже общим стремлением было вырваться из Кремля, и у всех друзья были по ту сторону кремлевской стены – это было не исключением, а скорее правилом.

Меня тянуло к людям мягким, добрым, интеллигентным. Так получалось, независимо от моего выбора, что этими милыми людьми, тепло относившимися ко мне – часто оказывались евреи, в школе и в университете. Мы дружили и любили друг друга; они были талантливы и сердечны. Отец негодовал на это и говорил о моем первом муже: «Тебе его подбросили сионисты». Переубедить его было невозможно.

В послевоенные годы антисемитизм стал воинствующей официальной идеологией, хотя это всячески скрывалось. Но везде было известно, что при наборе студентов и в приеме на работу предпочтение оказывалось русским, а для евреев была, по существу, восстановлена процентная норма. Это было воскрешением великодержавного шовинизма царской России, где отношение к евреям всегда было водоразделом между либеральной интеллигенцией и реакционной бюрократией. В Советском Союзе лишь в первое десятилетие после революции антисемитизм был забыт. Но с высылкой Троцкого, с уничтожением в годы «чисток» старых партийцев, многие из которых были евреями, антисемитизм возродился «на новой основе» прежде всего в партии. Отец во многом не только поддерживал его, но и насаждал сам. В Советской России, где антисемитизм имел давние корни в мещанстве и бюрократии, он распространялся вширь и вглубь с быстротой чумы.

В 1948 году, случайно, я оказалась почти свидетелем преднамеренного убийства. Это были мрачные дни партийной кампании против, так называемых «космополитов» в искусстве, обрушившейся на малейшие намеки западного влияния. Как бывало уже не раз, это был лишь повод, чтобы свести счеты с неудобными людьми, а на этот раз «борьба» носила характер открытого антисемитизма.

Атмосфера в Москве в те дни была тяжелой, снова начались аресты. В Москве был закрыт Государственный Еврейский Театр, директором которого был С. Михоэлс. Театр объявили «рассадни-

ком космополитизма». Михоэлс был известный актер и популярный общественный деятель. Я слышала его выступление во время войны, когда он только что вернулся из поездки в Англию и в США, куда он ездил как председатель Еврейского Антифашистского Комитета. Он привез тогда подарок отцу от американских скорняков, шубу – на изнанке каждой шкурки стояли их подписи. (Шубу я не видела, она хранилась где-то вместе со всеми подарками, но слышала об этом от секретаря отца Поскребышева).

В одну из, тогда уже редких, встреч с отцом у него на даче, я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону. Я ждала. Ему что-то докладывали, а он слушал. Потом, как резюме, он сказал: «Ну, автомобильная катастрофа». Я отлично помню эту интонацию – это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал это: автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной, и через некоторое время сказал: «В автомобильной катастрофе разбился Михоэлс». Но когда на следующий день я пришла на занятия в университет, то студентка, отец которой долго работал в Еврейском Театре, плача рассказывала, как злодейски был убит вчера в Белоруссии Михоэлс, ехавший на машине. Газеты же сообщили об «автомобильной катастрофе»...

Он был убит, и никакой катастрофы не было. «Автомобильная катастрофа» была официальной версией, предложенной моим отцом, когда ему доложили об исполнении... У меня стучало в голове. Мне слишком хорошо было известно, что отцу везде мерещился «сионизм» и заговоры. Нетрудно было догадаться, почему ему «докладывали об исполнении».

Через несколько дней после этого я узнала об аресте своих теток. Две пожилых женщины не имели никакого отношения к политике. Но я знала, что отец был раздражен мемуарами Анны Сергеевны Реденс и был недоволен тем, что вдова дяди Павлуши вскоре вышла замуж за инженера – еврея. Его арестовали вместе с ней. «Знали много, и болтали много, а это на руку врагам», – так объяснял отец мне причину их ареста.

Он был озлоблен на весь мир и никому больше не верил. «У тебя тоже бывают антисоветские высказывания», – сказал он мне тогда совершенно серьезно. С ним стало невозможно разговаривать; я стала избегать встреч с ним, да и он к ним не стремился. Последние годы мы виделись раз в несколько месяцев, или реже. У меня не осталось никакой привязанности к отцу, и после каждой встречи я торопилась уехать. Летом, 1952 года, я окончательно переехала из Кремля вместе с детьми в городскую квартиру, где мои дети ждали меня сейчас.

Зимой 1952-53 годов, мрак стусился до предела. Уже были арестованы, по обвинению в «сионистском заговоре», жена Молотова Полина, бывший замминистра иностранных дел С. Лозовский, академик Лина Штерн и многие другие. Состряпали «дело врачей», которые тоже, якобы, состояли в заговоре против правительства. Жена секретаря комсомола Н. А. Михайлова сказала мне тогда: «Я бы всех евреев выслала вон из Москвы!» Очевидно, ее муж думал так же. Это было тогда официальным настроением, и источник его был, как я могла догадаться, на самом верху. Однако, на 19 съезде партии, состоявшемся в октябре 1952 года, продолжали говорить об интернационализме...

Ко всему безумию добавлялось еще бряцание оружием. Из-за пустякового повода посол США Джордж Кенан был выслан из Москвы. Один полковник, артиллерист, товарищ моих братьев, доверительно сказал мне в те дни: «Эх, сейчас бы самое время начать, чтобы отвоеваться, – пока жив твой отец. Сейчас мы непобедимы!» Об этом жутко было подумать всерьез, но очевидно, такие настроения были и в правительстве. Люди боялись говорить, все затихло как перед грозой.

И тогда умер мой отец. Молния ударила в самую вершину горы и раскаты грома прокатились по всей земле, предвещая теплые ливни и голубое, чистое небо... Все так ждало этого чистого безоблачного неба без нависших над головой свинцовых туч. Всем стало легче дышать, говорить, думать, ходить по улицам. В том числе – и мне.

Я провела три дня у постели умиравшего отца и видела его смерть. Мне было больно и страшно, потому что это был мой отец. Но я чувствовала и знала, что вслед за этой смертью наступит освобождение, и понимала, что оно будет освобождением и для меня.

В те дни перед похоронами я стояла у гроба многие часы и смотрела на людские потоки, проходившие через Колонный зал. Люди вели себя по разному. Многие плакали... Кто нес цветы, – кто смотрел с любопытством, чтобы удостовериться – да, правда, его больше нет. Иногда мои глаза встречались с глазами моих знакомых по школе, многих я не видела годы. Мне было страшно оттого, что мои собственные чувства были противоречивы: я одновременно испытывала боль и облегчение, ругая себя за то, что я плохая дочь. В момент последнего прощания, когда следовало поцеловать лоб покойного, и все вокруг ждали этого и смотрели на меня, я так и не смогла заставить себя сделать это. И ни разу не ходила потом к могиле отца у кремлевской стены.

В те дни в Москве было смятение, да и не только в Москве. Одни искренне плакали, другие так же искренне проклинали и радова-

лись. Я получала письма и телеграммы соболезнования от десятков незнакомых людей. А миллионы людей в тюрьмах и лагерях кричали «свободы!», потому что знали, что час свободы, наконец, пробил.

Московские улицы, ведущие к Колонному залу, были так забиты народом, шедшим взглянуть, что возникла давка. Я должна была проходить в Колонный зал через небольшую комнату, где ждали своей очереди в почетный караул министры и члены политбюро, генералы и маршалы. Я слышала, как один генерал возбужденно говорил другому, что «толпа безобразничает», что он только что ездил, чтобы «принять меры». Здесь же был и Хрущев, слушавший этот разговор. Он реагировал совсем в ином тоне: «Поеду, поговорю с народом!» Как бы то ни было, но «толпа», она же «народ», расплачивалась жизнью, а правительство, всегда боявшееся как огня любого непредвиденного скопления народа, растерялось, и не нашло ничего лучшего, как полицейские меры.

Милиция и грузовики оцепили центр, чтобы остановить людей, устремившихся сюда. Началась давка, паника, были жертвы. «Последнее прощание» превратилось в еще один кровавый кошмар...

В ту весну, которую Эренбург символически назвал оттепелью, все ожидали, что теперь, наконец, будут сняты путы и оковы со всей страны. Все понимали, что перемены необходимы и они теперь произойдут. Надежды, конечно, возлагались на одну единственную, незаменимую партию, – потому что ничем иным страна, к сожалению, не располагала.

Многие в этой партии – наверху и внизу – понимали, что, вместо поклонения идолам и догмам, стране необходима демократизация, освобождение всех внутренних сил, скованных оцепенением. Деревня ждала раскрепощения от безуспешного и губительного колхозного строя. Индустрия жаждала освободиться от бюрократических оков центра. Рабочие ждали давно обещанного им участия в производстве, в доходах своего же труда. Наука, отставшая от всего мира из-за идеологических табу, должна была вступить в международный обмен знаниями. Художники хотели писать, петь, творить свободно и вольно, – как только и могут работать художники. И каждого пора было освободить от постоянного страха за собственную жизнь и за жизнь друзей и близких.

Вынуженное из чехла знамя свободы вдруг затрепетало у всех над головой, и «вожди», как мальчишки в классе, оставшемся без надзирателя, бросились вырывать это знамя друг у друга, чтобы завладеть им и кулаками оттеснить остальных. Каждый хотел стать Великим Освободителем.

Сначала в этой борьбе за власть расстреляли Берия и его сообщников из МГБ, «разоблачив» их как «международных шпионов». Потом сбросили Булганина. Затем обвинили, объединив в «антипартийном блоке» прогрессивного Маленкова с консервативными Молотовым и Кагановичем. Искали и находили все новых «козлов отпущения»... Ведь не было других методов в стране и в партии, вырастившей за 50 лет тоталитарного режима целое поколение, для которого демократические свободы были легендой.

И пока многомиллионный народ молча ждал, с надеждой взирая все на тот же Кремль, там под покровом «коллективного руководства» шел один дворцовый переворот за другим. Все шло рывками и скачками. Шаг вперед, два шага назад. Из пушки по воробьям. «Козлов отпущения» – на лобное место! Но самое главное – чтобы народ не догадался, что ему самому пора начать править страной. А если какие-то поэты и интеллигенты подсказывают народу это – то заткнуть им рот! Пусть помнят, что в СССР только Кремль может думать, говорить и решать судьбы миллионов. Кремль и партия, которая несмотря на свою кровавую историю остается «мудрой», незапятнанной и чистой, как голубица...

Знамя освобождения досталось Хрущеву. Оно могло с таким же успехом оказаться в руках Маленкова, или того же Берия, или Булганина, – потому что уничтожение многолетней системы террора было первой необходимостью страны.

В последовавшие за XX съездом годы тысячи невинных возвратились к жизни из тюрем и лагерей, был уничтожен полицейский террор, начались, робкие еще, контакты с внешним миром, были сделаны попытки децентрализации промышленности и сельского хозяйства. Ослабла напряженность, отодвинулась угроза войны и возникла надежда прочного мира. Наука, искусство, идеология делали первые попытки освободиться от догматизма. Но в эти же самые годы произошли кровавые события в Венгрии, расстрелы студентов в Грузии, рабочих в Новочеркаске.

В марте 1956 года, сотни грузинских студентов, молодежи, интеллигенции собрались у здания ЦК партии в Тбилиси, требуя объяснений о «секретной речи» Хрущева. Слухи о ней только что дошли сюда, и как это обычно в СССР, никто ничего не знал, кроме того, что «снимают портреты» – на этот раз – Сталина. Перепуганный секретарь ЦК Грузии вызвал войска. Демонстрация была мирной. В знак давно накопившегося протеста против «русских угнетателей», несли портреты Сталина – те самые, которые было велено снимать... Во всем этом преобладало чувство поправленного национального достоинства, которое у грузин развито очень остро. Все можно было бы мирно уладить – если бы не войска, которые оцепили государственные учреждения.

Когда группа студентов, пославшая телеграммы в Москву, вышла на улицу, их схватили. Товарищи бросились на помощь, завязалась свалка и войска открыли огонь. Десятки людей остались лежать на мостовой, остальных разогнали, а родным не разрешили забрать тела убитых и похоронить их. Боялись, что похороны выльются в демонстрацию против грузинского ЦК и против «центрального» московского правительства. Тела убитых студентов куда-то увезли под конвоем и это вызвало возмущение всей маленькой страны. Студенты закидали камнями поезда, шедшие в Москву, – они все пришли без стекол. И ненависть к «Москве» только усилилась.

Московское официальное объяснение событий – конечно, не в печати, а в очередном секретном письме ЦК – гласило, что в Грузии «националистические элементы сделали попытку отойти от СССР»...

Вскоре же после XX-го съезда обнаружилось, что бывшие создатели и соучастники «культы личности» не хотят, да и не могут говорить всю правду, и что они не дадут этого сделать никому другому – будь то историки или экономисты, художники или поэты.

Партийный и государственный аппарат, выросший и воспитанный в прежние десятилетия, не желал делать уступок либерализму и демократизации. Попытки Хрущева в этом направлении встречали сопротивление на каждом шагу. Каждое «дело» по смертной реабилитации жертв 1937-38 годов приходилось «проталкивать» через аппарат ЦК со страшными усилиями. Старая коммунистка из Баку, О. Г. Шатуновская, провела в тюрьме и сибирской ссылке 17 лет. Освобожденная и восстановленная в партии после XX-го съезда, она начала работать в Контрольной Комиссии ЦК, специально занимаясь реабилитацией, – чаще всего посмертной, – партийных работников, пострадавших в чистках. Но несмотря на поддержку Хрущева и Микояна, через несколько лет работы ее выжили из аппарата ЦК те самые люди, которые в свое время сажали и арестовывали. Шатуновская говорила мне, что работать ей было невозможно: аппарат ЦК глухо роптал против десталинизации.

Чему удивляться, если один из, самых верных прошлому, консерваторов, М. А. Суслов начал работу в аппарате ЦК еще в 1937 году, а теперь оставался по-прежнему секретарем ЦК, объединяя вокруг себя всех сопротивлявшихся «новому курсу».

Хрущев не мог разделаться с аппаратом партии – потребовалась бы слишком большая ломка старого. А он боялся этого. В конце концов, он поплатился за это – аппаратчики разделались с ним.

Хрущев не мог открыто заявить, что партия сама поддерживала во всем «культ Сталина», и, в конце концов, уступив ему всю полноту правления, превратилась в пассивную исполнительницу его абсолютной власти. Побоявшись признать вину всей партии, и целиком свалив ее на грозного покойника, он красноречиво дискредитировал не только самого себя, но и партию в целом. Этого она ему простить не могла. Всему миру стало очевидно, что тоталитарный режим сам себя не может ни осудить, ни изменить: самоубийство не в его характере, он может только убивать других.

Тогда был еще раз применен успешный метод дворцового переворота и новый премьер Косыгин вместе с новым «вождем» Брежневым присягнули все той же деспотической традиции: народ безмолвствует, а говорит и решает Кремль.

Но непреодолимый процесс освобождения от старого шел гораздо сильнее и смелее «снизу». Пока наверху шла уродливая драка за власть, прогресс брал свое. Он рос и ширился снизу и давил наверх, как горячий пар, заставляя власть то уступать, то сопротивляться. Остановить его было уже невозможно. Он пробивался наружу повсюду, как яркая трава меж каменных плит.

И в моей душе шел такой же медленный, упорный процесс внутреннего освобождения от прошлого – от общего прошлого, и от моего собственного...

Он шел своими путями. «Секретная речь» Хрущева мало помогла мне в этом и не была большой неожиданностью. С друзьями мы уже не раз говорили до этого о неизбежности перемен.

Текст этой речи мне дал прочитать Микоян в конце февраля 1956 года. Он прислал за мной машину и просил приехать к нему домой. – «Прочитай это, а потом обсудим, если необходимо», – сказал он, – «не торопись, обдумай. Мы будем ждать тебя внизу к ужину».

Я провела тогда несколько часов в библиотеке его дома на Ленинских горах. Страшнее всего было то, что я верила тому что читала. Не верить было невозможно... Читая, я вспоминала рассказы моих теток, вернувшихся к этому времени из тюрьмы. Мамина сестра Анна сошла с ума в тюрьме и вернулась больным человеком. Вдова маминого брата Евгения Аллилуева вынесла все, но говорила мне, что подписала все обвинения, предъявленные ей: в шпионаже, в отравлении своего собственного мужа, в связях с иностранцами... «Там все подпишешь», – говорила она, – «лишь бы оставили живой и не мучили! Ночью никто не спал от криков в камерах, люди кричали нечеловеческими голосами, умоляли убить, лучше убить...» Она провела 6 лет в одиночке без разрешения на переписку с родными, о которых ничего не знала

все это время. В 1954 году все обвинения были признаны вымышленными, и она вернулась домой.

Я думала о судьбе Сванидзе и Реденса, о многих трагических судьбах, известных мне, и мое сердце только проваливалось куда-то в пустоту... Если бы я могла опровергнуть, не верить, воскликнуть: «Клевета! Он не делал этого!» Но я не могла. Я вспоминала разговоры с друзьями и то немногое, что было доступно из неофициальных источников, потому что официальные источники всегда говорили совсем о другом. На память приходили опять послевоенные годы и мрачная зима 52-53 годов, когда я сама видела, что многое творилось по указу отца.

Наконец я пошла в столовую, где Микоян и его жена ждали меня. Оба смотрели на меня с тревогой. – «К сожалению, все это очень похоже на правду...» – сказала я. Микоян вздохнул с облегчением. Должно быть он боялся, что я буду рыдать или спорить.

«Я надеялся, что ты поймешь», – сказал он. – «Пойдем за стол. Мы хотели, чтобы тебе не пришлось неожиданно услышать все это на собрании. Через неделю документ будут читать во всех партийных организациях».

Я сказала, что очень признательна за это. В тот вечер мы больше не говорили о речи Хрущева, но все время вспоминали маму, с которой Ашхен Микоян когда-то дружила.

Через несколько дней после этого я сидела на партийном собрании в Институте Мировой Литературы и слушала обсуждение речи Хрущева. Представитель ЦК пытался сдерживать страсти, а все говорили и требовали перемен, – перемен в жизни страны, освобождения от догматизма, – этого-то и боялись в ЦК. Я сидела, слушала и думала то же, что думали все вокруг меня. Ко мне ни на минуту не изменилось отношение после речи Хрущева, мои друзья оставались со мной как и прежде, и во все последующие годы я ни в чем не чувствовала недружелюбия к себе.

Хотя последние годы я была далека от отца, только теперь, после его смерти, мое сознание начало постепенно очищаться от мифов, от идеализации, от канонизированной лжи, от всего того, чем вбивали в головы моего поколения ложный образ «мудрого вождя», ложную историю партии, ложную картину «победоносного развития» всей страны.

При общей изоляции СССР от остального мира невозможно было найти хотя бы книги по советской истории, издававшейся за границей. Пути к этому «запретному» источнику строго охранялись; такие книги находятся в СССР в государственных библиотеках и их выдают только по специальному разрешению, для исследовательской работы. Но даже то немногое, что удавалось таким образом прочесть, производило на нас впечатление откоро-

вения. По существу, это были просто объективные факты истории; но именно поэтому они и были для меня значительнее, чем все трескучие и невразумительные разоблачения «культы личности» в советской печати тех лет.

Так, в 1954 году мне удалось прочесть две книги по истории советской литературы, изданные в США – Марка Слонима и Глеба Струве. Мне выдали их в библиотеке из «спецфонда» только потому, что я должна была сделать о них сообщение на семинаре. В этих книгах я встретила с неожиданной для советского литературоведа концепцией о литературе 20-х годов. Эти годы были названы временем расцвета русской литературы, свободно развивавшейся до официального провозглашения «социалистического реализма» в 1934 году. Богатство стилей и направлений, новые имена, – «Серапионовы братья», «Юго-западная школа», Пильняк, Бабель, Замятин, – борьба с «пролетарскими писателями», пытавшимися присвоить себе монополию в искусстве... Совершенно иная роль Горького, бунтующего против «зверств революции», неприглаженного, отредактированного. И опять над всем – «генеральный секретарь» партии, якобы меценат, а на самом деле загнавший искусство в нужное русло и заперший его там. А потом – длинный список арестованных и погибших писателей, тех, кто воспевал революцию, красную армию, новую жизнь, тех, кто служил партии пером и сердцем...

В 1957-58 годах в Институте Мировой Литературы группа молодых исследователей – Андрей Синявский и я в том числе – взялись работать над «литературной хроникой» 20-х и 30-х годов: это позволяло нам работать над газетами и журналами тех лет. Просмотрев комплект газеты «Известия» за 1922 год и «Правды» за 1934-й я сделала для себя немало открытий.

В статьях Троцкого о тогдашней политике партии в литературе и искусстве провозглашалось свободное развитие стилей, полная свобода художника. О том же писал Луначарский. Горький, из эмиграции, резко осуждал кровавые зверства революции в статьях «О русском крестьянстве» (этих статей нет ни в одном собрании сочинений Горького, изданных в СССР). В России шел процесс левых эсеров, и бывшие союзники по октябрьской революции были осуждены, а их партия запрещена. По всей стране открывалось все больше и больше издательств – недавно провозгласили НЭП, дававший некоторую свободу частной инициативе. Литературная жизнь 1922-го года представляла собой, действительно, необыкновенное богатство и разнообразие. Мы составляли «хронику», выкапывая из небытия и забвения имена и произведения писателей, книги которых были изъяты из библиотек на десятилетия. Мы собрали тогда огромный новый материал, но он был

строжайше отредактирован нашими партийными редакторами и цензорами. Половину фактов и имен выбросили, в том числе статьи Горького «О русском крестьянстве»: икону нельзя было «опорочить».

Если имя Сталина ни разу не попало мне на страницах центральной газеты за весь 1922 год, то в 1934 году оно буквально не сходило со страниц «Правды».

В этом, 1934-м, году состоялся первый съезд писателей, на котором был положен конец разнообразию стилей и свободе творчества, и был принят, как единый рецепт, абстрактный «социалистический реализм». По существу это означало, что литература становилась на службу – и под контроль – партии, как этого и хотел генеральный секретарь. Когда я просматривала стенограммы 1-го съезда писателей (до тех пор тоже изъятые из библиотек), то впервые прочла доклад Бухарина о поэзии, сделанный им на съезде. Это был блестящий доклад политика, говорившего перед писателями, как равный с равными, о существовании поэтического творчества. Официальная речь Жданова выглядела рядом бледной и жалкой.

На состоявшемся в том же году 17-ом съезде партии – так называемом «съезде победителей» – славословия Сталину раздавались каждый день и в каждой речи. Казалось, все обещало экономические улучшения, мир и демократию в стране. Но 1-го декабря в тот самый год был убит Киров, и вместо демократии пришел террор, аресты, суды и «чистки», в которых погибли и делегаты «съезда победителей», и Бухарин, и делегаты первого съезда писателей...

Отец не только не спасал от гибели старых товарищей, но, казалось, хотел вырубить под корень все талантливое и мыслящее в партии, в армии, в искусстве, чтобы не оставалось нигде ярких фигур, способных привлечь умы и завоевать популярность.

В 1956 году Хрущев впервые заговорил об этом, и намекнул о прямом участии отца в убийстве Кирова. Намекнул и испугался. Пообещав дальнейшее расследование таинственных обстоятельств покушения, он больше никому не дал ни говорить, ни писать об этом.

Я долго думала: возможно ли? Возможно ли? – Ведь Киров был старый друг, он отдыхал вместе с отцом в Сочи летом в том же году... И страшный ответ приходил сам собой. А Бухарин? Разве он не был старый друг? Разве он не жил у нас летом на даче, еще при маме? Но если для отца было возможным обвинить и казнить Бухарина, то почему остановился бы он перед расправой с Кировым? Все это было так жутко, что хотелось завывать и бежать прочь от всех и от самой себя...

В сентябре 1957 года я сменила фамилию «Сталина» на «Аллилуева» – по советским законам дети могут носить фамилию отца или матери. Я больше не в состоянии была носить это имя, оно резало мне уши, глаза, сердце своим острым металлическим звучанием...

Я обратилась к Президенту – тогда им был Ворошилов, старый друг семьи, очень любивший маму. Канцелярия Президиума могла ускорить долгий процесс прохождения всех инстанций. Мне хотелось, кроме этого услышать, что скажет сам Ворошилов о моем решении. Он не удивился и сказал только: «Ты правильно решила».

Мне хотелось носить мамину фамилию еще когда я поступала в университет после школы. Я сказала об этом тогда отцу; ведь «Сталин» был только его партийный псевдоним. Он ничего мне не ответил, но я видела, что он был уязвлен, и не стала продолжать разговора. Сейчас я могла поступить так, как мне хотелось. Многие осуждали меня за это в СССР. Первый же чиновник, увидевший мои новые документы, спросил со страхом и сочувствием: «Вас заставили переменить фамилию?!» Он не хотел верить, что это мое собственное желание.

В 1966 году в мои руки попала «Политическая биография Сталина» Исаака Дейтшера, изданная в 1949 году в Англии. Как ни странно, я впервые смогла представить себе всю долгую историю борьбы внутри партии, весь процесс постепенного превращения партии российских коммунистов в свою собственную противоположность. Опять я делала открытия...

Я узнала об острых разногласиях, бывших у отца с Лениным в последние годы. В советских источниках и политической пропаганде их отношения описывались как идиллическая дружба с незапамятных времен. «Завещание Ленина», в котором он требовал отстранить отца с поста генерального секретаря, было уже известно мне в то время. Но оказывается этому предшествовали длительные разногласия по национальному вопросу. Было очевидно также, что идея колхозов, которую отец увязывал позже с «кооперативным планом» Ленина, на самом деле не имела к нему никакого отношения; их взгляды тут тоже расходились. И дальше я нашла в этой книге картину постепенного захвата единоличной власти, ловкого обхода бывших коллег – а позже противников – неподражаемый цинизм и жестокость в устранении возможных соперников, развал и распад партии и ее полное порабощение одним человеком с помощью террора – все то, о чем как раз предупреждал Ленин.

Мне стала очевидной огромная роль, которую играл Троцкий в партии и в революции; а так как я хорошо знала характер отца,

мне стал, наконец, ясен источник его антисемитизма. Безусловно, он был вызван долголетней борьбой с Троцким и его сторонниками, и превратился постепенно из политической ненависти в расовое чувство ко всем евреям без исключения. Одного только перечисления имен всех людей в партии, с которыми отец расправился на пути к своей диктатуре было достаточно, чтобы сойти с ума...

Тогда же я прочла «Разговоры со Сталиным» Милована Джиласа. Австралийское издание этой книги на английском языке кто-то привез в Москву, и она ходила по рукам. Как и Дейтшера, эту книгу я получила не из библиотеки, а от друзей. Джилас поразил меня живостью и достоверностью портрета моего отца, – я узнавала манеры, слова, обстановку. И чем достовернее были детали, тем убедительнее вырисовывался политический цинизм Сталина, даже в отношениях с «братскими», социалистическими странами. Только бы не дать выдвинуться популярным лидерам, будь то Димитров или Тито, – только бы не упустить абсолютную власть. Ради этой цели был забыт «братский интернационализм» и Советский Союз вел себя часто совсем как империалистическая Россия. И вечная слезка советской тайной полиции за каждым из «братских» лидеров!..

После 1956 года в Москве переиздали книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», об октябрьском перевороте. Эта книга, в 20-е годы изданная в России по-русски, была в 30-е годы запрещена, как и многое другое, где ничего не говорилось о роли Сталина в октябрьской революции. В новом издании сохранили предисловие Ленина и предисловие Крупской: они оба считали, что это очень достоверная, точная и живая картина событий. Но теперь издательство добавило еще предисловие от себя. В нем было сказано, что Джон Рид, американский корреспондент, многого в России не знал, не понимал и не видел, и поэтому полагаться на достоверность его книги невозможно...

Между тем Джон Рид действительно воспроизводил объективные факты: роль Троцкого в революции, роль левых эсеров, как союзников большевиков в тот момент. Это слишком отличалось от официальной версии событий, принятой в СССР. Предисловие Ленина сочли нужным «поправить» даже после 20-го съезда!

Эталоном извращенной истории долго еще продолжал служить «Краткий курс истории СССР», отредактированный, переделанный и дописанный отцом в 1938 году. (Первоначальный вариант был составлен группой авторов). Этот «учебник» был нужен ему прежде всего для того, чтобы навсегда выбросить из истории тех, кто ему мешал, тех, кто в самом деле основал и создал партию и осуществил революцию, – в первую очередь Троцкого, своего

главного соперника. Дальше были перечеркнуты все, кто некогда был в оппозиции или был не согласен с ним. Все они были названы агентами иностранного империализма. Такой же ярлык был приклеен тем, кто даже не участвовал в оппозиции, но попал в «чистки» 1937-38 годов, – так как это самый простой и верный способ дискредитировать политических деятелей в глазах народа. А «Краткий курс» был задуман, как новый катехизис для народа на десятилетия – потому отец и переделывал его так внимательно. В переписанной им истории партии его собственная фигура превратилась в верного, постоянного друга и соратника Ленина, а никаких других крупных имен в революции читатель просто не находил. Но вот прошло уже 10 лет после «речи Хрущева», а объективная история партии и революции все еще не написана, и она не скоро будет написана в СССР...

Однако, важнее всех книг и документов была сама жизнь вокруг. В эти годы у меня появились новые друзья, люди намного старше меня, прошедшие через 30-ые годы уже в зрелом возрасте, «изучившие историю» на собственной спине.

Это было несколько интеллигентных семей, объединенных давней прочной дружбой и родством. Литературные критики, музыканты, астрономы, физики, журналисты, художники – всех их объединяла творческая жизнь и русская культура, переданная им отцами и дедами. Русские и евреи, потомки обрусевших немцев, голландцев, итальянцев – когда-то Россия была «открытой страной» и всех принимала – они были творцами и хранителями культуры в той страшной разрухе, которая окружила их с юности, и пронесли этот светоч через свою жизнь, даря свет другим.

Марина провела в тюрьме и ссылке в общем семнадцать лет, хотя никогда не имела отношения к политике. В молодости она работала хирургической сестрой, ее первый муж был художник. Эта маленькая, хрупкая женщина, веселая как жаворонок, была жизнерадостнее моих молодых сверстниц. Бог знает, через что ей пришлось пройти, и самым ужасным она считала свой второй арест: когда окончились первые десять лет и, казалось, что жизнь начинается заново, – вдруг снова тюрьма и ссылка в Казахстан... Там, в затерянной среди степей деревушке, она лечила и учила, и помогала другим жить. Она нашла там друзей – таких же, как и она, непричастных к политике интеллигентных женщин, – переводчиц с английского, французского, голландского, высланных только за их иностранное происхождение. Никто из этих женщин не унывал, они возвратились после 20-го съезда, я видела их у Марины. Они не перестали верить в жизнь, не разочаровались в людях, не озлобились, ни на кого не ожесточились. Глядя на них всех я думала, что человеческие души губят не внешние трудно-

сти, а какой-то червяк изнутри, если человек с ним родился. А эти здоровые натуры еще старались помочь, чем могли, нищим казахстанским переселенцам – совсем как жены декабристов, сосланных царем в Сибирь...

Но почему же в Советской России повторился средневековый произвол, и повторил его никто иной, как «вождь мирового пролетариата»? Неужели Россия так безнадежна, что любое прогрессивное начинание превращается здесь в свою противоположность? Нет. Здесь так никто не думал. Эти люди верили в огромный запас здоровых сил народа, который еще проявит себя и сбросит ярмо, надетое на страну.

Мои новые друзья любили меня, при мне не стеснялись «думать вслух» обо всем. «Ты – из нашего профсоюза!» – говорили мне. Это было лучшей похвалой и я знала, что здесь я не «дочь диктатора», а человек.

Муж Марины, журналист, тоже прошедший годы в тюрьме, часто ездил по стране, бывал на больших заводах и стройках. Он видел повсюду экономический развал, неразбериху, произвол, кражи. Необычайно добрый и отзывчивый на чужие несчастья, он умудрялся всем помогать – вечно ходил в официальные инстанции просить и требовать для других, что при советском бюрократизме трудно и изнурительно.

Однажды он взял меня с собой в журналистскую поездку на дальний север, – ему хотелось, чтобы я увидела как изменилась там жизнь. Самолет часами летел над тундрой, снежной пустыней, через которую ни пройти, ни убежать. Заполярный Норильск вырос в низовьях Енисея после 1953 года, когда здесь прекратили свое существование страшные угольные шахты для заключенных. Многие остались жить и работать в городе свободными людьми – на севере платят вдвое больше. Норильск – современный город, магазины, театры, гостиницы, бассейн для плавания. Возле шахт новые дома, на месте бывших бараков клуб, театр, кино. Но шахтерский поселок сохранил прежнее имя – Кайеркан – что означает на местном языке – «Черная Смерть». Да, только после смерти моего отца сюда пришла нормальная, свободная жизнь – здесь это было очевидно, как нигде.

Мне был интересен именно Норильск, потому что брат мамы, Павел, был в этих краях в 1922 году с экспедицией Урванцева, открывшей там богатейшие залежи угля и железной руды. Могли предполагать тогда Павлуша и геолог Урванцев, что их открытие превратится в лагерь, в Черную Смерть?..

Я нашла новых друзей, принадлежавших и к моему поколению, но их критический ум начал работать куда раньше моего. Это были литературные критики, поэты, математики. Знакомство с

Андреем Синявским, знатоком русского искусства, было для меня очень значительным. Андрей никого не агитировал и не переубеждал, но весь его облик влиял на знавших его, заставлял думать, искать правду.

Все эти молодые люди давно уже пришли к тем открытиям, которые я только начинала для себя делать.

«Ты только проследи всю цепь саморазоблачений, которые делает партия!» – говорили они мне, – «ведь на протяжении вот уже сорока лет эти звери пожирают друг друга, как в „Бесах“ у Достоевского. Кроме Ленина ни один последующий лидер не избежал осуждения, рано или поздно. Выходит, что столько лет страной правили негодяи! До такого самоуничтожения не доходила еще ни одна партия в мире».

Достоевский и его «Бесы» приходили на ум очень часто. Достоевский вдруг захватил молодежь своей искренней страстной проповедью религиозного смирения, своей ненавистью к социализму. Что ж, пятьдесят лет революции подготовили для этого хорошую почву: страна так захлебывалась в крови, что в противовес этому неожиданно с новой небывалой силой зазвучала Нагорная проповедь. Молодежь шла в церкви потому, что это был лишь еще один способ сказать «нет!» государству.

В мае 1962 года я крестилась в православной церкви. Крещение было для меня большим символическим событием. Для меня важны были не догматы христианства, не ритуал, а вечная Жизнь, вечное Добро. Обряд крещения состоит в отречении от зла: в освобождении от зла, от лжи.

Я верила в «не убий», верила в правду без насилия и кровопролития. Я верила, что Верховный Разум правит миром, – а не суетный человек. Я верила, что дух истины сильнее материальных ценностей. И когда все это вошло в мое сердце, остатки марксизма-ленинизма, которому меня учили с детства, исчезли как дым. Я знала теперь, что сколько бы не пытался грешный жестокий человек утвердить свою власть на земле, рано или поздно правда восторжествует и былая слава превратится в прах.

И тогда вся жизнь моего отца возникла передо мною, как отречение от Разума и Добра во имя честолюбия, как полное отдание себя во власть зла. Ведь я видела, как зло разрушало день за днем его самого, убивало тех, кто стоял к нему близко. А он сам только глубже и глубже опускался в темную бездну лжи, злобы и гордыни. И в этой бездне он, в конце концов, задохнулся.

Я пыталась показать этот процесс в его душе в «20 письмах к другу», написанных вскоре после крещения и под сильным влиянием его. Эта первая попытка писать была для меня самой как исповедь, и она тоже помогла мне очиститься от памяти прошло-

го.

Когда я писала «20 писем», в моих ушах звучали слова священника, крестившего меня: «Ты своего отца не суди. Суд Высший уже свершился над ним: при жизни он слишком высоко вознесся, а теперь от славы его ничего не осталось. Господь выравнивает и исправляет ложное. А тебе – нельзя, ты – дочь». И я старалась не судить, а показать, как разрушительно было для самого отца то, чему он отдал свою жизнь. В зените своей славы и власти он не был ни счастлив, ни удовлетворен: его терзал вечный страх, он создал пустоту вокруг себя, и завел в тупик тех, кто продолжал ему слепо верить.

Судит история, судит жизнь, высшая справедливость. А нам Господь дает силы понять и принять истину этого приговора.

Но никто не отнимет у меня права иметь свое собственное мнение о так называемой «эпохе сталинизма». Слишком дорогой ценой оно мне досталось, с трудом и с болью приобреталось, в слезах очищалось...

В тюрьмах и ссылках многие сохранились и выжили потому, что были религиозны и были убеждены, что правда восторжествует. Другие – даже и там продолжали верить, что «Сталин ошибается, но партия – права». Я не могла согласиться с коммунистами, вернувшимися из тюрем и продолжавшими фанатично верить в «правое дело партии». Да где же они, эти «правые дела»?!

Пятьдесят лет партия старалась истребить все мыслящее в России, свести к нулю интеллектуальную жизнь, похоронить память о свободах, существовавших при царях, отбить вкус к политической активности у многомиллионного народа, обманутого, ослепленного, обреченного на рабский труд ради куска хлеба. Эти миллионы малограмотных тружеников были приучены веками страдать и верить в правоту «царя-батюшки», клонить голову перед ярмом и кнутом.

«Паситесь, мирные народы!
К чему рабам дары свободы?
Их должно резать, или стричь.
Наследство им, из года в годы,
Ярмо с гремушками, да бич...»

– горько иронизировал великий Пушкин. Другой поэт, Максимилиан Волошин, писал на век позже, в 1922 году:

«Молитесь же, терпите же. Примите ж
На шею крест, на плечи трон.
На дне души звучит подводный Китеж –
Наш неосуществимый сон».

Революция, опираясь на Карла Маркса, дала народу новый крест и новый трон. А когда была выиграна кровопролитнейшая из войн, мой отец с полной искренностью благодарил русский народ за его терпение.

Ни один другой народ не стерпел бы ни этого нового ярма, ни этого нового царя. Как не благодарить!

«Ярмо с гремушками»... Спутники, фестивали, юбилеи, сознание – заливаемое водкой по каждому поводу. «Мы самые великие», «мы лучше всех, быстрее всех, дальше всех, всех догоним и перегоним, всех победим!»

Если этой партии нужна была атомная бомба или спутник, то она не жалела ничего, и таланты, которые не перевелись в России, создавали все, что угодно. Тут им прощали и забывали их еврейское, немецкое и дворянское происхождение, а вождь одаривал их бесплатными дачами, автомобилями, премиями. Но «щедро одаренные» жили под строжайшим надзором полиции, имена изобретателей держали в секрете от своего народа и от всего мира, а творцы-узники не знали радостей жизни, приносимых заслуженной славой.

Я знала некоторых из них. Их положение не изменилось и позже. Талантливые, очаровательные люди, принесшие славу и мощь стране, жили как затворники. Они не только не имели права ездить за границу, но даже встречаться с такими невинными иностранцами, как индийцы. Никто вокруг не знал об их бесчисленных, тайных премиях и орденах, их третировал свысока любой чиновник, не подозревая что перед ними следовало бы снять шляпу и поклониться.

Правительство эксплуатировало мозг, когда это было ему нужно. Ни один еврей не работает в аппарате ЦК, – потому что это руководящая позиция. Но когда нужны справки по экономике, по внешней политике или по философии, то эту работу для ЦК часто поручают специалистам-евреям. Они только дают справочный материал, их не приглашают обсуждать или решать. Часто они подписывают свои статьи в журналах русскими псевдонимами. Конечно, по сравнению с 1952 годом, когда их всех собирались выслать из Москвы, – и это великий сдвиг. Но – это и есть мера прогресса в СССР на сегодняшний день.

А когда талантливого молодого человека со специальным дипломатическим образованием хотели пригласить на работу в советском посольстве в США, то министр Громыко отклонил его кандидатуру на одном основании: еврей. И это в 1966-м, а не в 1952-ом году!

«Правое дело партии»? Ну, нет! Скорее я соглашалась с теми, кто утверждал, что в октябре 1917 года с Россией произошла роко-

вая, трагическая ошибка... Такой вывод был мне куда ближе, из всего, что я видела вокруг прозревшими глазами, из всей истории, которой мне пришлось переучиться заново.

Моя собственная жизнь в партии была неудачной. Я вообще не склонна к политической активности, а в СССР это больше «видимость деятельности», пустая болтовня на собраниях. В партию меня заставили вступить в 1951 году, долго укоряя перед этим, что «неприлично дочери такого человека быть вне рядов КПСС». Я вступила и платила взносы, молча отсиживая часы на собраниях. Только два раза за все это время мне захотелось выступить.

Первый раз – в 1954 году (еще до 20-го съезда) когда партийная критика обрушилась на Илью Эренбурга за его повесть «Оттепель», в которой впервые говорилось о репрессиях в СССР и о потеплении, наступившем после 1953 года. Эренбурга обвиняли в слишком мрачном изображении советской жизни, и в «подражании западным образцам». Я выступила на нашем собрании и сказала, что не понимаю в чем виноват Эренбург, когда даже партийная печать сейчас признает ошибки прошлого и невинно осужденные люди возвращаются из тюрем.

Профессор А. С. Мясников, известный партийный «толкователь» творчества Горького, назвал мое выступление «безответственным и политически незрелым». Книга Мясникова о творчестве Горького является примером «исправления истории», столь принятого в СССР: критику Горьким революции, большевиков и Ленина читатель в ней не найдет.

Второй раз было хуже. Это было в 1966 году (через 10 лет после 20-го съезда), когда обозначилось движение назад, к старому. Только что состоялся постыдный суд над Синявским и Даниэлем, приговоривший этих писателей к 5-ти и 7-ми годам лагерей. В Институте Мировой Литературы дирекция и партийный комитет повели кампанию против всех, кто осмелился если не протестовать, то хотя бы уклониться от одобрения приговора, кто выразил в какой-либо форме симпатию к осужденным и кто, зная много лет Синявского, признавал его талантливым критиком. Пошла травля тех, кто отказался подписать официальное письмо в «Литературную газету», одобрявшее приговор суда. Аспиранта, публично выразившего в эти дни благодарность Синявскому за помощь в работе, в конце концов отчислили из Института и исключили из партии. Старшие работники Института говорили, что атмосфера слишком напоминает им 1937 год.

Я выступила на партийном собрании и сказала, что постыдно так третировать работников Института; что суд был ошибкой; что с писателями надо разговаривать профессионально в своей среде, а нам даже не дают прочесть написанные ими книги; что

мы не имеем права бросать политические обвинения своим коллегам безо всяких оснований; и что каждый волен подписывать или не подписывать любое заявление.

Собрание проходило бурно и продолжалось два дня. Меня многие поддержали, но директор Института, профессор И. И. Анисимов, обвинил всех нас в «политической незрелости». В литературных кругах «политически зрелый» Иван Иванович Анисимов был давно известен под прозвищем «Ванька-Каин», за то, что еще в 1937 году предавал своих собратьев по перу...

Ужаснее всего это нескончаемое притворство и двуличие, входящее в плоть и кровь советского человека уже со школьной скамьи. Беспартийных никто не слушает и не заставляет высказываться. А партийный или комсомолец обязан выступать, и – вошло уже в привычку – думая одно, говорить вслух другое. Этот же человек через полчаса в кулуарах говорит друзьям то, что думает.

Каким зловещим возвратом к прошлому был этот закрытый суд и все обстоятельства вокруг него! Я не могла больше оставаться в Институте, и летом 1966 года окончательно ушла из его партийной организации, к радости дирекции.

Теперь я была дома, «без коллектива», с детьми и безнадежно больным Сингхом.

Этот человек принес в мою жизнь реальную мудрость Индии, – ту, о которой я раньше читала в книгах. Меня давно покорила жизнь Махатмы Ганди, для которого ненасилие и «упорство в истине» были не только проповедью – индийская философия проповедовала это тысячелетиями – а ежедневной практической жизнью. Когда живая Индия вошла в мой дом, я на деле узнала, что такое непричинение зла другому. И я опять думала: вот два коммуниста – Баджеш Сингх и мой отец.

Что могло быть более резким противопоставлением двух взглядов на жизнь? Терпимость одного и догматизм другого, спокойствие и страх, доверие и подозрительность, простота и честолюбие, прощение и мщение, доброта и озлобленность, сила духа и сила оружия... Характер Сингха, его жизнь и самая смерть были противопоставлением и вызовом всему советскому бюрократическому государству – поэтому оно так и восстало против этого безвредного, тихого человека. Он умер, но он победил.

Он победил их всех навсегда в моем сердце – и в сердцах многих, кто его знал в Москве. Нет, Хрущев ничего не объяснил мне, и не смог освободить меня от прошлого. Хорошая мудрость Индии освободила меня от духовных пут. Оставалось только освободиться от физических и формальных.

Не было ничего страшнее для СССР, чем начавшееся после Хрущева движение назад, к привычным и удобным для власти нормам. Мне снова приходилось слышать: «Ваш отец был великий человек! Подождите, его еще вспомнят!» Правительство вдруг начало интересоваться, как я живу, Косыгин и Суслов настаивали, чтобы я «возвращалась в коллектив» и заявляли, что «теперь к вам будет другое отношение». А я, как огня боялась этого «другого отношения», оно мне слишком долго было известно раньше...

Незадолго до моего отъезда в Индию, ко мне приехала директорша музея Сталина из Грузии, гордая тем, что Брежнев разрешил снова открыть музей. Мне было неловко перед бедной директоршей, которая была так счастлива, а я не разделяла ее радости. Я понимала, что если Брежнев встанет на путь «восстановления заслуг Сталина», то это будет ужасно для СССР, и не только для одного СССР...

Директорша ликовала, приглашала меня в Гори в свой дом, а я живо представляла себе, что бы там творилось вокруг меня. Мне было жаль ее и других грузин, все еще одурманенных ложью, которая выглядела величественно, а потому легко принималась бесхитростными сердцами. Это хорошо понимали консерваторы в ЦК, и надеялись играть на этих заблуждениях.

К сожалению, не только консерваторы. К моему удивлению даже Микоян – тот самый Микоян, который дал мне читать «речь Хрущева», теперь вдруг забыл то, что он сам говорил на 20-м съезде... Летом 1966 года он пригласил меня с детьми на свою дачу, и несколько раз за обедом вспоминал моего отца в мягких примирительных тонах. А когда мы уезжали, он вынес большой сверток и дал моей Кате со словами: «А это тебе подарок, – ковер. Повесишь на стену». Дома мы развернули ковер – на нем был выткан портрет Сталина... Катя смущенно посмотрела на меня и очень обрадовалась, когда я свернула ковер и убрала. В ее сознании мой отец не присутствовал ни как дед, ни как «великий вождь». Ее этому никто не учил.

Бывшим «соратникам» трудно забыть прошлое. Вместе создавали все то, что потом назвали «культом личности». Вместе задавили оппозицию, закрывали глаза на уничтожение своих бывших товарищей, поддерживали «культ» потому, что он был и их властью, а лишаться власти так не хотелось! Потому и не могли они восстановить подлинную историю партии: это была бы картина полного саморазоблачения.

С каким единством все они бросились заткнуть рот Солженицыну, за один лишь день, за «Один день в жизни Ивана Денисовича»! Как испугались, что станут известны всему миру тысячи других дней остальных миллионов мучеников!

Одиннадцать лет правления Хрущева будут помнить потому, что он попытался назвать вещи своими именами. Робкие, половинчатые попытки этого жизнелюбивого, веселого самодура сломали многолетний лед молчания. Лед тронулся и пошел. Его теперь никому не остановить, все больше открываются и бурлят воды реки...

Для меня было намного труднее освободиться от мифов и лжи, чем для любого «сталиниста». Все, что охватывает собой этот политический термин всегда было чуждо мне. Но мне было труднее поверить в то, чем действительно был мой отец для России просто потому, что это было слишком страшно для меня. И чем больше и глубже я понимала правду, тем страшнее для меня она становилась. Даже когда я уже знала многое, мне еще долго представлялось, что отец был сам жертвой системы, а не ее создателем и двигателем.

Нет, жертвами были другие, жертвами были миллионы людей – и моя мама... А он дал свое имя системе кровавой единоличной диктатуры. Он знал, что делал, он не был ни душевно больным, ни заблуждавшимся. С холодной расчетливостью утверждал он свою власть, и больше всего на свете боялся ее потерять. Поэтому первым делом всей его жизни стало устранение противников и соперников, – а потом уже все остальное. В пореволюционной России он воскресил абсолютизм, террор и тюрьмы, бюрократию и полицию, шовинизм и империалистическую внешнюю политику. В стране, где демократия в 1917 году оказалась выкидышем истории и умерла тут же после рождения – это только укрепляло его власть и славу. В Англии, Франции, Америке такая система не смогла бы возникнуть. Тоталитарные идеологии создают тоталитарные режимы – в этом смысле коммунизм ничем не отличается от фашизма.

Отец был «инструментом» идеологии, захватившей власть в октябре 1917 года. Основы однопартийной системы, террора, бесчеловечного подавления инакомыслящих были заложены Лениным. Он является истинным отцом всего того, что впоследствии до предела развил Сталин. Все попытки обелить Ленина и сделать его святым и гуманистом бесполезны: 50 лет истории страны и партии говорят другое. Сталин не изобрел и не придумал ничего оригинального. Получив в наследство от Ленина коммунистический тоталитарный режим, он стал его идеальным воплощением, наиболее закончено олицетворив собою власть без демократии, построенную на угнетении миллионов людей, где физически уцелевшие сведены до положения рабов, и лишены права творить и мыслить. В поработанной и полузадушенной стране, опираясь на трусливую и немую клику сообщников, он создавал уже соб-

ственный вариант псевдосоциализма. И старый анекдот 20-х годов воплотился в правду: «построить социализм можно, но жить в нем – нельзя». В построении этой полутюрьмы-полуказармы и заключались «великие исторические заслуги» моего отца...

Однажды поняв все это, уже нет хода назад. Невозможно было закрывать глаза на то, что я видела вокруг. Просто осудить, а потом умыть руки, отойдя в сторону, было недостаточным. Нетрудно осудить сталинизм как политическое явление и как исторический период – слишком непривлекательным он был. Но нужно было что-то делать самой, жить иначе. Тени прошлого окружали меня в СССР плотным кольцом. Сейчас, здесь в Лакхнау, я понимала, что если я найду в себе силы не возвращаться назад, то это и будет для меня, наконец, спасением, и только тогда станет возможной другая, новая жизнь. Сама судьба поставила меня перед выбором...

Я понимала, что для меня это означает бесповоротный разрыв с коммунизмом вообще. Тем лучше! Тем честнее будет моя позиция, чем она могла бы быть в СССР. Там меня снова ждет «коллектив»; порвать там с партией открыто, критиковать, протестовать, – значило бы разрушить жизнь моих детей. Всякая подпольная, подспудная деятельность, конспирация, двойная жизнь всегда меня отталкивали.

Нет, я могу жить и действовать только открыто и свободно. И так, чтобы мои дети были бы совершенно отделены от меня, и не несли бы за меня никакой ответственности...

Все это возможно для меня только вне СССР.

Единственный выход

Легкий самолет летел из Лакхнау в Дели, с остановкой в Канпуре. Аэродром был далеко от города, пассажиры вышли погулять по сухому, выжженному полю. Я была одна, гуляла, рассматривала пассажиров и мысленно представляла себе, как я смогу пойти в посольство США, – но не была уверена, сделаю ли я это.

Самолет в Москву летел 8 марта, сегодня – пятое, еще два дня в Дели, что-нибудь куплю детям. По мере того, как возвращение домой становилось ощутимой реальностью, мне все сильнее хотелось увидеть детей. Два с половиной месяца – так надолго мы еще никогда не разлучались! Но, одновременно с этим все страшнее было думать, что я вернусь к своей прежней жизни, и все снова будет так, как было. Эти противоположные чувства нарастали одновременно с одинаковой силой и я чувствовала себя разодранной надвое и как-то парализованной, но никто не мог бы догадаться на каком напряжении держалось это мнимое спо-

койствие. Я чувствовала, что все силы собраны и напряжены, как перед прыжком, и нужен только маленький толчок, последняя капля, которая вдруг перевесит и все решит...

Этой «последней каплей» оказалась встреча с советским посольством в Дели – с советским миром, от которого я уже успела отвыкнуть.

На аэродроме Палам меня встретил Динеш, что было чрезвычайной любезностью с его стороны. Он был так счастлив, что я уеду через два дня, что опять превратился в милого молодого человека, сбросив маску неприступного махараджи. Сейчас он уверял меня, что непременно устроит мне на будущий год приглашение в Индию вместе с моими детьми. Он предлагал оставаться в его доме вплоть до отъезда, но я отказалась: мне хотелось быть оставшееся время одной, в каком-то нейтральном месте, где я смогла бы успокоиться, решиться... А если я решусь, то советская гостиница совсем недалеко от американского посольства, и меня никто не спросит куда и зачем я иду.

Пусть никто ничего не знает и не подозревает возможно дольше. Сейчас я хотела быть абсолютно независимой, чтобы никто не мешал мне услышать мой внутренний голос. Если я решусь – то знаю, что дороги назад не будет никогда.

Пятого марта днем я была в доме у Динеша. Вечером обедала у Кауля с его семьей. Кауль говорил то же самое, что и Динеш – надо ехать в Москву, а позже они устроят мне приглашение вместе с детьми. По-видимому, он тоже никак не мог дождаться моего отъезда, а в эти оставшиеся дни в Дели ему хотелось знать буквально каждый мой шаг.

«Приходите к нам опять завтра вечером, – сказал он. – „Я буду на приеме с маршалом Захаровым в советском посольстве; Прити заедет за вами, я вернусь рано. А седьмого – в последний вечер – я устрою вам прощальный обед“.

Неожиданно он спросил: «А ваша рукопись у вас?» Повинуясь безотчетному чувству самосохранения я ответила: – «Нет! Я ее отослала в Париж». Кауль молча дымил трубкой и я быстро перевела разговор на другую тему. Я боялась, чтобы в посольстве не узнали про рукопись и не забрали бы ее у меня. Я боялась, что Кауль вдруг догадается, что я собираюсь сделать, – вот сейчас взглянет на меня и все поймет...

Вечером я вернулась в дом Динеша, где уже все спали. Наутро, шестого марта, едва мы позавтракали, приехал Суров. Динеш пригласил меня на прощальный ланч на следующий день и мы поехали с Суровым в посольскую гостиницу.

Едва я только села в машину к Сурову и мы заговорили по-русски, как меня охватила мрачная скука. Вот опять гостиница, и все

та же сестра-хозяйка с украинским говором, которую я видела здесь в декабре. Там она передала меня в руки другой такой же пухлой украинки. В столовой суетились, готовясь к вечеру по поводу Международного Женского Дня, о чем оповещала висевшая здесь афиша. Доклад. Художественная часть. Советская колония живет здесь своей жизнью, отделенной от Индии непроходимым барьером.

Я совсем отвыкла от этой жизни. До чего унылая эта столовая, и клуб, и этот вечный «международный женский день» – один из поводов напиться! Все напьются вечером, ведь умирают со скуки, варятся в собственном соку.

Я вышла во двор. Жены и дети посольских работников сидели на скамеечках. Ни одного приветливого лица. Ни одной улыбки. Все толстые, разъевшиеся. Одеты намного лучше, чем в Москве: для этого они и едут за границу, покупают вещей, которые потом будут перепродавать в СССР на черном рынке, ругая при этом капитализм. Ах, вы, лицемеры! Наверное, все партийные. Как же, иначе не поедешь за границу и не купишь этих тряпок. А ночью, на ушко друг другу ругают и эту самую партию...

Мне становилось все мрачнее. В тягостном унынии я отправилась на ланч к послу, куда был приглашен и Суров с женой. Ланч был у посла Бенедиктова дома. Официальная дорогая безвкусица, всюду ковры, плохие картины в золоченых рамах. Все роскошное, блестящее, но не на чем остановить глаз. Такая же роскошная и тяжеловесная мадам Бенедиктова с официальной улыбкой. А вот и высокий, огромный Иван Александрович Бенедиктов, с неподвижным, как монумент, лицом. Нам не приходилось встречаться в Москве, мы видимся впервые. Все очень любезны. Все счастливы, что я уезжаю, наконец, в Москву и посольство доложит об успешном окончании мероприятия. Бенедиктов делает широкий жест в направлении стола, который ломится от закусок, бутылок и всевозможной еды.

В глазах рябит от этого изобилия. Мне вполне хватало скудной, но вкусной индийской пиццы со стаканом воды из колодца и крепким гималайским чаем. Я не ела мяса в Индии, – да его и нет в деревне. Постная вегетарианская пицца мне полезнее из-за почек; я лучше себя чувствую, когда не пью вино и не ем мяса. Водку с селедкой не люблю, потому что слишком много ее пил мой брат, ставший алкоголиком. И я отказывалась почти от всех яств и напитков, которые мне предлагались. Бенедиктов не мог скрыть раздражения: «Ну, вы уж не очень-то поддавайтесь здешним привычкам!» – буркнул он. – «Возьмите вот селедочки, по-нашему, по-русски!»

«Да, мы не можем отвыкнуть от нашей, русской пищи!» – пропела мадам Бенедиктова, – «много, много едим, ничего не скажешь!» Суров и его жена с удовольствием налегали на угощение. Все ели, как голодные.

У молоденькой жены Сурова было миловидное лицо, но что-то металлическое и холодное в глазах, которые она отводила от меня в сторону. Я сильно похудела в деревне и была рада этому, но должно быть здесь считали, что я «изголодалась».

«Да ешьте, ешьте, смотрите какая вы худая!» – воскликнула мадам Бенедиктова, с каким-то отчаянным раздражением.

«Нет, благодарю», – сказала я сухо. Мне так хотелось уйти от этих людей!

«Приходите к нам на вечер в клуб сегодня!» – вдруг нашелся Суров. – «Вот моя супруга сделает доклад о международном женском дне, потом будет концерт».

«У нас здесь отличная самодеятельность!» – оживилась жена Сурова, очевидно, партийная активистка.

Доклад! Самодеятельность! Да неужели нельзя жить без всех этих коллективных фальшивых чувств?

Как я отвыкла от всего этого, – и как быстро... Два с половиной месяца я была сама собою, дышала вольно, и люди вокруг меня не были частями механизма. Они были нищими, голодными, у них была тысяча своих забот, но каждый был свободен говорить то, что он думает, свободен выбирать то, что он хочет.

Индия раскрепостила и освободила что-то внутри меня. Здесь я перестала чувствовать себя частицей «государственной собственности», которой я была в СССР всю жизнь. И хотя я вполне трезво понимала, что для индийского правительства я была такой же «собственностью», – в этом у меня не было никаких иллюзий, – но внутренне я уже непоправимо освободилась от этого вечного рабства.

Разговор за столом никак не клеился. Бенедиктовы были туристами в этой стране; я больше видела и поняла, прожив два месяца в деревне. Они все мечтали «отбыть свой срок», закупить тряпок и уехать домой. Для самого Бенедиктова служба в Индии была ссылкой, в которую послал его Хрущев, разжаловав из министра сельского хозяйства. Его не трогала эта чужая страна, где ему было жарко и скучно.

После долгого застолья, наконец, перешли в гостиную и посол сказал:

«Ну, я думаю, вы должны быть довольны вашей поездкой. Видите, вам пошли на уступки, вы пробыли дольше, чем предполагалось, отдохнули. Мне кажется, вам не на что обижаться!» – внушительно подчеркивая последние слова, он взглянул на меня

тяжелым взглядом недобрых, хитрых глаз.

Я проглотила это назидание, этот взгляд и сдержалась. Я желала сейчас только одного: чтобы мне отдали в руки мой паспорт, отобранный у меня в первый же день по приезду в Дели. Кроме паспорта у меня не было никакого удостоверения личности. Я попросила, чтобы паспорт мне отдали сейчас – не очень надеясь, что это будет сделано: по правилам паспорт должны вернуть мне только перед выездом на аэродром. Но посол Бенедиктов был так рад моему отъезду, что радость превысила в нем все остальные соображения. Он бодрым голосом велел Сурову принести паспорт и собственноручно мне его отдал, сказав: «А вашим детям мы пошлем телеграмму, чтобы встречали вас».

Это было совсем ни к чему... Я умышленно не хотела посылать им телеграммы, но спорить с Бенедиктовым сейчас было неуместно.

Он пригласил меня на вечер в клуб, – я отказалась, сославшись на то, что поеду к Каулю. Бенедиктов поморщился:

«Этот Кауль – английский разведчик!» – бросил он небрежно, как давно известное. Мне оставалось подавить смех: индийские газеты называли Кауля «правой рукой советского посольства».

«Я знала его дочь еще в Москве, она заедет за мной», – пыталась я объяснить. Но посол только усмехнулся: ему было все равно, что я буду делать в последние дни.

Мне тоже было теперь безразлично, что еще скажут посол и мадам, которые с трудом скрывали раздражение всем, что я делаю и говорю. Я взяла паспорт, попрощалась и ушла к себе в гостиницу, где, наконец, осталась одна, легла на кровать и закрыла глаза.

Было около трех часов дня.

Так что же мне делать?

Если я лечу послезавтра в Москву, то надо отдохнуть, пойти вечером к Каулю, как условились, а завтра сделать последние покупки. Если нет... Если нет...

Я вдруг встала и начала перекладывать вещи из большого чемодана в тот, который поменьше. Не потащу же я с собой большой чемодан в посольство США. Впрочем, можно вызвать такси и доехать туда. Да, так лучше, и никто не знает, куда я еду! Каждый может вызвать такси, это выглядит обычно.

Я вдруг все бросила и пошла к воротам: там вахтер – индеец, он наверное знает, как вызвать такси. Вахтер в тюрбане назвал мне номер: 75-777, и показал где в другом здании был телефон на лестнице.

Я пошла обратно в комнату, положила папку с рукописью на самое дно чемодана и быстро сложила в него все остальное. Вот

так, завтра с самого утра, после завтрака я вызову такси. Они знают, что я завтра должна быть у Динеша, мало ли зачем мне нужен чемодан с собой. Большой мой чемодан и половина вещей останется в комнате, они долго не догадаются где я... Вот так. А теперь отдохну немного.

Но покоя не было. Я встала и включила утюг, решив почему-то выгладить зеленый индийский платок, чтобы взять его с собой. Платок мне подарила Пракаш. Она связала свитер для Кати. Все подарки детям сложены в саквояж, я вдруг вспомнила о них. Получат ли они их без меня, как память об Индии и обо мне? Вряд ли посольство отошлет обратно в Москву мои вещи, хотя обязаны бы...

Я сидела и смотрела на саквояж с подарками и моя решимость угасала... Эти звенящие браслеты я выбирала для Кати и ее подружки Тони в Лакхнау, в лавчонках Назир-Абада, и эти шитые золотом домашние туфли для Оси и Леночки, а эту смешную хукку для моего сына купила в Бенаресе.

Я сидела, опустив руки...

Утюг накалился и трещал. Я стала гладить шелковый платок и это снова вернуло меня к мыслям о пальто, чемодане, о том, что я возьму, когда вызову такси. Чемодан будет в руке, пальто на другую руку... Вечером прохладно, можно надеть на себя.

Да, лучше вечером, – почему я решила завтра утром? Днем все на виду, сейчас уже темнеет, мало фонарей. Да, надо сегодня, сейчас же, зачем я откладываю? Надо быстро решать, зачем мне еще один обед у Кауля? Когда должна приехать Прити за мной? Я не помню точно, в 7 или 8 часов? Не помню. Если она приедет, значит я должна ехать с ней. Нет, надо уйти до этого. Сколько времени?

Было начало седьмого. Стемнело. Надо сейчас же идти, нельзя откладывать. Вдруг какая-то сила начала меня торопить и подгонять: скорее, скорее, сейчас, сегодня. Завтра не получится, ты раздумаешь. Утром везде полно народу, – сейчас, быстро!

Я вышла и пошла вызвать такси. На лестничной площадке было темно, я с трудом набрала номер. Индиец не понимал, куда ехать: «Русское посольство?» – «Нет, нет, русская резиденция!» – повторяла я, как объяснил мне вахтер у ворот.

Я пошла туда, к воротам, и спросила вахтера – скоро ли приезжает такси после вызова. Он сказал, что это близко, так что скоро. Я стояла у ворот, топчась на месте, прогуливаясь взад и вперед. Подъезжали какие-то машины, гости съезжались в клуб на вечер слушать доклад и «самодеятельность». На меня никто не обращал внимания – ничего необычного в том, что человек стоит тут, кого-то ждет.

Нервы натягивались. Что если Прити со своей машиной придет раньше? Я вздрагивала от света фар каждой машины: кто это? Прити или мое такси? Такси не появлялось.

Я смотрела на часы, и не знаю сколько было времени, но я простояла так у ворот минут двадцать, а может быть дольше. Такси не приехало. Прити тоже не было. Но я упряма, благодарение Богу! Пошла снова к телефону, позвонила еще раз и вышла к воротам опять.

Через пять минут из-за угла слева вынырнул старенький автомобильчик – дельийское такси. За рулем улыбался сикх в тюрбане, рядом с ним сидел другой. Они распахнули мне дверцу. – «Минуту!» – сказала я и бросилась в свою комнату за чемоданом и пальто.

Такси не выключил мотора, дверца была открыта. Я села позади.

«Вы знаете, где американское посольство?»

«Да, оно совсем рядом».

Мы свернули в боковой темный переулок, – так было ближе, какой умница водитель! Проехали позади советского посольства, обогнули сбоку посольство США – и через минуту уже развернулись у его главного входа, ярко освещенного. Сикхи помогли мне достать чемодан, я отдала им несколько рупий и, не очень твердо держась на ногах, пошла наверх по широкой, длинной лестнице. И только когда я перешагнула порог – что-то отпустило внутри, отлегло, и вдруг все стало легко и просто...

У небольшого столика стоял высокий, совсем молодой голубоглазый *marine gard*. Сначала он объяснил мне, что уже никого нет, но потом увидев красную обложку советского паспорта что-то понял и быстро провел меня в маленькую комнату, рядом с вестибюлем. Я села на стул у стены, поставила чемодан, положила на него пальто, и стала ждать – не знаю кого, не знаю чего. Мне было все равно, – будь что будет.

Я, как пловец, едва добралась до другого берега, стала ногами на землю и могла, наконец, перевести дыхание. Это была неведомая земля, и я не задавала себе вопросов – что будет дальше.

Как хорошо добраться до другого берега живой и невредимой! А о деталях незачем волноваться: хуже, чем было – не будет. Все, что будет – будет лучше, чем тот берег, который я оставила навсегда.

Ну, что ж, пойдете в другую комнату, поговорим, выясним, запишем. Мне нечего скрывать, я пришла без щита и забрала, мое сердце раскрыто. Я решилась. Теперь – выбирайте и решайте вы.

II. Интерлюдия

Встреча с Западом

Стеклянная дверь американского посольства в Дели была для меня входом в западный мир, с которым я не встречалась до того, и я не знала, как этот незнакомый мир встретит меня. Ничего не знали обо мне и в посольстве США. Вечером 6-го марта мы удивленно разглядывали друг друга, улыбаясь и недоумевая.

Полтора месяца, последовавшие вслед за этим, были временем взаимного знакомства. Я ожидала найти доброжелательность и помощь – и нашла их, почувствовав с первой же минуты, что что-то решится, что-то «образуется», не тревожась о деталях, целиком доверившись ходу событий.

Я не обманулась, постучав именно в эту стеклянную дверь. Поток, в который я вошла, понес меня плавно и быстро, и уже 22 апреля я очутилась в аэропорте Кеннеди, обретя за это недолгое время доброжелательных друзей в США, туристскую визу на полгода в эту страну, авторитетных адвокатов и издателя рукописи, которую принесла с собой в чемодане. После бесконечных запретов, секретности, давления и унижения человеческого достоинства, среди которых я привыкла жить, мне казалось теперь, что некий ангел-хранитель нес меня на своих крыльях.

Прочтя в Индии книгу посла Честера Боулз «Посольский доклад», я представляла себе ее автора как человека, который поймет меня и что-то сделает, чтобы помочь. Я не знала, что именно, – понятия не имея о дипломатических формальностях и политических трудностях, среди которых мы очутились, и из которых нужно было найти выход. Посол был в тот вечер нездоров и был уже дома в постели, когда ему сообщили о «советском перебежчике». Я так и не видела его в Дели, и лишь спустя три месяца, в июле, мы встретились, наконец, в его доме в Эссексе, Коннектикут. Сколько мы говорили тогда, вспоминая тот вечер, столь памятный нам обоим!.. Я безусловно обязана моей новой жизнью, прежде всего, доверию и доброжелательности посла Честера Боулз, взявшего на свою ответственность быстрое и независимое решение.

Позже он рассказывал мне, что он был поставлен перед выбором из трех возможностей: а) отказать мне в помощи и убежище, – что он счел невозможным, из-за традиций Америки и своих личных убеждений; б) предоставить перебежчику убежище в Доме Рузвельта в Дели, известить правительства Индии и СССР и ждать решения дела через суд, что вызвало бы огромный шум в

прессе и неизбежные конфликты между США, СССР и Индией. Наконец, в) помочь мне выехать из Индии быстро, легально и без шума, – что и решено было сделать.

Благодаря легкомыслию посла СССР Бенедиктова у меня в руках был советский заграничный паспорт, действительный на два года, что очень упрощало положение. Сейчас мне требовалась лишь индийская виза на выезд и я могла лететь из Дели любым самолетом в любом направлении. Ближайший самолет австралийской компании «Кантас» вылетал в Рим в эту же ночь.

Честер Боулз, лежа в постели, обсуждал этот вариант по телефону со своими коллегами, сидевшими со мной в одной из комнат посольства, и по очереди выходявшими звонить ему. Но главное беспокойство для всех них представлял в тот момент вопрос: что, если эта дама совсем не та, за кого она себя выдает, а просто сумасшедшая, или вся история является лишь трюком советской разведки?...

Я благодарна всем четверым: консулу Джорджу Хьюи, второму секретарю Роберту Рейлу, Роджеру Керку и, конечно, послу. Они рискнули поверить мне на слово во всем, что я им говорила, и, не дожидаясь ответа из Вашингтона, помогли мне немедленно выехать из Дели. Каким огромным облегчением было для них всех убедиться, когда я была уже в Риме, что все было не трюком, а правдой!

После того, как *marine guard* провел меня в маленькую комнату возле входа, первым, кого я увидела, был Джордж Хьюи, высокий и полный, в пестрой рубашке навыпуск. Затем пришли еще двое молодых людей – второй секретарь Рейл, в очках, и брюнет в голубом пиджаке Роджер Керк. Все они выглядели для меня, как те самые типичные американцы, которых я видела, главным образом, в кинофильмах...

Я отдала им свой паспорт, быстро объяснив кто я и как очутилась в Индии, и заявила, что не хочу больше возвращаться в СССР и прошу мне в этом помочь. Они заглянули по очереди в мой паспорт, где я значилась как гражданка Светлана Иосифовна Аллилуева, и консул Хьюи спросил: «Так вы говорите, что ваш отец Сталин, тот самый Сталин?» – «Да», – ответила я, – «да», – не улавливая в его тоне ничего особенного.

Мы говорили по-английски, со мной были приветливы и вежливы, и мне в голову не приходило, что мое появление здесь было равнозначно неожиданному визиту марсиан, и что моя личность может вызвать сомнения.

Мне предложили написать заявление, изложив мои мотивы и сопроводив это коротким перечнем основных событий моей жизни, начав со дня и года рождения. Для этого мы все пошли на

второй этаж в пустой кабинет и расположились там.

Прежде всего, чтобы не вызвать ничьих подозрений, я попросила разрешения позвонить Прити Кауль, и под каким-нибудь предлогом объяснить ей, что сегодня вечером я к ним не приеду. Прити была уже дома. Она очень удивилась не найдя меня этим вечером возле ворот гостиницы, как было условлено. Я сослалась на усталость, извинилась и сказала, что буду у них обедать завтра вечером, как мы раньше договорились. Все было в порядке. Если бы Прити знала, откуда я звоню ей!

О советском посольстве я не волновалась: там был сейчас прием военной делегации, все пьют, обо мне не думают.

Остальные пьют сегодня в клубе, отмечая наступающий Международный Женский день, и им тоже не до меня. Спихватятся лишь завтра, когда меня уже здесь не будет...

У меня трещала голова от благополучного разрешения всех пережитых в этот долгий день волнений. Мне принесли чаю и аспирина. В комнате что-то неприятно жужжало и я спросила, что это такое.

«Это эйр-кондишн», – ответили мне, удивившись моему неведению.

Мне было странно спокойно и как-то обычно с этими тремя симпатичными молодыми людьми, которых я не воспринимала как «иностранцев». Должно быть, за два с половиной месяца в Индии я уже привыкла смотреть на людей просто как на людей. Я искала и находила в индийцах – и теперь в этих американцах – не то, что отличает их от нас, русских, а то, что общее нам всем. И они казались мне похожими на кого-то, кого я уже давно знаю...

Что же я им напишу? Как мне объяснить, что привело меня сюда? Выпив несколько чашек чаю с аспирином, я написала по-английски следующий документ:

«Я родилась в Москве 28 февраля 1926 года. Мой отец – Иосиф Сталин, моя мать – Надежда Аллилуева. Моя мать умерла в ноябре 1932 года, и до 16-ти лет я не знала, что она покончила самоубийством. Она была на 22 года моложе моего отца, он знал ее родителей с 90-х годов: ее родители тоже участвовали в социал-демократическом движении. Мои родители поженились после октябрьской революции.

Моя мать была второй женой моего отца. Первой женой его была Екатерина Сванидзе, грузинка, которая вскоре умерла, оставив сына Якова. Несмотря на то, что он был намного старше меня, он был моим большим другом, гораздо большим, чем мой родной брат Василий.

Я окончила в Москве в 1943 году десятилетнюю школу и в тот же год поступила в Московский Университет. Я окончила универ-

ситет в 1949 году по специальности – Новейшая История.

Еще будучи студенткой я вышла замуж за Григория Морозова, моего первого мужа, тогда – тоже студента. В мае 1945 года родился наш сын Иосиф. Мой муж был тогда студентом Московского Института Международных отношений. Мы разошлись в 1947 году и мой сын остался со мной. Г. Морозов занимается сейчас международным правом, недавно он опубликовал книгу об ООН, которая известна в США. Он часто ездит за границу для встреч со своими коллегами, он был в Канаде, в Париже, в Варшаве. Мой отец никогда не одобрял наш брак, потому что Морозов был евреем, и отец никогда не встречался с ним. Но он никогда не настаивал, чтобы мы разошлись.

В 1949 году я вышла замуж за Юрия Жданова, сына Андрея Жданова. Мой отец тепло относился к нему и желал нашего брака. Но брак был неудачным и, несмотря на то, что в 1950 году родилась наша дочь Екатерина, мы вскоре разошлись.

С тех пор я жила с моими двумя детьми. Я немного работала, делала исследовательскую работу по истории и русской филологии. Позже я делала переводы для издательства. Некоторые мои переводы опубликованы: 1) «Мюнхенский стовор», Эндрю Ротштейн (Лондон). 2) «Человек и эволюция», Джон Льюис (Лондон). Я также работала для издательства Детской Литературы в Москве, переводила с английского.

Смерть моего отца в марте 1953 года мало изменила мою жизнь. Я жила тогда отдельно от него (последние 20 лет он жил на своей даче в Кунцево, под Москвой). Моя жизнь была, как всегда, простой. Такой же она осталась и после смерти отца.

Мой брат Яков был взят в плен немцами в августе 1941 года в Белоруссии. Когда мой отец был в Берлине в 1945 году, участвуя в Потсдамской конференции, ему сказали, что перед тем, как американцы освободили лагерь, Яков был расстрелян немцами. Некий бельгийский офицер написал моему отцу, что он был свидетелем смерти Якова. Много лет позже появилась статья одного шотландского офицера в английском журнале, о том же факте. Но семья Якова так и не получила официального сообщения о его смерти из той армейской части, где он служил. Иногда его дочь, жена и я думаем, что быть может он жив где-либо: так много русских военнопленных осталось в разных странах вплоть до сегодня.

Мой брат Василий был летчиком, после второй мировой войны он был генералом и командующим авиацией московского военного округа. После смерти моего отца он оставил армию и вскоре был арестован. Это случилось потому, что он угрожал правительству, говорил, что «отца убили соперники» и тому подобные ве-

щи, в то время как многие слушали его, – и его решили изолировать. Он оставался в тюрьме до 1961 года, когда уже совсем больной он был освобожден Хрущевым и вскоре умер. Причиной его смерти был алкоголизм, совершенно разрушивший его здоровье и, конечно, – семь лет тюрьмы. Но до сих пор многие верят, что он не умер и часто спрашивают меня – правда ли, что он в Китае?

Фактически, у меня нет сейчас близких родственников, кроме моих детей Иосифа и Екатерины.

Теперь об Индии.

В 1963 году, находясь в Кунцевской больнице, я встретила индийского коммуниста Баджеш Сингх, который приехал в Москву по приглашению КПСС, для лечения. Такие приглашения рассылаются каждый год всем компартиям мира.

Баджеш Сингх принадлежал к старой аристократической индийской семье. Его племянник, Динеш Сингх, является сейчас государственным министром иностранных дел. Баджеш Сингх вступил в компартию Индии в Европе в ранние 30-ые годы. Он бывал много раз в Англии, Германии, Франции и в то время он стал близким другом и последователем М. Н. Роя. Обладая хорошим образованием, индусским и европейским он влиял на всех, кто знал его.

Он уехал обратно в Индию в 1963 году (из Москвы) и потом вернулся снова в апреле 1965 года, чтобы работать в издательстве «Прогресс» в качестве переводчика. С этого времени он жил с нами, в моем доме, и мы собирались вступить в брак. Мы хотели также поехать вместе в Индию, после того, как окончится его трехлетний контракт с издательством.

Но советское правительство и лично Косыгин резко возражали против нашего брака. Несмотря на то, что советские законы разрешают браки с иностранцами, это не распространяется на таких людей, как я. Нам это не позволили сделать, так как советское правительство боялось, что однажды я поеду с мужем в Индию и останусь там.

Баджеш Сингх оставался в Москве полтора года. Он жил у нас, все мы – мои дети и я – очень любили его, и он был в самом деле уважаемым и любимым членом нашей семьи. Но все эти препятствия и потрясения были ударом для него. Его здоровье было всегда слабым (он много лет страдал от астмы), и в Москве оно становилось все хуже и хуже. Он умер в Москве 31 октября 1966 года. Я считала своим долгом отвезти в Индию его прах, где он должен был быть брошен в Ганг.

Для того, чтобы поехать в Индию с этой печальной миссией я должна была получить специальное разрешение от Косыгина; он дал его, но всего лишь на две недели. Тем не менее, мне удалось

остаться здесь дольше, так как в Индии я встретила родных и друзей моего мужа и я начала серьезно думать о том, чтобы остаться в Индии. Но я обнаружила, что это невозможно – ни Индийское, ни Советское правительства не дали бы мне это сделать.

Я должна сказать, что причины, из-за которых я не хочу возвращаться в СССР заключаются не только в этом. Меня с детства учили коммунизму, и я верила в него, как и все мое поколение. Но, постепенно, с возрастом, обретая опыт, я начала думать иначе. Годы Хрущева, некоторое расширение свобод, 20-ый съезд партии сделали много для моего поколения. Мы начали думать, обсуждать, спорить, и больше не были автоматически привержены идеям, которым нас учили.

Кроме того, большую перемену во мне сделала религия. Я выросла в семье, где не было разговора о Боге. Но когда я стала взрослой, я нашла, что невозможно существовать без Бога в сердце. Я пришла к этому сама, без чьей-либо помощи или проповеди. Но это было огромной переменной для меня, потому что с этого момента основные догмы коммунизма потеряли для меня свое значение.

Я верю в силу интеллекта в мире, – в любой стране, где бы ни жить. Мир слишком мал и слишком мал род человеческий в этой вселенной. Вместо борьбы и бесполезного кровопролития люди должны бы больше работать вместе для прогресса человечества. Это единственное, что для меня важно – работа учителей, ученых, образованных священников, врачей, адвокатов, – их работа повсюду в мире, невзирая на государства и границы, политические партии и идеологии. Для меня не существуют капиталисты или коммунисты – есть лишь хорошие или плохие люди, честные или лживые, – и в какой бы стране они ни жили, люди одинаковы повсюду, их надежды и нравственные идеалы одни и те же. Мой отец был грузин, а мать была очень смешанной национальности, и хотя я прожила всю свою жизнь в Москве, я верю, что дом может быть всюду. Индия – это моя любовь с юных лет, быть может потому, что учение Махатмы Ганди согласуется с моими взглядами, – а не коммунизм.

Я надеюсь, что когда-нибудь я смогу снова приехать в Индию и остаться здесь навсегда.

Мои дети в Москве, и я знаю, что, возможно, не увижу их долгие годы. Но я знаю, что они поймут меня. Они тоже принадлежат к новому поколению в нашей стране, которое не хочет, чтобы их дурачили старыми идеями. Они тоже хотят делать свои собственные заключения о жизни.

Пусть им помогает Бог! Я знаю, они не откажутся от меня, и когда-нибудь мы встретимся, – я буду ждать этого.

6-е марта, 1967. Нью-Дели.

Светлана Аллилуева».

Написав все это залпом, в каком-то вдохновении, я считала, что сказала все, что могла.

Я не задавала вопросов. Было совершенно очевидно, что все обсуждается с послом, и дальше с официальными инстанциями. У меня было достаточно жизненного опыта, чтобы понимать, что, вероятно, уже запросили Вашингтон, хотя мне никто об этом, конечно, не говорил. Это и так было ясно всем, кто находился в этой комнате.

Мы говорили об Индии. Я рассказала о Калаканкаре, о своем желании построить там больницу и, наконец, о рукописи, которая лежит у меня в чемодане, которую я надеюсь издать за границей. Я повторила несколько раз, что это я сделаю непременно, как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба. Я сказала сразу же, что рукопись – это история нашей семьи, а не политический документ. Меня попросили показать рукопись и на некоторое время унесли ее куда-то.

Тем временем Роджер Керк спросил меня: – «Как вы думаете озаглавить вашу книгу?»

«Мне хотелось бы самое простое заглавие, то, что есть на самом деле – двадцать писем к другу. Вы думаете, мне удастся ее издать?» – спросила я о том, что мне самой все еще представлялось неосуществимой фантазией.

«Конечно», – сказал Керк, и улыбнувшись добавил, – «а вы пришлете мне экземпляр с автографом?»

«Да, конечно», – сказала я, удивляясь тому, что уже сама верю в это...

Наконец выяснилось, что самым наилучшим сейчас будет вылететь как можно скорее из Дели, чтобы не создавать осложнений.

Большого мне пока никто не обещал.

Сейчас мы поедем на аэродром, самолет на Рим скоро вылетает, а там выяснится, что будет дальше. Ну, что же – прекрасно! Этого было для меня вполне достаточно. Хорошо, что этот милый молодой человек – второй секретарь посольства – летит со мной, и не оставит меня, пока не будет ясно, что дальше. Чудесно! Там увидим. «Образуется!» – любим говорить мы в России, не зная, но веря и надеясь...

Боб Рейл сел возле меня.

«А вы понимаете, что сжигаете все мосты за собой?» – спросил он серьезно, – «подумайте, готовы ли вы к этому?»

«Я долго думала», – ответила я, – «у меня было время подумать. Я понимаю».

Мы пошли коридорами и лестницами, спустились лифтом прямо в гараж под посольством, и я села в машину со своим чемоданом, в своем московском пальто, повязавшись зеленым индийским платком, который зачем-то выгладила еще в советской гостинице... Севший за руль человек улыбнулся мне. Другой сел с ним рядом и тоже улыбнулся. Отчего это американцы так часто улыбаются? Вежливость или веселое состояние духа, не знаю, – но это так непривычно и так приятно! И мы поехали в аэропорт Палам – в тот самый, куда я прилетела из Москвы.

Все это было почти неправдоподобно, и совсем как во сне; к тому же была поздняя ночь. Рейл приехал в аэропорт на другой машине, в зале его ждала миловидная жена, ее лицо было встревоженным. Он быстро перекинулся с ней несколькими словами, взял в руки маленький чемоданчик, и подошел ко мне, конечно, улыбнувшись. Я начинала понимать, что американцы улыбаются, как улыбается здоровый младенец, – это их естественная потребность. Я поймала себя на том, что мне тоже хочется улыбаться в ответ.

Индуска в сари взяла наши паспорта и через пять минут у меня была виза на выезд из Индии. Все было легально, никто не задавал вопросов.

Мы пошли в зал ожидания, где спали в креслах пассажиры самолета «Кантас», летевшего из Австралии, вокруг света – через Сингапур в Дели, дальше через Тегеран в Рим, и оттуда в Лондон. Стюардессы в бирюзовых платьицах и шапочках прогуливались по залу.

Как хорошо, что я пришла в посольство именно сегодня вечером – этот ночной самолет как будто ждал меня! Завтра днем все могло оказаться куда сложнее.

Нам пришлось просидеть в зале на диванчике лишний час, что-то было неисправно в самолете, и отлет запаздывал. Мы выпили по чашке кофе. Рейл и другие двое поминутно оглядывались на дверь, – не идет ли кто из советских. Нет, советские здорово выпили сегодня вечером и крепко спят, а назавтра встанут с головной болью и долго не будут соображать, что происходит. У меня было странное чувство абсолютного спокойствия, я и не думала, что кто-то сейчас может спохватиться обо мне, я летела на крыльях удачи, на крыльях свободы, все будет хорошо, все «образуется»...

«Вы совсем не волнуетесь?» – спросил Рейл с удивлением.

«Нет!» – сказала я, чувствуя, что улыбаюсь, что хочу улыбаться во весь рот, что не в силах сдержать улыбку. Что это со мной? Еще

сегодня утром мрак давил меня как камень. Посол Бенедиктов, Суров, – кто станет с ними улыбаться, да и по какому поводу? Я оторвалась от этих мрачных людей, тяжеловесных, угрюмых, угнетенных и угнетающих... Я перешагнула невидимый рубеж – между миром тирании и миром свободы.

Вот и отлет. Поднялись по трапу. Намаете, Индия, намаете, ты мне подарила свободу.

Спасибо, Браджейш! Вот что ты сделал, вот что ты дал мне, чем я верну тебе такую любовь?..

Швейцарский дневник

Кроме моего заявления, написанного в посольстве США, да отрывочных биографических данных, Запад не знал обо мне ничего достоверного. В Москве, кроме двух послов – Индии и ОАР – никто из дипломатов не знал меня, а эти двое могли лишь поддерживать во всем советское правительство. Оно не замедлило сейчас же инструктировать все свои посольства. Они повсюду начали распространять слух о том, что «Светлана Аллилуева – полусумасшедшая, и нельзя принимать всерьез то, что она говорит». Об этом я узнала через месяц в Швейцарии, где занимавшиеся моими делами официальные представители относились ко мне очень тепло и дружелюбно. Но, в начале никто не знал – чему верить. Джордж Кеннан, бывший посол США в СССР, проведенный в Москве в общем 9 лет, был очень удивлен, когда ему позвонили из Вашингтона и сообщили о «перебежчике» Светлане Аллилуевой. – «Я не знаю, кто это такая», – ответил он. Точно так же ответил бы любой бывший посол в Москве – проживший там более долгий срок. Поэтому, неудивительно, что в Риме нас ждала разочаровывающая новость.

Из ответа, пришедшем сюда из Вашингтона, было очевидно, что найдено соломоново решение: не торопиться с въездом в США, обдумать спокойно мои мотивы и планы, переждав некоторое время в нейтральном месте. Швейцария обещает мне туристскую визу на три месяца, а за это время решится дальнейшее. Может быть мадам Аллилуева, успокоившись, передумает и вернется в Москву?...

Такой ответ был неожиданным; но мне ничего и не обещали в посольстве США в Дели. Не представляя себе, с чем мне предстоит встретиться, я была готова ко всему, и могла бы ехать в любую страну мира – кроме стран коммунистического блока или зависимых от него. О Швейцарии у меня было смутное представление, но я считала, что все что угодно лучше, чем возвращение назад. В то же время мне обещали, что в Европе меня не оставят без

поддержки, пока не выяснится, что будет дальше.

Боб Рейл вернется назад в Индию, – жаль, мы успели подружиться за дни транзитного ожидания в Италии. Доброжелательность и юмор этого человека были огромной помощью для меня: я тоже старалась воспринимать все происходившее с юмором. Поведение Боба Рейла и все, что он делал за эти дни, как нельзя лучше характеризовало мне простоту и дружелюбие американцев, к которым, начиная с прихода в посольство в Дели, у меня появлялось все больше симпатии. Непринужденность, простота, демократизм и легкость контакта так подкупали! Ведь, в конце концов, Рейл и я – действительно люди с разных планет, но этого не чувствовалось ни в чем.

С любопытством разглядывала я из самолета розовые от зари Альпы. Вот еще одна новая страна в моем кругосветном путешествии... Все происходившее за последние дни было настолько необычным для моего тихого, замкнутого существования, что я испытывала порой странное чувство неустойчивости, как будто со стороны смотрела приключенческий фильм о самой себе.

Иногда ситуации были совершенно, как в детективном романе. Швейцарская виза была поставлена на мой паспорт в автомобиле швейцарского представителя; мы долго кружились, на наших двух машинах, вокруг клумбы около аэропорта, недалеко от Рима, пока наконец не опознали друг друга и я перешла в его машину. Представитель был очень симпатичным, а его секретарша держала в руках бутылочку с чернилами и печать. Мы все весело шутили, а потом я перешла обратно в свой автомобиль.

Швейцарию я ожидала увидеть примерно такой, как в фильме «Звуки музыки», с Джули Эндрюс, который я видела неделю назад в Лакхнау. Во всем мире люди путешествуют, это привычно для них: но для советских отшельников первая поездка за границу, первая встреча с Европой всегда является чем-то сверхъестественным, похожим на кинофильм. Что ж, все это так интересно!

* * *

Полтора месяца, проведенные в Швейцарии, оказались, действительно, передышкой. Но я не собиралась менять свое первоначальное решение. К счастью, у меня оказался с собой календарь-дневник, подаренный мне в Лакхнау, и я начала записывать сюда свой необыкновенный «кинофильм». Он развивался с каждым днем все увлекательнее и неожиданнее, и мне так интересно теперь просматривать эту тетрадку.

12-го марта я приехала в Швейцарию и в тот же день видела Антонино Яннера, – заведовавшего одним из отделом МИД'а. Он одинаково хорошо говорил по-английски, французски, немецки

и итальянски, был одно время представителем Швейцарии при Ватикане. У нас сразу же установился контакт и симпатия, с ним было легко и просто. Яннер прежде всего объяснил мне, что туристская виза дает возможность отдыхать и осматривать страну, но исключает политическую активность любого направления. Это меня пока что устраивало. Уже на аэродроме в Женеве пришлось бежать бегом от корреспондентов, кричавших вслед: «Будете ли вы просить убежища в Швейцарии? Вернетесь ли вы в Советский Союз?» Мне меньше всего хотелось сейчас отвечать на вопросы, – и это совпадало с желанием швейцарских властей.

Яннер сразу же спросил меня, не хочу ли я вступить в контакт с советскими представителями. Нет, нет! Наоборот, этого мне хотелось бы всячески избежать. Но на этом никто не настаивал, и я поняла, что мне предоставляется полная свобода думать и решать.

Первые сутки я провела в маленькой горной гостинице в Беа-тенберге. Было холодно, кругом лежал снег, которого я не видела с декабря... Прямо из окна моей маленькой комнаты была видна Юнгфрау. Но я никогда не любила гор, и не умею ими любоваться: они меня угнетают, мне приятнее простор, равнина, море.

Похолодало, начался сильный снегопад и метель, что-то было неприятное в этом возвращении в холодный климат. Неприветливы были лица людей в столовой, где за завтраком радио передавало новости, и диктор рассказывал по-немецки о моем приезде в Швейцарию. Я старалась смотреть в тарелку: слышать свое имя в сенсационных новостях было для меня совершенно непривычно.

В этот день Яннер сказал мне по телефону, что представитель индийского МИД'а Джайпал приехал из Дели и хочет говорить со мной. Это был тот самый Рикхи Джайпал, который был у нас в Москве в последний день перед смертью Сингха. Но теперь все эти старые знакомства с индийскими чиновниками не внушали мне никакого доверия – скорее наоборот. И я согласилась встретиться с ним только в присутствии Яннера.

14-го марта мы все трое встретились в частном доме на берегу озера Тун. Джайпала интересовало лишь одно: мое официальное подтверждение, что никто из индийцев не помогал мне «бежать» из Индии. Он привез проект моего письма к Динешу – боюсь, составленный самим Динешем! – где так прямо и говорилось. Это правда, – индийцы мне не помогали... Очевидно, это было нужно Динешу, чтобы оправдаться перед советским посольством, – и я подписала письмо.

Джайпал не сказал мне, куда он отправлялся из Швейцарии, но заметил, что мог бы передать через индийского посла в Москве

письмо моим детям. Я обрадовалась этой возможности, и отдала ему письмо на 15-ти страницах, подробно объяснявшее моим детям, – почему я решила никогда не возвращаться в СССР. Я писала им, что я считаю важным сейчас для них: оставаться вместе, втроем, продолжать учебу и стараться сохранить налаженный ход жизни. Я давала им детальные советы о доме, так, чтобы они поняли: это все серьезно, это не шутки, и я не изменю принятого решения. В газетах уже появились фотографии Кати и Оси, ждущих меня дома. Их лица были грустны, я узнала нашу гостиную, и у меня сжималось сердце за них.

Я верила, что Джайпал передаст письмо, но Яннер скептически покачал головой. Он оказался прав: письмо никогда не было получено...

В тот же день мне пришлось перебраться в маленький монастырский приют в Сен-Антони, недалеко от Фрибурга. Находиться в гостинице было невозможно: по всей стране рыскали корреспонденты. В Беатенберге меня узнали в магазине, где я купила лыжные брюки, и немедленно сообщили репортерам; возвращаться туда было нельзя. Когда Яннер сказал мне, что самое спокойное и недостижимое укрытие за монастырской стеной, мне даже стало смешно: я опять вспомнила Джули Эндрюс, «Звуки музыки», монастырь и прочие кино-ситуации. Мой приключенческий сценарий разворачивался – монастырь так монастырь.

«А есть ли там электричество?» – спросила я, вообразив на минуту мрачные катакомбы, как в России. Яннер расхохотался и сказал, что там есть электричество, водопровод и горячая вода.

Мы приехали в Сен-Антони поздно вечером и, не скрою, у меня подгибались коленки. У меня какой-то суеверный трепет перед храмами, монастырями, священниками... Католические монашки в черных платьях и в белых повязках на головах провели меня в маленькую чистую комнатку с Распятием, умывальником и пухлой периной на опрятной, современной кровати. Если бы не Распятие на стене, то можно было бы подумать, что это чистенький номер в дешевой гостинице. Официально я называлась здесь мисс Карлен, ирландка, приехавшая из Индии.

15-го марта был солнечный, тихий день. Приют стоял на холме, откуда открывался чудесный, плавный ландшафт с полями, голубыми лесами вдалеке, цепью гор на горизонте, крошечными островерхими домиками тут и там. В приюте было всего шесть сестер. Это было нечто вроде гостиницы для католических священников. Сестра Флорентина, полная, уютная, позвала меня завтракать в столовую. Немецкий язык, которому меня учили в детстве, ожил, и этого примитивного запаса слов оказалось достаточно, чтобы объясняться с ней. Я убрала за собой посуду, отнесла

ее в кухню, – сестра Флорентина довольно улыбалась. Мне стало опять легко и хорошо. Все «образуется»!

Так и есть: вечером позвонил Яннер и сказал, чтобы я не теряла надежду на въезд в США. Госдепартамент сделал заявление, что это не исключено. Тем временем, правительство Швейцарии объявило всем репортерам, что я не хочу встречаться с прессой, и просило всех репортеров прекратить розыски и домогательства.

16-го марта два полицейских из кантона Фрибург, одетых в штатское, предложили мне посмотреть окрестности. Мы поехали на машине, и поездка оказалась приятной. Вспоминая свой немецкий, а также университетский французский, я смогла объяснить своим спутникам, что на канатной дороге в Молесон, на высоте 2000 м. над уровнем моря, куда они повезли меня, у меня кружится голова и я бы предпочла более спокойный ландшафт. Мы смеялись и шутили, выпили кофе в маленьком кафе с лыжниками, и мне была обещана следующая прогулка по равнине. Напоследок мне дали править маленьким «фольксваген» и мы стались друзьями.

Дома меня ждали первые письма от издателей, желавших работать со мной над книгой мемуаров об СССР. Они еще не знают, что у меня есть написанная книга, хотя это и не мемуары! Пришло письмо от Любы Д'Астье: у нее племянница во Фрибурге и они часто приезжают к ней, мы можем скоро увидеться.

В этот день Би-Би-си передавала, что представитель госдепартамента США намеревается приехать в Швейцарию, чтобы говорить со мной. Бундесрат будет обсуждать вопрос о возможном убежище и продлении визы, – пока что я была здесь «туристкой».

17-го марта Яннер позвонил, как обычно, справиться как дела и как настроение, и сказал, что у него хорошая новость: на следующей неделе приедет Джордж Кеннан. Я сказала, что не знаю, кто это. Яннер удивился: – «Кеннан жил долго в Москве и был послом США! Это большая честь и ваша удача, что вы встретитесь с этим человеком. Он один из лучших знатоков России. Я вам привезу его книги». Мне было стыдно. Как я жила! Я ничего не знала даже из того, что происходило в Москве, под самым носом.

Я стала думать о предстоящей встрече. Два дня прошли в неопределенности. Что я услышу, какие новости? После неожиданного отказа на въезд в США я не знала, чего теперь ожидать. Чего я хочу сама? Мне надо знать самой, чего я хочу. До сих пор я плыла по течению, не задумываясь, куда меня вынесут волны. Теперь у меня спросят – а я только знаю, что не вернусь в СССР. Но меня тревожат мысли о детях. Какие печальные у них лица на фотографии, сделанной в Москве американским корреспондентом Генри Шапиро!.. Зачем он пришел к ним? Зачем расспраши-

вать детей, мучить их, беречь раны? Как это негуманно. Получили ли они мое длинное письмо через Джайпала?

Я может быть осталась бы в Швейцарии, здесь тихо и славно. Но здесь мне не дадут издать книгу, здесь я вынуждена буду молчать; невозможно будет даже объяснить причин, почему я оставила СССР – потому что это политические причины. Все, что я скажу или напишу, будет «политической деятельностью», а здесь этого нельзя... Какой же был смысл оставить свою страну, чтобы и здесь молчать?

20-го марта было настоящим днем упадка сил. Я бродила в маленьком дворике, обсаженном туями, думала о детях, томилась неизвестностью. В эти дни я читала «Доктора Живаго» Пастернака. Книгу мне дал Боб Рейл в дороге – и чтение разрывало мне сердце. Я рыдала над книгой, мешая ее слова со своими, ее печаль со своей, плача о себе, о детях, о несчастной замученной стране, которую я покидаю, но люблю. Я не могла скрыть своего настроения, и сестра Флорентина испугалась, утешала меня и сказала, что будет молиться обо мне и о моих детях в часовне. Много слез было выплакано в тот день, и на утро стало легче.

21-го марта пришло много писем. Херст Корпорейшн предлагала издать – и «помочь писать» – мемуары. Рендольф Херст Младший напоминал о нашем интервью в Москве зимой 1955 года и прислал вырезку. Я так и не видела до сих пор этого интервью, перед которым меня инструктировал Молотов.

Много писем с выражением симпатии, с желанием помочь «женщине без страны». Как один из видов помощи – предложение вступить в брак и получить таким образом паспорт другой страны. Первое пришло из Англии, от отставного моряка, бывшего с флотом во время войны в Архангельске. Второе – от бывшего актера советского цирка, дрессировщика, оставшегося за границей и ставшего австралийским подданным. Третье – из Кельна, из Западной Германии. Пришло также милое письмо от моториста из Флориды, возмущенного тем, что США не дали мне сразу визы на въезд, и предлагающего мне быть гостем в небольшом домике его семьи. «Покажите мое письмо американскому послу в Швейцарии!» – писал он. Богатый бизнесмен из Майами, Флорида, старый эмигрант из России, предлагал детальный вариант для получения американской визы под видом его секретарши, сообщая, что у него крупные связи в Швейцарии и он все устроит, если я согласна.

Письма шли без адреса – просто «Швейцария», их все пересылали Яннеру, он привозил или присылал их мне, и отсылал мою почту. Я послала детям открытку в Москву с просьбой написать мне в адрес Федерального Политического Департамента; открыт-

ки из-за границы доходят в СССР быстрее – цензуре легче, – и я надеялась получить ответ.

22-го марта, я прочла в швейцарской газете о запросах в Парламенте Индии по поводу моего «бегства». Р. Лохия, один из самых воинственных лидеров оппозиции, обвинял правительство в раболепстве перед СССР. Министр иностранных дел Чагла официально заявил, что я «ни разу не заявляла о своем желании остаться в Индии». Лохия квалифицировал это как «ложь». Еще в Риме я получила приглашение индийского МИД'а вернуться в Дели, но, конечно, я отказалась: я понимала, что оно происходило от посла Бенедиктова. Теперь же я решила написать д-ру Р. Лохия, чтобы поблагодарить его за обличение лжи. Я подробно объяснила ему, как и когда говорила с Динешем Сингх о своем нежелании вернуться в СССР и о его ответе, который для меня был, конечно, неофициальной формой ответа правительства и премьер-министра. Отрицать теперь наши разговоры было верхом лицемерия и трусости.

Д-р Лохия через несколько дней прочел мое письмо в индийском парламенте. Это вызвало страшный шум в индийской прессе, Динеш и Чагла выглядели некрасиво перед лицом фактов. Коммунисты же поддержали Динеша и высмеяли Лохия за его «рыцарство»; их газеты писали, что я была «похищена Си-Ай-Эй».

23-го марта, весь день я читала книгу Кеннана «Россия и Запад при Ленине и Сталине», которую мне дал Яннер. Я старалась представить себе облик человека, с которым мне предстояло встретиться завтра, и от которого, по-видимому, будет зависеть решение моей дальнейшей жизни.

Судя по книге – он прекрасно знал Россию, и не только знал, но и глубоко понимал эту сложную, противоречивую, жестокую и несчастную страну. К коммунизму он был беспощаден. К моему отцу и его политической системе – тоже. Как он отнесется ко мне? Сможет ли он взглянуть на мою жизнь отдельно от «великой тени», которую прежде всего видят люди, – печальный факт, с которым я обречена всю жизнь считаться? Я чувствовала только, что человек, которого я увижу завтра, – большой политик, серьезный историк. По словам Яннера – это огромная удача для меня, что именно Кеннан приезжает сюда, в такой момент неясности. Я ждала и чувствовала, что начинаю волноваться оттого, что знаю, как много зависит от первого впечатления, которое может все решить в один момент.

24-го марта, один из моих «охранителей» в штатском провез меня на своем «фольксваген» до Берна. Там я пересела в машину к Яннеру, и мы поехали в маленький дом на берегу Тунер-Зее, где уже были однажды. Яннер был оживлен и выглядел довольным.

«Я уже говорил с Кеннаном», – сказал он. – «Он прочел вашу рукопись и считает, что ее надо издавать, она ему понравилась».

Это было неожиданностью для меня. Очевидно, копия рукописи была послана в США после того как я уехала из Индии. Но мне все еще самой казалось невероятным, что это на самом деле «готовая книга», как мне говорили мои друзья в СССР. Неужели на самом деле Кеннан нашел ее интересной? Для меня это решает половину дела, если не все целиком. Неужели будет когда-нибудь возможно построить больницу в Калаканкаре? Еще каких-нибудь три недели тому назад все это было для меня неосуществимой фантазией...

Джордж Кеннан был высокий, худой, голубоглазый, элегантный. Последнее сразу же бросалось в глаза. Он сказал несколько слов по-русски, но разговор дальше продолжался по-английски, из-за остальных присутствовавших. Мы сели на диванчик – в его противоположные углы – и проговорили около часа втроем с Яннером.

За этот час выяснилось, что фантазии и мечты иногда превращаются в реальность. Он, в самом деле, прочел рукопись «20 писем», и находил, что ее можно и необходимо издать. Если, действительно, я хочу ехать в США, а не в какую-либо другую страну Европы, то есть и возможный издатель. Необходимо иметь адвокатов – (это было мне пока что мало понятно) – которые будут заниматься изданием книги, а также устройством визы и прочих практических вещей. Жизнь на Западе совсем иная, нежели в СССР – мне придется постепенно привыкать к этому. Но не хочу ли я жить в Англии или Франции? Издание книги было бы возможно и там. Нет, нет, – я уже однажды решила, я не хочу менять решения, если это осуществимо! Да, он надеется, что вскоре я смогу въехать в США с туристской визой. А до этого мне следовало бы встретиться со своими будущими адвокатами и решить с ними ряд практических дел.

Кеннан был любезен, приятен, и дружески расположен в мою пользу, я это чувствовала. Мне оставалось только повторять – «да, я хочу», «да, я согласна». У меня стучало в голове, как в тот день, когда я пришла в посольство США в Дели, сама не веря, что это – совершилось. Так и сейчас, после часа приятного разговора, я чувствовала, что мои нервы в изнеможении, и когда Кеннан предложил пройтись погулять, я только сказала – «спасибо, я подожду здесь, я посижу на террасе».

Был теплый солнечный день, все сверкало, дотаивали остатки снега. В траве уже пробивались первые нарциссы. Кеннан пошел гулять. Он приехал простуженным и много дней не выходил на воздух. Оберхофен прилепился к склону горы, внизу ослепитель-

но блестело озеро Тун, окруженное горами. На лесистых склонах лежали глубокие, синие тени, наверху белел снег. В воздухе была разлита пьянящая свежесть весны. Я сидела на террасе и даже ничего не могла думать. Было хорошо сидеть, дышать, зажмуривать глаза на солнце...

Потом был обед с хозяевами дома. Кеннан пришел посвежевший, и сказал, что чувствует себя прекрасно. У всех было отличное настроение. Ни о каких делах уже не говорили, только после обеда Кеннан сказал, что в Америке я встречу круг его друзей. Его две взрослых дочери с детьми будут рады пригласить меня на ферму в Пенсильвании – это их старый любимый дом с детства, «вроде вашего Зубалова», – сказал он улыбувшись. Да, – поняла я, – он прочел мою рукопись очень внимательно.

Не странно ли это; вот этот человек, недавно еще совершенно незнакомый, сейчас уже знает обо мне так много, что взял на себя устройство моей судьбы. И даже его дочери знают обо мне, и где-то далеко, в США, есть дом, «похожий на Зубалово», куда меня зовут...

Кеннан вскоре уехал. Мне надо было тоже отправляться в свой приют. Но мы все еще сидели в уютной гостиной с кирпичным камином, слушали музыку, и не стовариваясь выбрали Баха. Яннер очень любил Баха, так же как и я. У всех было хорошее настроение и это так соответствовало бурным раскатам и переливам Баха, приходящим к завершению и гармонии.

Я оставалась в этом настроении следующие два дня.

26-го марта, в воскресенье, была католическая Пасха, и мне хотелось отметить праздник – потому что праздник был у меня на душе.

Я пошла в собор Сен-Николя вместе со своим «штатским» стражем, католиком, певшим вместе со всеми гимны на французском и латинском. Епископ Фрибурга говорил проповедь по-французски – вечные, общечеловеческие слова о любви и братстве. Гремело могучее дыхание органа, серебристой рекой лился хор, вокруг было полно цветов, горели свечи... Все стояли на коленях.

Я тоже молилась, потому что простая молитва рвалась из моего сердца: Благодарю Тебя, Господи! Благодарю за все, за все, что Ты даешь мне щедрой рукой. Помоги моим детям! Помоги им, сохрани их, утешь, укрепи. Сохрани и утешь...

Я стояла на деревянной скамеечке, сжав руки, закрыв глаза; рядом полицейский в штатском. Вокруг люди. Полицейский – тоже человек, у него шестеро детей. Нет разницы – православная церковь, берег Ганга или католический собор, – люди везде молят о любви, о помощи ближним, о покое. Я благодарила за все, что давалось мне, и просила милости и щедрости к детям. Никогда

еще, нигде, я не молилась так горячо, как в это пасхальное воскресенье в Фрибурге. Меня душили слезы, в глазах темнело, я не могла остановиться. Пасхальная месса была пышной, долгой, торжественной, много раз все опускались на колени, – и это было то, что мне сейчас было нужнее всего.

27-го марта, нужно было спуститься с облаков на землю и заняться делами: познакомиться с моими будущими адвокатами – Эдвардом Гринбаумом и Аланом Шварцем. Мне казалось, что я уже немного понимаю, для чего нужны адвокаты. Но когда разговор зашел о копи-райт'е и его сложностях в моем случае, о договоре с издательством, о больших средствах, которые принесет публикация, об учреждении Благотворительного Фонда и прочих реальных вещах – я почувствовала, что приехала жить в большой город из глухой лесной деревни... Мне стало не по себе, потому что я с трудом понимала говоривших – даже если бы они объяснялись по-русски. Я чувствовала, что многое не в состоянии понять, и наверное буду делать что-то не то. Но делать было нечего, придется переучиваться на ходу и превращаться из деревенской отшельницы в современную горожанку. Яннер тоже сегодня выглядел озабоченным, и после встречи мы не слушали Баха.

Через день, *29-го марта*, мы встретились опять. Теперь были еще два швейцарских адвоката, Уильям Штехелин и Питер Хафтер, – точно такая же пара, как американцы: первый пожилой, маститый владелец фирмы, второй – приятный молодой коллега. Обоих молодых, Хафтера и Шварца, я понимала лучше, но все равно все было сложно. Такого рода деятельности в СССР вообще нет, и мне было трудно ее представить себе.

Это был большой деловой день. Я подписала разные документы, передававшие в руки адвокатов все дела с публикацией книги, деньгами, визой. Было ясно, что книга выйдет во многих странах мира, что в США ее издаст Харпер и Роу. Это название – так же как и имя переводчика – не говорило мне ничего; любое имя было бы мне неизвестно. Я просто целиком доверилась в руки людей, пришедших мне на помощь в трудную минуту. Я отправлялась в долгое плавание на корабле с хорошей, дружественной командой – стоит ли думать в этот момент, что делает команда? Они знают свое дело лучше меня. Надо сказать спасибо за то, что меня берут на корабль.

Алан Шварц, тридцатичетырехлетний молодой человек с седой и мальчишеским лицом, показал мне фотографии своих сыновей: один – рыжий, как морковь. Жена Эдварда Гринбаума – скульптор, она прислала мне каталог своих работ. Слава Богу, – не модернизм, люди похожи на людей, женские головки, детские фигуры, выразительные животные. Вот еще две знакомых семьи

в Америке, – я знаю, что Америку я буду «открывать» для себя через людей, через семьи, через детей, а не осматривая достопримечательности. Только так я хотела бы узнавать любую страну.

С этого дня стало ясно, что в апреле я смогу приехать в США.

Следующие несколько дней прошли спокойно.

Все было решено. Оставалось ждать, пока «сработают» таинственные государственные механизмы, и выбросят из своих недр кусочек бумажки, от которого я теперь завишу, мою визу.

Я читала письма, шедшие со всех концов Земли. Это было так странно и необычно! В СССР до меня не доходили даже письма Д'Астье из Парижа, а открытка из Индии шла месяц, – цензура решает, что пропустить, что нет... Сейчас я читала письма от русских из Австралии: меня приглашали к себе, давали советы, с кем связаться в бюро эмиграции в Женеве. Пасхальные открытки шли из Германии, Швейцарии, Франции, Америки. Добрые люди желали мне удачи, счастья, покоя, думали и тревожились обо мне.

Молодой человек из Миннесоты приглашал приехать к нему. Он писал, что у него 5 лет колледжа и торговая школа, что его уровень жизни несколько ниже среднего и что он хотел бы разделить со мной свой дом с тремя спальнями, мазутным отоплением, холодильником, электричеством, радио и фонографом. Он жил в 48 штатах, Канаде, Мексике и полагал, что сплетни в его городе не хуже чем в любом другом месте. Он думал, что мы смогли бы обогатить политические взгляды друг друга. Он верует в Бога. Деревья и канал перед домом так красивы. Он изучает русский язык, но пока еще не знает его.

Швейцарский гражданин, владелец магазина, настаивал, чтобы я получила только швейцарское гражданство. Для этого он предлагал заключить с ним брак, «а после этого вы будете свободны уехать, куда хотите, делать все, что вы захотите. Поверьте, кроме желаний помочь вам, я не преследую никаких целей...»

Пришло теплое письмо от Михаила Корякова, сотрудника русской эмигрантской газеты в Нью-Йорке – «Новое Русское Слово». Он прислал свои статьи обо мне, – сентиментальные, но дружеские.

Пришло долгожданное письмо из Калаканкара. Суреш Сингх писал, как рада вся его семья, что я найду теперь свободную жизнь, и может быть снова приеду в Индию. Он с юмором и наслаждением описал, как 10 марта в Калаканкар приехал Суров, в надежде найти меня там; по радио в это время передавали, что я уже в Риме, и какое выражение лица сделалось у Сурова... Дальше он писал, что его дом наводнили журналисты, сфотографировали каждый угол, и что теперь покоя от них нет, и по-видимому,

долго не будет. Чтобы представить себе, как выглядят Альпы, он поехал в Лакхнау посмотреть «Звуки музыки» с Джули Эндрюс – он никогда не был за границей.

Яннер пригласил меня пообедать у него в доме, с семьей, в Берне. Это был очень теплый, домашний вечер. У Антонине Яннера мать швейцарская итальянка, отец – немец. Он одинаково чисто говорит по-немецки, по-французски, по-английски. Но дома с женой Адрианой и сыном Марко говорит только по-итальянски. Восемилетний Марко давно слышал от отца о «несчастной тете, которую не хочет принять ни одна страна, и которая не может повидать своих детей». Так говорил ему отец, чтобы мальчик, лежавший с высокой температурой, отпускал его ко мне. Мальчик отпускал отца в таких чрезвычайных обстоятельствах, но постепенно стал без конца спрашивать о «бедной тете» – как она теперь? Он жалел меня и полюбил. Когда я пришла, он обнял меня за шею и так горячо целовал, что я чуть не разревелась. Потом он весь вечер рисовал мне картинки и писал русские буквы, срисовывая их из русских книг. Он подарил мне коробочку, обернутую в красную бумагу, со своими драгоценностями: обломками карандашей и цветных мелков, шоколадками, старым циркулем, двумя монетками, марципановым слоненком. Я собрала все итальянские слова, какие знала – «ciao bambino, mio piccolo bambino, grazie», и целовала его боясь расплакаться...

Адриана была спокойной, плавной. Мы ели спагетти с томатами. Опять слушали Баха, и Яннер подарил мне пластинку – прелюдии, в исполнении румынского пианиста Дино Липатти.

3-го апреля пришлось переехать из приюта в Сен-Антони в монастырь во Фрибурге, где условия были более независимыми. Старшая сестра Маргарита-Мария дала мне три ключа, которыми нужно было отпирать три двери, если я вернусь после 8 часов вечера. Так часто случалось, если я ездила в Берн, и я кралась в темноте с фонариком в руке, боясь спутать ключи, а, главное, боясь напугать кого-нибудь из монастырского пансионата, через длинные коридоры которого мне надо было проходить.

Днем я выходила гулять прямо на улицы Фрибурга, ходила в банк, в магазины (мне перевели аванс от издателя, и я сразу же возвратила деньги за билет из Дели). Можно было гулять в парке, протянувшемся по высокому, обрывистому берегу изумрудной реки Сарин. Никто за мной не следил и не ходил по пятам. В сумке у меня была бумажка на имя ирландки мисс Карлен, приехавшей из Индии. Индия была единственной страной, кроме России, о которой я немного знала, и могла бы говорить.

Старый Фрибург был живописен. Узкие улочки, горбатые мосты через Сарин, современный университет и легкие арки двух-

этажных мостов удачно гармонировали с готическим собором, не нарушая общего рисунка. Уютные часовни на каждом шагу так и звали войти, постоять молча – двери всегда открыты. Я все время думала о детях, ожидая хоть что-нибудь получить от них, и заходя в часовни во время прогулок просила каждый раз: «Помоги им, сохрани, утешь».

В моей комнате, выходявшей на реку и необъятные дали было тихо. Я начала работать – мне так хотелось писать. Я писала о Пастернаке – и к Пастернаку, о великом поэте, о докторе Живаго, о потерянной любви Лары, о замученной России, о моих детях. Это был плач – есть такая форма в фольклоре, но не в литературе – и ничего сейчас не получалось у меня, кроме этого безудержного плача... Я поняла, наконец, со всей беспощадной реальностью, что сама навсегда разрываю все нити любви и привязанности.

Так прошла неделя и, наконец, пришло письмо от моего сына.
«Здравствуй дорогая мама!

Нас очень удивило, что приехав 8-го марта на аэродром мы тебя не встретили. Мы сначала не могли поверить в то, что ты не приехала, и проторчали там три часа. Имея единственным источником информации радио, мы в течение нескольких дней не знали, что и подумать. Но после того, как в газетах появилось сообщение ТАСС о том, что тебе предоставлено право находиться за границей сколько ты захочешь, мы более или менее успокоились, и жизнь вошла в свою колею. Если не считать того, что Катя до сих пор никак не может войти в эту самую колею, да и мы, честно говоря, мало что понимаем...

Нас очень удивило то, что со времени твоего отъезда из Индии мы не получали от тебя никаких вестей, и я даже звонил в посольство Швейцарии, и просил, чтобы мне помогли с тобой связаться. До сих пор никакого ответа оттуда я не получил. Наше удивление усиливалось еще оттого, что в твоём последнем письме из Индии (от 23 февраля) ты писала, что 8-го марта приедешь.

Наконец пришла открытка от тебя, в которой ты пишешь, что не знаешь, как с нами связаться. Можешь ли ты объяснить, почему мы должны писать на адрес Департамента? Нам бы очень хотелось написать тебе непосредственно, или, что самое лучшее, поговорить с тобой по телефону обо всем. В частности, нам бы хотелось знать твои планы на будущее, как долго ты собираешься там пробыть и когда собираешься вернуться.

Мама, все твои друзья спрашивают о тебе. Было бы очень хорошо, если бы ты нам написала, что мы должны в данном случае отвечать.

До свидания. Целуем. *Ося, Катя.*
4-го апреля, 1967».

Значит Джайпал так и не переслал моего письма.

Они ничего не знают и не понимают. Но как я могла сообщать им из Индии о своих «планах», когда они были мне самой неясны до последнего момента?!

Я рассказала все Яннеру. Он понимал мои чувства, и сказал, что лучше всего вызвать Москву по телефону.

Мы поехали в маленькую гостиницу Муртен, недалеко от Фрибурга., взяли гостиную с телефоном и заказали мой московский номер, назвав вымышленное имя из Швейцарии. Ждали минут двадцать, но я извелась за это время.

В комнате стояла клетка с черной сорокой, повторявшей, как попугай, через каждые пять минут: comment за va? (как дела?). Это было невыносимо, и мы вынесли клетку в коридор, откуда продолжал доноситься хриплый, странный голос.

Звонок! Москва. Сын у телефона. – «Ося, это я», – говорю я, как во сне, и мой сын растерянно отвечает: «Господи, Боже мой...»

Мы говорили, наверное, полчаса. Ося сейчас же сказал, что никакого объяснительного письма от меня не получил, и я сбиваясь и волнуясь стала говорить о том, что «я не турист в Швейцарии», что «я не вернусь»... Вряд ли возможно было объяснить это толком – я все время боялась, что нас разъединят и торопилась. Я только повторяла «я – не турист, ты понимаешь?», «вернуться невозможно, ты понимаешь?» Ося упавшим голосом – он сразу все понял – повторял только «да, да, я слышу». Он не задавал никаких вопросов, а я сбиваясь говорила одно и то же. Я боялась даже спросить: «ну, а как вы?» потому что мне было понятно без слов, каково им сейчас... Я не сказала, что жду визы в США, – какое имело для них сейчас значение – куда я поеду, раз я не вернусь домой? Кати не было дома – это даже лучше, я не знаю, как бы я услышала ее голос... Разговор кончился потому, что нас разъединили.

Вечером у меня поднялась температура, я не могла прийти в себя от разговора с сыном. Яннер был взволнован происшедшим не меньше меня.

Бесполезно было говорить о том, что я чувствовала в эти дни. Все, что рвалось из сердца, вылилось в плач, обращенный к поэту, к Пастернаку. Я кончила его писать в эти дни, и послала рукопись Джорджу Кеннану, обладавшему тонким пониманием русского литературного стиля. Я просила только, чтобы перевели и напечатали где-нибудь, чтобы дошло и до СССР...

14-го апреля я снова попыталась дозвониться в Москву. Опять мы вынесли в коридор говорящую сороку. Мой номер в Москве не отвечал и телефонистка спросила, не хочу ли я вызвать кого-либо еще. Я решила поговорить с Бертой.

Разговор был еще более безрадостным. – «Детям будет очень трудно», – сказала Берта. – «Ты понимаешь, как им будет трудно?» – спросила она строго. – «Я все понимаю, но понимаете ли вы меня?» – спросила я. Вместо ответа Берта сказала об одной нашей общей подруге: – «Саня плачет. Саня все время плачет. С кем ты там, как ты?» – «У меня много новых друзей», – сказала я. – «Какие друзья? Какие друзья? О чем ты говоришь?» – вырвалось у Берты с недоверием и возмущением. – «Какие там у тебя друзья?» – «Да, да, здесь есть милые люди, здесь много милых людей», – старалась я убедить ее, но она не верила, и не хотела верить.

Этот разговор потряс меня, потому что я считала Берту современным, прогрессивным человеком. И – что же, она не верит, что у меня могут быть друзья вне СССР? Или она не может говорить то, что хочет? Лучше больше не звонить. Так больно – слышать милые голоса, но открытый разговор, какого хотелось бы – невозможен...

Мы увидимся снова

Может быть у меня необычное понятие о дружбе. Я не дорожу частыми встречами, вечеринками, систематическими собраниями. Были люди, с которыми я виделась редко, мы успевали лишь поговорить часок-другой: но сколько осталось в душе от этих коротких встреч! Как врезались в память слова тепла, сказанные в трудную минуту! Какой-нибудь вечер в кухне, за чашкой жидкого московского чая, бывал откровением. В такой вечер расскажешь все о себе, и выслушаешь ответную исповедь о трудной, необыкновенной жизни... У кого легкая и простая жизнь в СССР? Таких нет, – особенно в том кругу интеллигенции, который был наиболее близок мне.

В СССР нет «social life» – обязательного и регулярного общения с определенным социальным кругом. Мы лишь читали в русских романах 19-го века об этом. Революция разрушила старые социальные правила, но ничего не создала взамен. За годы арестов и «чисток» люди отучились от общения с другими – боялись. Теперь лучше. Но все-таки основной формой общения остается дружеское чаепитие или водка под селедку в очень тесной компании тех, кто «не предаст», с кем можно говорить вслух, что думаешь. И остался от прежних времен, вошедший в плоть и кровь, рефлекс: «пойдем, погуляем на свежем воздухе!» – если хочется выругать партию и правительство...

Так живут все, независимо от социального уровня, который, в общем – один: все бесправны, все – рабы, одни с дачей, холодильником и автомобилем, другие – без. Советская элита, состоящая

из высших партийных и государственных чиновников, и работавших перед ними деятелей искусства, имела доступ к внешнему миру – дипломатическому и культурному. Но для прочих такие контакты могли быть лишь редкими, случайными встречами. Мои друзья и я принадлежали к числу этих прочих. И опять, как не вспомнить либерального хрущевского десятилетия – все было проще, о тюрьмах забыли, о самом премьере не боялись рассказывать анекдоты, верили, что прошлое – не вернется. Легко возникали знакомства, легко сходились друзья, легко возникал общий язык.

С Бертой я познакомилась в семье моих друзей – композитора Алеши его жены Сани. Саня знала БERTУ по Московскому Университету: когда строился новый университет на Ленинских горах, обе девушки работали на радиоузле стройки. БERTА тогда только что приехала из Ташкента и училась на историческом факультете. Она всегда любила помогать другим, и как только приехала в Москву, сразу же стала опекуном всех московских негров: чаще всего они снимались в кино, или делали переводы. Редко кто смог работать в промышленности, как отец БERTЫ, который занимался в Узбекистане хлопководством. Другому негру удалось работать в большом хозяйстве под Москвой – там разводили уток. Но это были исключения, обычно они жили плохо и трудно. Второе поколение, молодежь, искала случая выйти замуж за негров-студентов в Москве и уехать за границу. БERTА вышла замуж за студента из Африки, у них была дочь. Когда мы познакомились она ждала известий о его приезде обратно в Москву. Я ждала когда вернется из Индии Сингх, так что наше настроение было одинаковым.

Мы были с нею совершенно разных темпераментов и даже разных вкусов, но это не мешало пониманию. За последние два года у меня не было, пожалуй, более близкого друга, потому что БERTА была – космополит и, в отличие от многих моих знакомых, ее нисколько не удивляло, что индеец Сингх и я – хотим быть вместе. Наоборот, это казалось ей нормальным.

Она прекрасно знала искусство, музыку, культурную и политическую жизнь современной Африки. В какой-нибудь молодой африканской республике она могла бы стать министром – ее кругозор и энергия требовали большой общественной деятельности. Но за границу – кроме социалистических стран – ее не пускали ни ЦК, ни МИД. Беспартийный искусствовед, полунегритянка, полужидевка – этот странный гибрид пугал отделы кадров и полицию, которая по существу и решает кого пускать «за рубеж», кого – нет. Муж БERTЫ вскоре нашел себе в Африке другую жену, более соответствовавшую его мусульманским привычкам. БERTА не стала бы сидеть за занавеской. Ей оставалось «изучать» музыку Африки

в Москве, она написала диссертацию, пользуясь пластинками и магнитофоном. Она была как «летающая рыба», – вместо родной стихии ей пришлось научиться летать по воздуху.

Как она прекрасно танцевала, пела, какое чувство ритма было у нее! Какой твист она выделяла в паре с моим сыном, с которым подружилась! Ко мне в дом она всегда несла веселье и свежесть.

Она знала в Москве всех поэтов, музыкантов, писателей, так или иначе связанных с Африкой. Ее отец был американским негром, но голос расы звал к самым корням. Ее маленькая дочь была намного чернее, чем она – настоящая шоколадка.

Дочка Берты была единственным негретенком в детском саду. Она пела, читала стихи, танцевала на каждом празднике, ее любили, она всех развлекала. Но она однажды спросила: – «Мама, а почему я черная? Я хочу быть белой, как все!» Берта позвала для нее в гости других негритянских детей, чтобы девочка не думала, что она – исключение. Это помогло ненадолго. «Они кричат на улице, когда я веду ее в сад – смотри, негры!» – говорила мне с возмущением Берта. Они жили в Новых Черемушках, где живут рабочие, переселившиеся из бараков, и новое советское мещанство. Черная кожа для них – чудо природы.

В маленькой квартирке из двух комнат, где они живут, тесно и неудобно. Мать Берты преподавала английский язык, к ней приходили ученики. Одна комната была проходной. В кухне едва можно повернуться.

Берта негодовала, когда приходившие к ней в гости американские коммунисты (старые друзья ее отца) – объясняли ей, как прекрасна жизнь в Советском Союзе. – «Я им говорю, я знаю – что это за жизнь! – а они продолжают цитировать мне свои истины!» – кипела она. – «Они слепы, они не видят во что все превратилось, чем все обернулось! Они не верят, что я должна стоять в очереди за фруктами, за молоком, за кашей для дочери! Они слепые и глухие догматики, и еще спорят со мной!»

Летом 1964 года, на Международном Конгрессе этнографов и антропологов в Москве, Берта сделала сообщение об африканских барабанах. Конгресс был настоящим праздником для нее, здесь она была, как рыба в воде. Но все думали, что она из делегации США. Она подружилась со шведскими и немецкими этнографами. Негритянка из США говорила ей: – «Что вы все повторяете о дискриминации негров у нас? Вот у меня два дома, два автомобиля. А у вас? Сколько книг вы издали?» Берта не знала, что ей ответить.

Она тщательно собирала материал для книги о неграх в России. Раскопала самые первые упоминания о купленных черных рабах,

которых держали в 17-ом веке при царском дворе для потехи – как шутов. Черных рабов привозили на кораблях в порты Черного моря. До сих пор в горах Абхазии осталось негритянское население – потомки тех невольников. Берта поехала туда, разыскала эти селения и пришла в ужас.

Мусульманские черные деревни Абхазии жили немногим лучше, чем их предки в Африке: почти полная неграмотность, бедность. Местное население не смешивается с неграми, их оттеснили в бесплодную горную местность. Абхазские партийные власти испугались московской черной дамы, приехавшей с неизвестными полномочиями: вдруг это – инспектор от ЦК? Берта ничего не могла добиться, негры здесь говорили только по-абхазски, а со слов переводчика получалось, что они очень довольны своей жизнью. В деревне, куда она приехала в сопровождении местного начальства, – одну ее не пустили, – начался плач женщин: тут решили, что всех будут выселять, увезут куда-нибудь.

На Кавказе знают подобные народные трагедии, происшедшие с чечено-ингушами, с кабардино-балкарцами... Берта испугалась произведенного эффекта, пыталась расспрашивать, успокаивать, – но все через переводчика. Потом к ней робко подошла молодежь, знавшая по-русски, – наконец поняли, что она не каратель. Стали рассказывать, что все хотят учиться, что женщины неграмотны, что – в общем – раса вымирает. Берта устроила скандал местным властям, взяла слово, что молодежи помогут, но у нее не было никакой власти давать здесь рекомендации. Поездка произвела на нее удручающее впечатление. Включить в книгу этот рассказ было невозможно – он был бы все равно выброшен цензурой.

Книгу Берты о неграх в России издали только для заграницы, оставив лишь материал об актерах, музыкантах, научных работниках – как сама Берта. Отредактированную издательством версию Берте даже не показали, и она говорила, что теперь не несет ответственности за книгу, хотя на ней стоит ее имя. На издание книги о музыке Африки было еще меньше надежд, – в СССР вообще мало кто знал, что это такое.

В проходной комнате Берты, служившей ей одновременно гостиной, столовой, кабинетом и спальней, мы слушали музыку. У нее была большая коллекция народных африканских мелодий и песен. Я слышала у нее южно-африканскую оперу «Кинг-Конг», построенную на народных мелодиях (подобно американской «Порги и Бесс»), спиричуэле Махалии Джексон, песни африканских туземцев. Все эти пластинки и записи ей привозили и доставали друзья. Берту же не пустили даже на Конгресс Культуры в Дакаре, – хотя именно ей и следовало там быть, как специалисту.

Алеша и Саня, познакомившие меня с Бертой, живут в Ленинграде. Алеша – композитор, лирик по натуре, ему бы писать камерную музыку, миниатюры, песни. Этим не прокормишь большую семью и поэтому Алеша пишет оперы. Опера – отживший вид искусства, и Алешина семья живет впроголодь... Как еще может жить честный, искренний музыкант, который не хочет слагать гимны партии, Красной армии и «мудрому вождю»?

Алешины родители принадлежали к русскому дворянству и его культуре. Он родился в Берлине, в эмиграции. Потом родители не выдержали и вернулись в Россию, ставшую советской, – обратно в Царское Село, – ставшее теперь «Детским Селом». Алешу учили немецкому, французскому, музыке, а русская поэзия была настолько усвоена с детства его памятью, что давно сделалась органической частью его речи. Алеша – огромный, неуклюжий, толстый, в очках. Бесконечно добрый и непрактичный, начитанный, умный человек – абсолютный Пьер Безухов. Можно было бы снять Алешу в фильме «Война и Мир» без грима, без специального текста. Все, что бы он ни сказал, было бы естественным текстом Пьера. В том и гений Толстого, что его типы живут в России веками. В том и сила России и ее культуры, что века и перемены не в силах ее уничтожить.

Алешу, Саню и их дом я узнала в день похорон Алесиной матери, ставших событием в литературной жизни Ленинграда. Елену Васильевну мало печатали после революции, она могла писать лишь о вечном и прекрасном, – о любви, природе, чувстве. Все это не могло поставить ее в ряды новых, известных советских поэтов. Литературная среда знала и уважала ее потому, что она была прекрасный, открытый, душевно богатый и щедрый человек, и еще потому, что она была – как ленинградские дворцы – живым памятником русской культуры. Оставленная мужем, ставшим к этому времени «известным советским писателем», она жила вместе с любимым сыном Алешей, не бросила Ленинград во время блокады, продолжала и тогда писать стихи. Она написала интересные мемуары, охватывающие русскую литературную жизнь с конца прошлого века, годы эмиграции, годы возвращения. Небольшую часть, опубликованную в ленинградском литературном журнале, подвергли официальной критике. Надежды на публикацию книги исчезли.

Она доживала жизнь в болезни и бедности. «Известный писатель» намеренно лишил в завещании наследства своих детей и внуков. Совершенно ослепнув, Елена Васильевна продолжала диктовать стихи любимым внучкам – стихи о том, что жизнь, любовь и поэзия – вечны.

Елену Васильевну отпевали в большой церкви на Литейном, одной из немногих, еще действовавших в Ленинграде. Потом была «гражданская панихида» в клубе Союза Писателей, где говорили трогательные речи. Мемуары все равно до сих пор не изданы, как и посмертный однотомник стихов.

Я приехала на похороны из Москвы, потому что знала Алешу и его сводного брата, московского профессора-химика, знала их любовь к матери и знала многое о ней, так и не успев с нею познакомиться. Эта семья, многолюдная и сложно переплетенная через многие браки и разных детей, была той творческой средой, которая и меня звала жить творчески. Сводный брат Алеши, повторял мне без конца: «Пиши! Пиши! Ты это можешь. Ну, начни, как будто пишешь мне письмо – а там само дальше пойдет, попробуй!» Так он «вытянул» из меня мои «20 писем» и был первым читателем и критиком рукописи.

Потом Алеша и Саня познакомили меня с ленинградским другом Елены Васильевны – литературоведом, знатоком русской поэзии. Он перепечатал мою рукопись и сказал, что это – «готовая книга». С тех пор он держал один экземпляр у себя и считал его «своим» литературным детищем, давая его читать кому хотел, не спрашивая у меня.

Это был страстный библиофил, завещавший свою огромную библиотеку одной сельской школе. Книгами была уставлена вся его комната в огромной коммунальной квартире, и так как у него не было больше места, он держал полки с книгами даже в обширной ванной, которой пользовалось несколько семей. Старый филолог и историк литературы, он собрал большую книгу о Максимилиане Волошине, которую никак не мог протолкнуть в издательство. У него я впервые прочла стихи Иосифа Бродского, еще не изданные в СССР. Много интересных книг было в его доме, в том числе биография Вячеслава Иванова, изданная в Оксфорде, присланная ему дочерью В. Иванова, с которой он в переписке.

Взглянув однажды на мою ладонь, он сказал: «А у вас будет огромная перемена в жизни. Вторая половина вашей жизни будет несравненно интереснее и значительнее, чем первая». Я смеялась тогда, а теперь часто вспоминаю его слова...

Алеша был хорошим пианистом. Наслаждение было слушать «романтическую прелюдию», которую он посвятил матери. Он писал романсы на ее стихи, его лучшие вещи были камерные. У Алеши и Сани всегда было полно народа в доме – певцы, музыканты, художники. Это был открытый, дружелюбный дом, однако, я знала, что на утро у них не будет к завтраку ничего, кроме кофе и чечевичной каши. Но кого удивишь в СССР безденежьем? Все так живут, – один костюм, пока не сносится. Телефон у них

часто выключали за неуплату, но когда деньги были, они не могли отказать себе в долгих телефонных разговорах с друзьями в Москве.

В квартире у Алеши старая русская мебель, голландский шкаф 18-го века, хорошие картины – имущество матери. Но все это в таком состоянии, что страшно было сесть на стул. Подруги много раз советовали Сане продать «старую рухлядь» антиквару – по крайней мере будут деньги. Но жаль было расставаться с кроватью бабушки, с ее креслом, трюмо. С каждой вещью была связана дорогая сердцу память, – и все оставалось на своих местах. В кухне продолжали угощать чечевицей с луком, сидя на диванчике с золочеными ножками.

Я любила приезжать к ним в Ленинград. Они водили меня в Эрмитаж, в студию к художнику-модернисту, знакомили с друзьями. И хотя у меня были свои дальние родственники в Ленинграде, я предпочитала приезжать к Алеше или его знакомым, это было приятнее и интереснее.

Алеша и Саня приезжали к нам в Москву. Тогда у нас сразу в квартире становилось тесно, а мои дети смотрели Алеше в рот, потому что он так занимательно рассказывал. Но его приезды всегда были связаны с неприятностями: он пытался издать что-нибудь из своей музыки, и обычно это не удавалось. Алеша мечтал побывать в Париже, там где многие годы жили его родители, мечтал встретиться с большим музыкальным миром. Когда Стравинский посетил СССР, его пригласили в гости к Алеше. Тогда еще жива была Елена Васильевна и ленинградский союз композиторов решил, что в этом доме «не посрамят честь советской музыки» и потому рекомендовали молодого композитора вниманию Стравинского. Но самому Алеше только однажды удалось поехать в Болгарию, а Парижа ему пока не видать...

* * *

В Москве у меня было много друзей, так или иначе связанных с литературным миром – поэты, драматурги, литературоведы и филологи, журналисты, переводчики, редакторы, кинокритики и киносценаристы. Имена этих людей малоизвестны, – я никогда не стремилась к знаменитостям. Но это были профессиональные знатоки своего дела, строгие ценители.

Некоторые из них работали в Институте Мировой Литературы, вместе со мной; другие принадлежали к Союзу Писателей, куда мы все часто ходили на собрания и дискуссии. Многие жили летом в деревне Жуковка, под Москвой, совсем рядом с нашей дачей, и мы встречались там.

В Москве – одна писательская организация, издательств мало, поэтому любая новость, новые стихи, острое словцо в дискуссии сразу становились всем известны – так же как любое новое установление партии об искусстве, или даже лишь сплетня о возможности такового. Москва – как большая деревня, любой слух распространяется моментально. А перемен в литературе и искусстве было так много за последние десять лет.

Разве можно забыть прогулки по обрыву над рекой в нашей «литературной деревне» Жуковке?

Нас было пятеро: знаток немецкой литературы, специалист по американской, два переводчика испанской. Здесь же жил редактор единственного в Москве журнала кинокритики. Приезжал в гости поэт, переводивший с польского и с чешского. Его друг переводил с эстонского. Это была не «богема». Всех этих людей вряд ли можно было назвать даже «левыми» в их литературных пристрастиях. Но они были безусловно левыми там, где дело касалось партийного контроля. Слишком много этого контроля они испытали на себе, и теперь жили надеждами, что наконец настанет – не свобода печати, о, нет! – а хотя бы возможность публикации романов Солженицына и Пастернака, стихов Анны Ахматовой, настанет возможность писать правду о жизни людей в наше время, в нашей стране...

Они испытали многое. Знаток немецкой литературы отсидел срок в лагерях, где познакомился с Солженицыным. Поэт начал печататься, скрывая свою еврейскую фамилию под русским псевдонимом – иначе его бы не издавали. То, что он ушел на фронт студентом и воевал четыре года за Россию, очевидно, не убеждало издателей в его патриотизме.

Специалист по американской литературе знала, что невозможно протолкнуть в издательство переводы современных американских писателей.

Переводчики с испанского убедились, что им не видать не только Испании, но и латинской Америки. А Куба, куда им разрешалось ехать, их не очаровала.

Тем не менее, все они не были настроены враждебно к советской власти или к партии: они только хотели бы улучшить эту власть и эту партию в соответствии со своими идеальными, возвышенными представлениями о том, какой ей следует быть. И они верили и надеялись, что это постепенно произойдет, и каждый новый знак «потепления» укреплял их веру. Но партия с поразительным упорством разрушала те иллюзии, которые сама же сеяла.

Если публицист Илья Эренбург, или поэт Евтушенко, или драматург А. Штейн, или кинорежиссеры Швейцер, Габай и Тарков-

ский, прозаики Виктор Некрасов и А. Яшин, позволяли себе сказать немного правды о жизни в СССР и за рубежом – к чему партия их же «призывала» – как следовал окрик, подзатыльник, а то и зуботычина «сверху». Едва лишь Константин Паустовский посмел обличить губительный советский бюрократизм в яркой речи в Союзе Писателей, а В. Дудинцев посмел написать на эту тему роман, едва лишь К. Симонов вздумал критиковать постановления партии о литературе и искусстве, – как каждый из них получил строгий пинок.

Когда молодежь и сотни москвичей приветствовали выставку скульптора Эрзя, вернувшегося из Америки, пинок получил сам Эрзя. Как только молодые художники поверили всерьез, что настала пора творить в различных формах, что пресловутый «социалистический реализм» не обязывает их быть похожими один на другого и на выставках появились произведения Фалька и Неизвестного, – их немедленно окрикнули «сверху». Совсем как крепостных актеров, плясавших некогда для барина в его собственном театре...

Либеральный премьер Никита Хрущев, обнадеживший было художественную интеллигенцию провозглашением десталинизации во всех областях жизни, теперь вступил в единоборство с поэтами Маргаритой Алигер и Андреем Вознесенским, со скульптором Неизвестным, с кинорежиссером Михаилом Роммом на так называемых «приемах» и «встречах» с деятелями искусства.

М. Ромм заметил ему, усмехнувшись: – «Мне очень трудно спорить с премьер-министром и первым секретарем ЦК КПСС!» – но Хрущев не уловил сарказма.

Скульптор Неизвестный напомнил Хрущеву, что воевал на фронте и был в немецком лагере, но премьер настаивал, что он не патриот, и по-видимому, даже гомосексуалист.

Маргарита Алигер, известная поэтесса, пыталась доказать, что «всегда была с партией», но премьер признался, что книг ее не читал, и что имя ее ни о чем ему не говорит (он только уловил, что имя не русское).

Подобных «встреч» с художественной интеллигенцией по инициативе Хрущева было, с 1957 по 1964 год, несколько. Гости съезжались в одну из бывших резиденций моего отца под Москвой. Здесь накрывали столы в парке, катались на лодках, гуляли и «беседовали» с правительством в непринужденной обстановке. Вино и водка лились рекой. Ворошилов и Шолохов пели народные песни. Ни к каким решениям после подобных «встреч» не приходили – должно быть наутро у всех слишком болела голова.

Хрущев делал тщетные попытки «разобраться», что за процессы происходят в литературе и искусстве. Но при своих экспертах

из ЦК и отсутствии знаний он никак не мог составить себе ясную картину. Ясно было одно: что художественная интеллигенция представляет собою самую «неспокойную» часть населения... Районный комитет партии, куда входили Союз Писателей, Институт Мировой Литературы, несколько театров и студия Киноактера, жаловался: – «Трудный у нас район – сколько творческих организаций! На производстве – легче!»

Иногда редактору «Нового Мира» Александру Твардовскому или Илье Эренбургу удавалось добиться приема в ЦК или попасть к самому Хрущеву. Тогда наступало облегчение, «Новый Мир» спокойно выпускал очередной номер, печатали «Один день Ивана Денисовича» и другие рассказы Солженицына, – до следующего пинка, до следующей зуботычины.

Хрущев умел испортить даже то хорошее, что начинал сам. Он буквально «рубил тот сук, на котором сидел». Обнадежив вначале интеллигенцию и вызвав ее симпатии, он сам же начал по-барски командовать, грубить, хамить, и оттолкнул от себя ту самую интеллигенцию, на которую мог бы опереться в борьбе с бюрократией. Чему удивляться: бюрократия была ему ближе и роднее.

В СССР газеты не сообщают новостей. Центральных газет две – «Правда» и «Известия». Распространенная шутка гласит: «В „Известиях“ нет правды, а в „Правде“ нет известий». Разговоры премьеры с писателями, как и прочие новости, передавались из уст в уста за чашкой чая среди смородиновых кустов в деревне Жуковка, или во время прогулок возле реки.

«А знаете, что сказал Эренбург на последней встрече с Хрущевым? Издание мемуаров будут продолжать».

«Слыхали, что ответил Вознесенский на приеме?»

«Говорят, Алигер была почти без чувств и Костя Симонов увел ее из-за стола, поддерживая обеими руками... А знаете, на следующем приеме, больше чем через год, Хрущев узнал ее и сказал ей: – „Я люблю упрямых, я сам упрямый!“

«Вы слышали? Сын Микояна был в гостях у Хемингуэя, на Кубе. Гослитиздат наконец готовит к печати роман „По ком звонит колокол“. Теперь есть надежда, что издадут! Осторожнее, не наступите, по этой тропинке вечером коровы ходят к реке».

«Коровы?! Пойдемте лучше там, вокруг поля! Да-да, я слушаю. Я ничего этого не знаю. Ведь сын Микояна не литературовед».

«Это неважно. Его попросили написать статью о встрече с Хемингуэем, видели в Литературке? Издательство надеется, что это поможет». (Это не помогло. Роман так и не издан).

«Давайте сядем здесь, на крылечко».

Мы садимся, протянув ноги в пыли, около избы, которую снимают переводчики с испанского. Это даже не изба, а полусарай,

но для лета ничего. В деревне знают, что «литераторы» заплатят сколько угодно и за это. Здесь тихо, можно работать, до Москвы ходит электричка. В крошечной комнатке пишущая машинка на столе. Испанист пишет книгу об испанском поэте Гарсия Лорка, погибшем во время гражданской войны.

«А знаете, что сказал Троцкий мексиканскому художнику Диего Ривера? Мексика полна памяти о Троцком, у него было там много друзей».

«А вы видели книгу Эммануэля Д'Астье о Сталине? Интересно, но многое неверно. Светлана, а почему бы вам не написать воспоминания? Ведь вам есть что рассказать!»

Опять! Наверно все сговорились; в который раз приходится слышать эти слова. Я неопределенно мычу в ответ. Мне не хочется говорить, что я уже пишу, сидя на своей террасе недалеко отсюда.

Значит, «Гарсия Лорка» тоже будет написан в деревне Жуковка. Это будет хорошая книга. Как жива память о гражданской войне в Испании среди русских писателей! Сколько романтиков устремилось тогда в Испанию из разных стран и из СССР, – многие там нашли смерть. Что ж, это было лучше, иначе их ждала тюрьма и суды, по возвращении на родину.

Романтический коммунизм 20-х годов, давно изжитый в СССР, вдруг вспыхнул и возродился вновь в Испании – поэтому туда многие и устремились. Он был окончательно задушен в 1937-38 году, и оставался жить лишь где-то в глубине неисправимых сердец, которые не согнуть и тюрьмам. Он превратился в фанатизм – так как никакой реальной почвы для него больше не оставалось... Но отголоски испанской гражданской войны продолжали питать сердца романтиков и через тридцать лет. Сердца слепых романтиков – потому что коммунизм и романтизм несовместимы.

«Знаете, Назым Хикмет решил остаться в Польше. Но теперь он, говорят, хочет вернуться. Бедняга Назым, прелестный человек, жаль его!»

Назым Хикмет – турецкий журналист, писатель и поэт, яркий представитель романтического коммунизма, провел 10 лет в тюрьме в Анкаре. Спасшись из тюрьмы, бежал в СССР и жил здесь много лет. Решения 20-го съезда обнадежили его всерьез, – как многих. Он написал тогда чудесную сатирическую пьесу «А был ли Иван Иванович?», высмеивая советских сателлитов – очевидно, Венгрию и Ракоши. Последовали венгерские события. Хикмет попал в самую точку.

Пьеса была так невыносимо злободневна, так остра, что ЦК КПСС немедленно запретил ее, после первого же просмотра. –

Назым обиделся и уехал в Польшу, в те дни раннего Гомулки – казавшуюся оплотом коммунистического либерализма. Позже он вернулся в СССР. Хикмет умер в мае 1963 года, не дожив до суда над Синявским и Даниэлем. Тогда, несомненно, он был бы в рядах протестовавших.

«Идемте пить чай!» Мы идем в другую комнату этого примитивного, но вдохновенного жилища. Пьем чай с неизменной колбасой и сыром. Открывается банка рыбных консервов. Как хорошо! Как интересно слушать новости. Где еще я узнаю сразу столько за один вечер? Наш знакомый поэт сказал: «В Жуковке живет прогрессивная интеллигенция и лучшие представители реакционной». Это он про меня.

* * *

Отголоски испанской гражданской войны жили долго, – и после того, так как были отправлены в тюрьмы вернувшиеся в 1936 году из Испании советские военные и писатели. В Москве в 1936 году во многих семьях усыновляли испанских детей-сирот. У мальчика, сидевшего со мной за одной партой, появился «испанский братик», и все ему завидовали. Мы все носили испанские шапки с кисточкой и знали два слова: «No pasaran!» На многолюдной елке для детей, устроенной на даче у Ворошилова, главными гостями были испанские девочки – Чарита и Лули. Они пели испанские и русские песни около рояля, и каждый хотел им что-нибудь подарить.

Потом, «испанские дети» выросли, стали советскими гражданами, но не забывали свой язык, и мечтали вернуться на родину. Я знала многих по университету – Хосе Гарсия и Элоина Лантарон стали историками. Все они привыкли к русским морозам, к валенкам и меховым шапкам – несчастные залетные птицы...

Когда Франко разрешил им вернуться, они бросились на родину. Но жить и работать там с «советским прошлым» оказалось трудно; многие просились назад в СССР, где их судьба была тоже нелегкой. ореол вокруг них давно исчез.

Память об испанской гражданской войне трансформировалась вместе со сменой поколений. Я знала это на примере одной московской семьи. Отец погиб в Испании, где он в чине генерала командовал под вымышленным именем одной из интернациональных бригад. Он был настоящим романтиком. Венгр, попавший в Россию в 1914 году, как военнопленный, оставшись после революции в СССР, стал писать живые, остроумные рассказы, руководил в 20-е годы в Москве молодежным «левым» театром, женился на русской и вскоре сделался известным советским писателем. Они жили хорошо, его дочь училась в одной из лучших

московских школ и мечтала о театре.

Как только началась война в Испании, он все бросил и поехал туда, где «сражаются за революцию». Этого ему не хватало в Москве. Ему хотелось опасности, он был отважен, и быстро стал в Испании генералом. Погиб он случайно. Жена с дочерью в Москве еще полгода продолжали получать от него письма, шедшие через долгую военную почту, через другие страны.

Он писал им прекрасные письма о войне, – это было его призвание. Его дочь, Тамара, с которой он был всегда очень дружен, выросла на этих письмах отца, воплощавшего для нее все самое лучшее и светлое.

Она поступила в театральный институт, и стала бы режиссером, но в 1941 году началась война с Германией и она немедленно заявила матери, что уходит на фронт медсестрой. Мать была почти в обмороке, но Тамара была непреклонна. Она не могла иначе – романтическая память об отце звала ее под пули.

Тамара была на фронте все четыре года войны медсестрой, политработником, организовывала концерты для войск в часы затишья, делала то, что было нужнее. На фронте она вышла замуж за офицера, и они справили «военную свадьбу» в блиндаже. Потом они вернулись в Москву, у них родился сын, который вырос и стал товарищем моего сына. А Тамара стала моей подругой.

Наши сыновья были почти однолетки. Они совсем не мечтали поехать во Вьетнам или Конго «защищать революцию», и сочли бы таких добровольцев сумасшедшими. Стасик хорошо знал французский язык, изучал испанский и писал неплохие рассказы. Испанский он изучал потому, что хотел стать журналистом и когда-нибудь поехать в Испанию, узнать там все, что возможно про своего деда. А рассказы он писал о любви, и о том, как родители не понимают своих детей.

Своих родителей он считал безнадежно устарелыми, – особенно отца, полковника, любившего читать сыну армейские нотации и требовавшего беспрекословного повиновения. Сын не хотел соглашаться с «газетными передовицами» – как он называл отцовские наставления, не желал повиноваться, и вскоре вообще ушел из дома, чтобы жить «без этого мешчанства».

Некоторое время он жил в комнате у товарища, где вместо мебели было лишь два матраса на полу, а на стене – большой портрет Эрнеста Хемингуэя. В Москве не легко стать «хиппи», потому что не найдешь жилья, и милиция вскоре вернет тебя к родителям, где ты «прописан». Стасик не был «хиппи», наоборот, он очень следил за своей наружностью, а рубашки и брюки ему шил его друг, сам – Слава Зайцев. Просто Стасик не желал мирить-

ся с «отсталостью и наивной партийностью» родителей.

Слава Зайцев, закройщик, известный теперь в Париже, Лондоне и в США – представляет собой то же поколение, что и мой сын и Стасик, которое не хочет войны ни за какие «идеалы».

Вместо военных подвигов Слава Зайцев с детства мечтал о красивой одежде. Он родился в подвале, в семье дворника, и вырос в подвале. Потом отец погиб на фронте, мать умерла и он остался сиротой. Его воспитала и вырастила добрая женщина – тоже дворничиха – жившая, как все дворники, тоже в подвале. Откуда у мальчика возникли образы красивой одежды в тех условиях, где он жил? Но ведь и Горький мечтал о красоте, живя на самом «дне». Слава не хотел ничего другого – он мог бы стать инженером, военным, мало ли профессий для мужчины – он хотел красиво одевать людей.

Окончив художественный институт он быстро привлек внимание своими первыми же моделями повседневной, простой, удобной одежды. Его пригласили работать на фабрику. Там консервативные толстухи встретили его, как врага: они сразу же увидели опасного соперника. Но модели Славы Зайцева неизменно выставлялись, и неизменно побеждали, и уже иностранные корреспонденты приходили брать у него интервью. Беседовали с известным молодым закройщиком где угодно, только не у него дома: показать жилище Славы Зайцева иностранцам было нельзя. Он жил в одной комнатухе с молоденькой женой и ребенком, где сам выкрасил стены в разные цвета, а одну в черный. На ней он прикалывал эскизы своих новых моделей. После подвала – и это было неплохо, а о том, как живут известные модельеры на Западе, Слава не догадывался... Может быть, теперь у него есть своя квартира?

«Военные подвиги» отцов и дедов остались в прошлом.

Новое поколение хочет жить свободно и красиво.

Оно не хочет убивать.

* * *

Незабвенная Жуковка! Какую странную смесь представляло собой это подмосковное поселение, объединенное «платформой Жуковка», где возле одноколейки, в ожидании электрички, собиралось в воскресный вечер все его разношерстное население...

В основе всего лежит старая деревня Жуковка, где есть хилый колхоз. Но большинство жителей ездит каждый день работать на подмосковные заводы. Летом избы без водопровода (уборная в деревянной будке за огородом), – сдают университетским профессорам, критикам, кинорежиссерам, поэтам. Тем, которые еще не заработали себе собственной дачи. И вряд ли смогут заработать.

В 1946 году правительство наградило изобретателей атомной бомбы и первого циклотрона «дарственными» дачами, которые были построены в сосновом бору, возле станции Жуковка. Так возникли дачи «секретных» и несекретных ученых, формально принадлежащие Академии Наук. Место было удобным и красивым, и деревянные двухэтажные дачки, построенные за государственный счет, росли как грибы. К «атомщикам» через несколько лет прибавились «спутники», и судя по тому, что дач все прибавлялось, советская наука делала большие успехи. Поселок стал известным. Уже вдовы перепродавали дачи другим советским богачам: среди физиков, химиков и математиков появились виолончелист Мстислав Растропович и композитор Дмитрий Шостакович.

Наконец, после 1953 года, после стольких разговоров о сокращении разбухшего государственного аппарата, выяснилось, что он еще больше разбух и ему не хватает летних дач. И построили еще три поселка из стандартных деревянных избушек с отоплением, обнеся каждый поселок коммунальным забором. Некоторые из дач дали министерским вдовам и пенсионерам, – в том числе и мне с детьми.

Мы жили тут каждое лето. А через 10 лет, когда дети выросли, я заявила, что в даче мы больше не нуждаемся. Это вызвало возмущение: «У нас не бывало случая, чтобы от дачи отказывались», – сказал мне представитель Совета Министров. – «Наоборот, просят! Что это вы? Создается впечатление, что вы в такой форме выражаете протест новому правительству». (Только что свергли Хрущева). «Когда мы сочтем нужным, то заберем у вас дачу. А пока что – пользуйтесь и не поднимайте больше этот вопрос». Мы остались.

Эти три части Жуковки – деревня, «академики» и «совет министров» – жили во всем отдельной жизнью.

В деревне был обыкновенный продуктовый магазин летом с длинной очередью на шоссе. Организовать здесь деревенский рынок милиция не разрешала из-за своих полицейских, никому непонятных, соображений.

На территории «совета министров» были свои продуктовые магазины, снабжавшиеся лучшими товарами, и чтобы «деревенские» не шли сюда покупать, администрация дачного поселка учредила пропуска, выдававшиеся всем дачникам. Для этого пришлось посадить у ворот (их было не менее пяти) специальных вахтеров, чтобы проверять пропуска у идущих с кошелками в магазин, а при отсутствии таковых – не пускать. Вахтеры были женщины из деревни. Отсидев у ворот, они отправлялись покупать здесь крупу и сахар для своих деревенских, кляня при этом

«проклятый совмин». Главными жертвами «системы пропусков» были жены академиков или их кухарки, которым тоже полагалось получить эти пропуска, но почему-то им выдавали их в конце лета. Жены академиков упорно делали свое дело, так как надо было готовить обед, и возле ворот и около магазинов часто возникал визг.

Накалившиеся страсти прорывались в дни праздников, когда подвыпившая деревенская молодежь устраивала драку с «совминовскими» в кино, где неминуемо встречались все слои населения. А в мирные летние будни, когда на перроне ждали утреннего поезда в Москву, элегантные переводчицы в ситцах стояли в одном конце перрона, а министерские дамы в шелках – в другом.

Моя жизнь в Жуковке была, как всегда и везде, парадоксальной. Из «совминовских» я здесь никого не знала. Мои друзья жили летом в деревне, позже я познакомилась с «академиками».

Однажды моя Катя привела за руку рыжую, как огонь, маленькую девочку, – свою новую подружку. Потом появился мальчик, Юра, их приятель, и его белая собака, шпиц. С тех пор они все неразлучны вот уже десять лет, а родители рыжей Тони Залеской стали нашими дорогими друзьями. Эти пожилые, почтенные люди, имевшие двух женатых сыновей, и внуков, были необычайно молоды душой. Каждое зимнее воскресенье мы отправлялись на лыжах в чудесные окрестные леса, образуя странную компанию из детей и шестидесятилетних приятелей Залесских – таких же весельчаков и балагуров. Шумная орава, нагуляв на морозе румянец и аппетит, вваливалась потом к нам или в нетопленную кухню Залесских. Извлекали все запасы – бутерброды, котлеты, колбасу, жарили яичницу и распивали бутылку коньяку. Родители Тони и их друзья были изобретателями, получившими много премий и орденов – но без публикации в газетах. Их открытия были государственной тайной. Это не мешало им быть веселыми людьми, любителями поэзии, музыки, спорта и кроссвордов. Закусив, все отправлялись на станцию к поезду, и Семен Александрович громко читал по дороге стихи Сельвинского, Пастернака и Евтушенко.

Летом, у них на даче был бадминтон и пинг-понг, где сражались наравне со взрослыми наши девочки и Юра. Дети рано стали интересоваться математикой, физикой, химией, астрономией, читали одни и те же книги, изучали английский язык. Девчонкам не было пятнадцати лет, когда я увидела в их руках научную биографию Эйнштейна, потом университетский учебник физики. Непонятное они спрашивали у Семена Александровича, он с удовольствием объяснял. Юра знал больше, чем девочки, его дедушка был химик, лауреат Нобелевской премии. В семье баловали

мальчика, талантливого, начитанного, нервного.

Другой его дедушка «изобрел» нечто такое, о чем даже нельзя было говорить. Он жил где-то в одном из новых городов, которые не нанесены на карту, и не имеют адреса кроме № почтового ящика, поэтому Юра говорил, что «дедушка и бабушка уехали в ящик». Там дедушка испытывал свои «изобретения», о которых немедленно узнавали все сейсмографы мира, но в СССР делали вид, что ничего никому неизвестно.

К увлечению Кати и Тони физикой, спортом и собаками, прибавилась вскоре верховая езда в манеже. Девочки дали страшную клятву, что никогда не выйдут замуж и будут всю жизнь заниматься спортом, ездить верхом и собирать книги. Тоня даже написала своему отцу расписку в этом, и он, усмехаясь, запер ее в ящик письменного стола. Моя Катя не отважилась написать такой документ...

В последние годы появление на нашей даче Сингха, черной Берты и частых индийских гостей вызвало сумятицу в поселке Жуковка. У «совминовских» дам вытягивались лица, когда они видели Берту с ее дочкой, гулявших по дорожкам или приходивших в магазин. Берта к тому же говорила с девочкой по-английски. Сингха не видели, потому что он не мог много гулять, но удивленно разглядывали женщин в сари, приезжавших к нему в гости.

«Академики» больше не ходили к нам, увидев однажды посольские машины возле нашего дома. «Я не хочу назавтра сам на себя писать заявление», – грустно сказал Семен Александрович. Он не добавил, что если не он сам, то – «на него напишут» другие.

Юриным и Тониным родителям не разрешалось, без особого разрешения, встречаться с иностранцами. Причины этих бессмысленных установлений известны только тем, кто их устанавливает. Но никому неизвестны эти безымянные персонажи, диктующие нормы жизни советским гражданам вопреки всем законам и конституции.

Родители Тони Залесской и их веселые сверстники с юности сохраняли в душе остатки романтического коммунизма 20-х годов, от которого они не желали отречься.

Их коммунизм был не теорией Маркса и Ленина, а воспоминанием о ранних пореволюционных годах, с голодной, но веселой студенческой жизнью, с выступлениями Маяковского, театром Мейерхольда, свободными диспутами в политике и искусстве, с надеждой на «мировую революцию». Теперь они, пожалуй, больше всего верили в возможность постепенного сближения в мире, расколотом на социализм и капитализм. Уверовав в коммунизм со своих студенческих лет, они не желали расставаться с «греха-

ми молодости».

Но их два сына – инженеры – смотрели на вещи совсем иначе и считали родителей старомодными. А Тоня, Юра и моя Катя, – уже никогда не будут всерьез изучать марксизм-ленинизм. Он для них безнадежно устарел. И рано встав на путь объективного, математического мышления эти девочки, безусловно, не будут делить род человеческий на классы и партии: скорее они разделят его на тех, кто согласен с теорией относительности и на тех, кто не согласен. Они уже знают, что общим языком человечества и Вселенной будет язык математических формул.

* * *

Супруги Львовы были оба астрономы.

Я не могла скрыть глубокого восхищения быстрой, изящной Лидией Юльевной. Она не только вела интересную работу – редактировала научные издания по астрономии, но успевала еще сделать закупки, понянчить внука, ухаживать за больной свекровью, и вечером сбегать с сыном, студентом, в кино.

Семья жила в маленьком, старом деревянном домишке, выглядевшем совсем как изба, – настоящий памятник старой Москвы. Внутри, с великим трудом, своими руками были созданы необходимые удобства – газ, отопление, ванна. В доме сохранилась старая русская мебель, картины, серебро. В какие прелестные чашки наливали чай в гостиной – она же и кабинет и спальня хозяев. За этим круглым небольшим столом собиралась вечером усталая, наработавшаяся семья, объединявшая родителей астрономов, сына – физика, дочь и зятя – художников.

О коммунизме здесь не говорили. Он не существовал для этих людей, чьи предки были художниками и физиками, и служили науке, работая для прогресса человечества. Революция сделала жизнь этих потомственных русских интеллигентов бедной, замкнутой, униженной. Но они продолжали свою работу, игнорируя, презирая этот несуразный строй, этих необразованных правителей, сохраняя во всем свое человеческое достоинство и заботясь о том, чтобы их дети так же, как и они продолжали служение Прогрессу.

Над маленькой кушеткой, где спал сын Лидии Юльевны, висит шаткая полка, набитая книгами. Над постелью ее дочери – серебряное Распятие, от бабушки. На стенах чудесные акварели, сделанные отцом Лидии Юльевны в Крыму. За круглым столом не обсуждается политика: ее здесь не любят и о ней не говорят. Рассказывают о внуке, о новых фильмах, о новых книгах.

Лидия Юльевна носит на пальце огромный сапфир из Индии, подарок от ее первой свекрови. Когда-то, в юности, только начав

работать в Пулковской обсерватории, Лидия Юльевна встрети-лась с известным индийским астрономом Чандрашекхаром, и давно мечтала поехать посмотреть Индию. В этом доме любят и понимают Индию, может быть, поэтому мне было здесь так приятно. Но пока что, кроме восточной Германии и Болгарии Лидии Юльевне никуда не удалось съездить.

У нее маленькие, крепкие руки без маникюра, которыми она делает всю домашнюю работу. Кольцо с сапфиром и другое, с большим агатом, не мешают ей при этом – они уже стали частью ее рук. Я ездила к ней на холодную зимнюю дачу, когда она жила там с внуком. Она топила котел, носила дрова, готовила, стирала, купала мальчика, – все это, чтобы освободить от забот дочь-художницу, которой нужно было окончить институт. Но Лидию Юльевну никто не освобождал от работы, ей только все прибавлялось и она все успевала, оставаясь при этом спокойной, элегантной и привлекательной.

Какая сила помогала ей порхать целый день на быстрых, легких ногах? Она не была религиозной в обычном смысле слова, – для этого у нее был слишком рациональный взгляд астронома на Вселенную. Но, может быть, именно эти ее глубокие знания убеждали ее в существовании таких источников энергии, о которых остальным неизвестно...

Для меня Лидия Юльевна – образец душевной культуры, очищенной от житейской пыли и копоти – от всего, что так разъедает и грязнит человеческую жизнь. Она никого не ругает, никого не ненавидит – ей не до того, потому что ее день полон положительной работы. Она не может позволить себе тратить время на словесные осуждения и протесты. Поэтому ее жизнь полна и плодотворна. И даже редкая встреча с ней всегда приносила мне спокойствие и уверенность в силе добра и созидания.

Пожалуй, в чем-то похожа на нее Вера, с которой я училась десять лет в одном классе. Мы и до того знали друг друга, потому что наши мамы были подругами. В семье Веры хранились традиции русской интеллигенции – но не дворянской, а демократической, «разночинной», несшей просвещение из столиц – в далекую глушь, в народ. Ее родители учительствовали в деревне и в народных школах, их жизнь была самоотверженной, бедной и целеустремленной. Они никогда не знали роскоши и не имели даже элементарного достатка. Их богатства и сокровища были только духовными, и их они полностью передали и завещали детям.

Внешне Вера была полной противоположностью острому изяществу Лидии Юльевны. Она крупная, медлительная и выглядит старомодной в свои сорок лет, по сравнению с элегантной пятидесятилетней Лидией Юльевной. У Веры коса вокруг головы, ино-

гда она ее укладывает узлом на затылке – обычная, «деревенская» прическа русских, русоволосых женщин. У нее застенчивая улыбка и огромные серые глаза, – ясные, умные и печальные. Почему же мне кажется, что эти две женщины так похожи?

Потому, что для меня Вера – тоже образец душевной чистоты, порядочности, правды. И к этим высоким образцам я сама, – грешная и слабая, – должна обращаться за помощью и поддержкой, чтобы очистить свой дух, чтобы набираться у них сил.

Вера – биолог. Она занимается генетикой, и это сделало ее жизнь трудной, так как генетикам пришлось столкнуться в 1948 г. с запретом хромосомной теории. Огромная отрасль знания была объявлена партией – запрещенной. Средневековая инквизиция? Суд нам Галилеем? Сожжение Джордано Бруно? Нет, никого не сожгли, но «мудрая партия» объявила учение Менделя-Моргана ересью, – и ересь не имела права на существование в СССР.

Тем не менее «ересь» подпольно существовала, ученые продолжали ставить эксперименты, прикрываясь другой тематикой. А иногда приходилось просто переносить эксперимент домой, в коммунальную кухню, или в единственную комнату, где живет семья. Так делали многие коллеги Веры. Это только укрепило их упорство.

Когда, спустя много лет, науку «реабилитировали», оказалось, что годы не прошли даром. В восстановленном лишь в 1960-е годы институте генетики работа Веры и ее коллег заняла принадлежащее ей по праву место.

Когда Веру послали в 1956 году в Париж на конференцию, она выучила французский язык в четыре месяца, и смогла прочесть свой доклад и отвечать на вопросы по-французски. У нее своя система в любом новом деле: как быстро усвоить грамматику; как быстро научиться печатать на машинке; как ускоренным темпом готовить, когда нет времени; как вести научную картотеку...

Дома она живет вдвоем со стареньким папой, которого она кормит, нянчит и обожает. Из-за него она отказалась от поездки в Англию на полгода: невозможно найти работницу или сиделку в Москве. Ей предлагали очень выгодную работу на Кубе: Фидель Кастро вдруг решил организовать институт генетики и стать во главе его. Пригласили ученых из всех стран, полагаясь на их братскую помощь. Ученым предоставлялись роскошные условия жизни на Кубе. Вере предложили ехать и взять папу – она только рассмеялась. Куба – не для нее; это прямо противоположно ее взглядам.

Они живут в двух маленьких комнатках, где, кроме огромной коллекции пластинок и радиолы, нет никаких предметов роскоши. Ванны тоже нет. И лифта нет, и телефона нет, хотя это самый

центр Москвы. Кухня крошечная, без окна.

Вера зарабатывает много, но деньги мало значат в советской экономике. На телефон надежды мало, а на отдельную квартиру – совсем нет, так как Вера – беспартийная. Партийный активист, проводящий половину своего времени на собраниях и в районном комитете партии, первым в длинном ряду ожидающих получить новую отдельную квартиру с телефоном. Беспартийный подвижник науки, как Вера – последним. Она это знает, не жалуется и не клянчит, – это не в ее характере.

Но как славно у нее в доме, какая чистота вокруг!

Пышно зеленеют растения на солнечном окне, весело голубеет небо в большие окна, теплом и приветливостью веет от этого аскетически-простого жилья.

У Веры в ее комнатухе два стола, заваленных книгами и письмами. Ей пишут ее парижские коллеги, пишут из других городов России, она – уже признанный авторитет в своей отрасли знания. На стенах картины молодых художников, из тех, кого не выставляют: новый символизм, импрессионизм, немного похоже на Врубеля, яркие краски, плавная композиция. Это не выставят, пока не произойдет какой-то великий сдвиг в искусстве, в жизни всей страны. Пока Россия не выйдет из своего мрачного тупика. Вера знает это, поэтому молодые художники выбрали стены ее комнаты, как самое подходящее место для себя.

Ей приносят свои рукописи – еще не писатели, а просто люди, которым хочется говорить, писать. Она строгий ценитель и критик. Ее слову верят, ее любят.

Совсем незадолго до моего отъезда из Москвы она рассказывала мне о молодом аспиранте-американце, появившемся в ее Институте и привлечшим всеобщую симпатию своим простым, веселым нравом. Без сомнения, она с удовольствием поехала бы снова во Францию, повидать своих коллег, поехала бы и в Англию, если бы не больной папа; ее работа везде была бы оценена по достоинству. Но в ряду тех, кто может получить визу на поездку за границу, беспартийная Вера всегда будет стоять последней в очереди... И Лидия Юльевна – тоже.

* * *

Борис Андреевич и Анна Андреевна родились в Царицыне, на Волге, – который они так и продолжают называть, несмотря на переименование этого города сначала в Сталинград, а потом в Волгоград.

Болезненная страсть к переименованию городов и улиц характерна для непостоянства советской жизни. Пермь переименовали в Молотов, потом обратно в Пермь. Был город Троицк на Урале,

которому пришлось вернуть его старое дореволюционное имя... В Москве улица Воздвиженка превратилась сначала в улицу Коминтерна, а после упразднения последнего стала проспектом Калинина. В Ленинграде Невскому проспекту, наконец, вернули его имя; но он долго был «Проспектом 25 Октября».

Брат и сестра Владимировы родились в семье русского врача и итальянской певицы, основавшей в Царицыне музыкальную школу. В облике обоих много итальянского – темные глаза и волосы, смуглая кожа. В детстве брат играл на скрипке, сестра на фортепиано. Анна Андреевна закончила консерваторию, но брат увлекся политикой и, в 17 лет, бросив скрипку и реальное училище, стал комиссаром Красной Армии.

После гражданской войны он был партийным работником в Закавказье, занимаясь печатью, культурой и искусством. Мать и сестра переехали к нему в Тифлис, быстро освоили острую южную кухню, и на всю жизнь полюбили Грузию, где семья прожила свое лучшее время. В их доме собирались грузинские актеры, писатели, художники, устраивались музыкальные вечера. 20-е годы были временем свободы в искусстве. Молодой «комиссар» знал и понимал этот круг, и сам снимался в кино, не гнушаясь ролью атамана анархистов – батяки Махно – чего не позволил бы себе в поздние годы ни один партийный работник.

В те дни была возможна и такая сцена: однажды войдя в кабинет тогдашнего партийного руководителя Закавказья Орджоникидзе, Борис Андреевич увидел, что на коленях перед ним стоит женщина в пыльном дорожном плаще и сложив на груди руки, произносит страстную речь. Это была писательница Мариэтта Шагинян, вбежавшая сюда прямо с дороги, умолявшая Орджоникидзе защитить неповинного инженера большого строительства, обвиненного во вредительстве. Речь помогла. Тогда это еще помогло.

В начале 30-х годов Владимировы переехали в Москву. Борис Андреевич вместе с Александром Фадеевым и Леопольдом Авербахом стал членом правления организации «пролетарских писателей» (РАПП), одним из ведущих критиков литературы и кинематографа. Он часто видел Горького, встречался с моим отцом.

Он рассказывал, как недоволен был Горький неожиданным решением партии упразднить творческие группировки писателей. Несмотря на частые визиты Сталина, Ворошилова и других к Горькому, с его мнением не посчитались и он был поставлен перед свершившимся фактом. Горькому пришлось согласиться с почетной ролью «патриарха советской литературы», возложенной на него партией, хотя он не был согласен с введением «социалистического реализма», как единого стиля для всех писателей

– не согласен с упразднением различных творческих организаций. Ему ничего не оставалось, как вяло пробубнить официальный доклад на 1-ом Съезде Советских Писателей, состоявшемся в 1934 году и ознаменовавшем собою полное подчинение «литературного дела» партии.

После этого события Борис Андреевич покинул Союз Писателей и уехал на дальний Север работать на строительстве. Он понимал, что дело приняло опасный поворот и что искусство кончилось. Его старый коллега по РАПП'у А. Фадеев сумел приспособиться к новой ситуации, и после смерти Горького возглавил Союз Писателей. А в 1937 году он помог отправить на эшафот многих пролетарских писателей и своего старого товарища Л. Авербаха. Борис Андреевич был исключен из партии, снят с работы и ждал ареста.

Арест не произошел. Работы не было. Появиться на поверхность было опасно. Вернувшись с Севера в Москву Владимиров сидел дома и разрисовывал от руки ткани – у него был хороший вкус. Так он и жил до войны. А во время войны пригодились его инженерные навыки, он стал строить бомбоубежища. После войны он начал опять работать в кинематографе – редактором сценариев. Сценарии пишут писатели, состоящие в Союзе Писателей, которым руководил в то время А. Фадеев. Это несколько беспокоило Владимирову. И в 1948 году, когда партия предприняла поход против «космополитов в искусстве», Борис Андреевич был снят с работы, как «антипатриот и космополит». Его «вина» состояла в том, что он браковал бесталанные сценарии, писавшиеся по заказу и выдававшие показную ложь о советской жизни – за правду.

Борис Андреевич опять стал разрисовывать ткани, чинить часы и лампы и ждать ареста.

Наконец времена изменились. После 20-го съезда Владимиров снова вернулся в литературу и искусство, стал опять членом Союза Писателей, был восстановлен в партии. Вернулись из тюрьмы уцелевшие «пролетарские писатели», – их было немного. Фадеев застрелился в своей даче в Переделкино, лежа в кровати, поставив на ночной столик портрет Сталина... «Сашку замучила совесть, – мне не жалко его!» – сказал Борис Андреевич, узнав об этом.

Я познакомилась с Владимировыми именно в это время. Борис Андреевич делал экранизацию «Королей и Капусты» О. Генри. Семья потихоньку возвращалась к жизни, – но здоровье, годы и силы были безвозвратно потеряны.

Борис Андреевич оставался коммунистом – далеко не таким непримиримым, как в молодости. Но на будущее искусства, страны и самой партии, к которой он снова принадлежал, он смотрел

с глубоким пессимизмом. В Союзе Писателей, куда он ходил теперь на собрания, он не нашел «своей среды». Он не соглашался ни с либеральными надеждами идеалистов, ни с шумными криками левых поэтов. Правление Союза по-прежнему смотрело на него косо. Мало что изменилось. Союз Писателей Борис Андреевич считал в творческом отношении безнадежной организацией. С такой же безнадежностью смотрел он на попытки Института Мировой Литературы, где я работала, написать историю советской литературы.

Его пессимизм имел глубокое основание, и так резко отличался в то время от всеобщих радужных надежд. В 1956 году в ИМЛГи взяли за «восстановление истинной истории литературы». Андрею Синявскому заказали статью о творчестве Пастернака. А в 1966 г. Синявский уже сидел в тюрьме, Пастернак умер, исключенный перед этим из Союза Писателей, а три тома «Истории Советской литературы», изданных за это время, было приказано пересмотреть и переделать...

Борис Андреевич жил с сыном, невесткой и внучкой в коммунальной квартире. Отец и сын были отличные кулинары, так же как и Анна Андреевна. В этой милой семье, с которой я подружилась, меня научили готовить. Свои кулинарные навыки я вынесла, главным образом, из этой тесной коммунальной кухни. Каждый здесь священнодействовал, повязавшись фартуком. Никто не умел приготовить такое кофе, такой салат, такой крушон – как Борис Андреевич. Как трудно было выбрать сыр, чтобы угодить гурманам! Какой великолепный «семейный» соус для селедки растирали поочередно сестра и брат. А какое несравненное грузинское сациви и лобио готовилось здесь по случаю семейных дней рождения! Какие ароматы источала тесная кухня с закопченным до черноты потолком, приводя в ярость соседак.

В этой семье я научилась не только готовить.

Сколько рассказов выслушала я здесь! Борис Андреевич видел Троцкого в 1924 году, когда тот отдыхал на Кавказе; знал Кирова и Орджоникидзе еще с гражданской войны и по работе в Тифлисе. Говорил со Сталиным о литературе и кинематографе; показывал Микояну строительство северной электростанции, где работал в то время. Он знал историю партии и ее вождей по собственному опыту, а не из учебников. Ему бы следовало написать мемуары, но он слишком хорошо знает нравы Союза Писателей: рукопись не только не будет опубликована, но может однажды таинственно исчезнуть из его стола.

Мы ходили на концерты в Консерваторию. Брат и сестра давно не прикасались к скрипке и пианино, но их музыкальный вкус был безукоризненным. В тифлисской Консерватории Анна Ан-

дреевна была ученицей Палиашвили. Оба прожили жизнь в мире искусства, знали Эйзенштейна, Бабеля, Багрицкого. Они были эстеты, круг их друзей состоял из артистической интеллигенции. Многие из них были арестованы, многие погибли; некоторые вернулись живыми. Именно вокруг семьи Владимировых нашла я своих новых, взрослых друзей в последние годы. От них я и узнавала заново историю страны, партии, революции, гражданской войны. Ту историю, которую, вот уже 50 лет, не могут написать официальные советские историки.

* * *

Иногда меня звали в гости к почтенным пожилым дамам выпить чашку чаю и поболтать. Я люблю старых людей, как люблю старые деревья: в их тени покой и прохлада, ими любуешься, около них так спокойно.

Марта Лазаревна жила со своим взрослым сыном в одной комнате потому, что второй у них не было. Сын был талантливым инженером, получил с группой коллег ленинскую премию – «секретную», о которой не пишут в газетах. Он и его мать имели право получить отдельную квартиру из двух комнат (большого им не полагалось), но они не хотели уезжать на окраину Москвы из центра. Современным новостройкам со звукопроницаемыми стенами и низкими потолками они предпочитали тишину своей единственной, большой комнаты, перегородженной посередине книжным шкафом.

Правда, главной причиной, почему они не хотели уезжать из своей коммунальной квартиры, где на кухне собиралось шесть хозяек, а около уборной стояла очередь, было другое. Дело в том, что Марта Лазаревна родилась и выросла в этой квартире, раньше принадлежавшей ее отцу. Квартира была огромной, и после революции сюда вселили по семье в каждую комнату, а бывшим владельцам оставили одну. В этих стенах была прожита долгая, трудная жизнь и не хотелось покидать их.

Марта Лазаревна делала технические переводы с английского. Ее сын, Виталий, математик, физик, инженер, собирал книги об искусстве и пластинки. На это они и тратили все свои деньги, хотя могли бы купить автомобиль или телевизор. Им удавалось добывать редкие заграничные издания сюрреалистов, записи американских народных песен – «черный рынок» в Москве составляет все, что угодно. Купить же новое американское издание Пикассо в магазине невозможно.

О поездке за границу не приходилось и мечтать, хотя Виталий работал в Институте, откуда часто посылали «за рубеж». Для этого были четыре основных причины: во-первых, Виталий был еврей;

во-вторых, не женат; в-третьих – хорошо говорил по-английски; в-четвертых – беспартийный. Самое плохое сочетание, самое опасное с точки зрения дающих визу. Предпочитают посылать тех, кто зависит от партии, от переводчика, и от семьи, оставленной в СССР в качестве заложников.

Мать и сын были поразительно дружной парой. Так славно было пить чай за их небольшим круглым столиком посреди комнаты, заставленной книжными шкапами, где на высоком старом бюро щурил медные глаза безмятежный Будда. Спокойствие и мягкость были в обитателях этой комнаты, смирившихся с одной комнатой, с коммунальной кухней, с тем, что пальто висят тут же на двери, что поездка на работу каждый день занимает полтора часа на поезде, что выхода из этой жизни нет, и не будет, потому что это – судьба.

Быть может в этой семье так спокойно принимали «судьбу» потому, что с братом Марты Лазаревны произошло настоящее чудо. Но это была счастливая судьба.

Он был уже пожилым инженером и работал в одном из московских министерств, когда в октябре 1941 года взял винтовку и ушел в ополчение, защищать Москву. Абсолютно штатский человек, интеллигент, он немедленно же попал в окружение и был взят в плен. С тех пор о нем не было никаких известий, и семья считала его погибшим, тем более, что еврею едва ли удалось бы остаться живым в немецком плену. Между тем, через 12 лет, в 1953 году он явился домой живым и невредимым, правда, совсем с другой стороны – с Востока, из Сибири.

Я видела его у Марты Лазаревны. «Чудо» было высокого роста, выглядел очень моложаво – ему было теперь за 60 – а в глазах играл юмор. Он снова работал теперь в своем бывшем министерстве, а о своих «приключениях», приятно грассируя, говорил только в шутку.

Он легко говорил по-французски, и это спасло его: в плену ему удалось выдать себя за француза. Его увезли в Германию и он работал больше трех лет на одном из заводов, как сотни других пленных из России. Затем пришло освобождение...

«Освобождение» выразилось в том, что бывших советских военнопленных посадили в закрытые вагоны, как скот, и отвезли без пересадки в Сибирь – продолжать свой каторжный труд там. С военного завода он попал на лесозаготовки. Из-под немецкого конвоя – под свой, советский. Написать домой хотя бы о том, что он жив не разрешалось: уцелевшие в немецком плену считались политическими преступниками за то, что выжили.

Подобно моей приятельнице Марине и ее мужу Натану, он был из числа тех, кто вернулся духовно окрепшим, очистившись и

закалившись, как алмаз. Эти, полные юмора и снисхождения, люди не принесли домой ни горечи, ни злобы. Как правило, они не любили вспоминать свои трудные дни и годы. Если они говорили об этом, то лишь вспоминая кого-то из ярких людей, кого встретили среди заключенных, вспоминая добро, мужество, или смешные ситуации.

Я помню одну пожилую переводчицу испанских классиков. Она была арестована и попала в женские лагеря Казахстана, наверное, лишь за то, что ездила с мужем за границу. Вернувшись в 1954 году в Москву она говорила, что «труд и простая еда» в лагере укрепили ее здоровье. Она опять делала переводы. Муж умер, и ей, одинокой старой женщине, дали одну комнату в коммунальной квартире в новостройках, выросших вокруг Москвы за эти годы. Это были стандартные дома в пять этажей, без лифтов и телефонов. Ее соседи, молодые ребята, тоже вернувшиеся из лагерей, бывшие уголовники, относились к «бабусе» очень хорошо. Однако, в день ее получки ей приходилось запирает свою дверь, потому что парни просили «на пол литра». Они не уходили от двери и умоляли ее, стоя на коленях по ту сторону двери, пока она, наконец, не подсовывала им трешку под дверь... Столичные знакомые спрашивали ее в ужасе: «И ты не боишься там жить?! Они же убьют тебя!» Но она смеялась: «Они славные ребята. Я ведь была там среди таких же. И после этого всего я уже ничего не боюсь...»

Я видела это у многих возвратившихся: после того, что они видели там, их ничто не могло испугать. Теперь они наслаждались жизнью, как никто другой.

Дома у Виталия и Марты Лазаревны мы часто слушали пластинки. Виталий любил современный джаз, не меньше чем классику и слушал с той серьезностью, как это умеют только математики. Музыка рождает в их особенном сознании образы, ритмы, фигуры, помогающие им в творчестве, они вдруг находят неожиданные решения.

Математический ум глубоко отличен от ума обыкновенного. Недаром в древности математикой и астрономией занимались жрецы, – это есть некое священнодействие. Математическое мышление осталось с тех пор неизменным, хотя прошли многие века. В мозгу математика, оперирующем вечными категориями, такая изменчивая мелочь, как смена правительства или премьер-министра, просто не вызывает интереса.

Я замечала не раз, когда мне приходилось бывать в компании математиков: они говорят мало, и только самое существенное. Болтовня их раздражает. Неправда – тоже. Что может быть прекраснее, чем объективная истина? Истина, развивающаяся,

углубляющаяся усилиями многих поколений, многих веков, многих стран. Истина, которую математики Индии, Японии, России, Англии понимают без переводчиков. «Если до нас дойдет послание из других цивилизаций Вселенной, то оно, наверняка, будет понято прежде всего математиками, потому что это будет математический язык», говорил один из них.

В среде математиков мне приходилось слышать имя Александра Есенина-Вольпина, поэта, читавшего в Московском университете курс философской математической логики. Талантливость и оригинальность этого человека признавали все, кроме полиции. Его не раз арестовывали, так как он всегда протестовал против несправедливости. А ввиду того, что это недостаточное обвинение для тюрьмы, то его чаще всего отправляли в психиатрическую лечебницу. Есть такие лечебницы – специальные, полицейские. Если человек здоров и нет никаких оснований держать его там, то могут поставить диагноз, вроде: «субъективный идеализм». Это не анекдот, а правда! О подобном диагнозе рассказывали те, кто побывал там. В доме Марты Лазаревны любили Алика Вольпина, знали его поразительную талантливость и не признавали за ним никаких «заболеваний».

Когда я последний раз была в доме Марты Лазаревны, Александра Есенина-Вольпина арестовали опять, поэтому в тот вечер о нем много говорили. Рассказывали, как он подавал в суд на «высшие инстанции», надеясь добиться открытого процесса над бюрократами и полицейскими. Конечно, ничего не получилось. Дела не возбудили.

Алик ничего не нарушал – наоборот, он только хотел выполнять и осуществлять советские законы и Конституцию. Очевидно, за это полиция и признала его душевнобольным и отправила лечить от субъективного идеализма.

* * *

Как хорошо было пить чай на кухне у великой трагической актрисы – Фанни Невской! Я ходила к ней с моим сыном – она его нежно любила. Она была одинока. Приехала к ней из Парижа сестра, и две старые женщины жили в скромной двухкомнатной квартире.

Сестра давно уехала за границу с мужем. Брат жил где-то в Румынии. Муж сестры, профессор, умер, и одинокая женщина решила вернуться на родину. Она знала, что Фанни стала знаменитой актрисой советского театра и кино, и воображала – дом, загородную виллу, автомобили, драгоценности... Она не была в России больше сорока лет.

Фанни не хотела разочаровывать сестру, ей хотелось, чтобы она поделила ее одиночество. Она послала ей официальное приглашение и документы.

Приехав, сестра нашла две маленьких комнаты с крошечной кухней, без прислуги, без столовой, без серебра и хрусталя. Виллы не было, машины и шофера тоже. Около известной актрисы останавливались на улице такси, они любили возить ее. Кинозритель считает Фанни Невскую «комической старухой» – не догадываясь, что она такой же комик как Чаплин, вызывающий смех и слезы. Ее обожали продавщицы в магазине, а она, покупая сыр, «играла», чтобы позабавить их. Ей отпускали без очереди.

Отдельная двухкомнатная квартира для одинокой женщины – предел роскоши, по московским стандартам, даже если эта женщина известная всей стране актриса. Впрочем, ужасалась только сестра. Сама Фанни была совершенно безразлична к своему образу жизни без прислуги, и даже без хорошего платья. Она была выше всего этого.

В кино она смешила публику. В театре, в «Игроке» Достоевского, пугала таким глубоким трагизмом, что по спине у зрителя бегали мурашки.

С ней дружили Борис Пастернак, Анна Ахматова, Галина Уланова, – истинные художники. На ее столе их фотографии с нежными автографами от равных к равной.

Она – настоящая, с ней нельзя болтать, ей нельзя солгать, она заставляет говорить как на исповеди. Она говорит в лицо то, что думает. Одной московской журналистке, пишущей заказные статьи о «противоречиях капитализма» и о «коммунистической порядочности» Фанни однажды сказала просто: «Танька, ты – сучка!»

Она замечает смешное и очень остроумна. Но признается: «Иногда подумаешь, как все ужасно, и тогда хочется выбежать на улицу и завывать! Завывать – потому что нет слов, чтобы сказать, как мы живем».

Последний раз я видела ее осенью 1966 года, в Кунцевской больнице, когда ездила туда к Сингху. Она гуляла, огромная и полная, в полосатой больничной пижаме, похожей больше на арестантскую. Больные оглядывались на нее и хихикали: известный комик. А Фанни рассказывала мне о только что напечатанном в журнале «Москва» романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», который она называла «гениальной сатирой».

«Хотите, я познакомлю вас с Сингхом?» – спросила я ее. Фанни долго молчала, что-то вспоминая, потом произнесла своим басом: «Apple a day keeps a doctor away. Это все, что я помню по-английски, дорогая...», – сказала она, как обычно, соединяя грустное со

смешным.

Гротеск был в ее вкусе, это был ее стиль. Ее мало кто понимал, боялись ее резкой прямоты, не понимали ее преувеличенных шуток. А она просто все время «жила» в искусстве, видя вокруг себя одни чудовищные шаржи на Правду, Добро, Порядочность, Любовь, Справедливость... Она повторяла их, она создавала свои образы тут же, и испуганные мещане шарахались от нее в ужасе. – Ей, впрочем, этого и хотелось. Но никто не знал, сколько нежности в этом сердце, как отзываются на ее ласку дети, которых не обманешь.

Больничная почта не успевала передавать ей телеграммы: ей тогда исполнилось семьдесят лет, поздравления шли отовсюду. Ни один важный государственный чиновник в этой правительственной больнице не получал столько поздравлений, и она на все отвечала. Ее отговаривали, советовали дать через газету «общее спасибо всем лицам и учреждениям», но она говорила, что так не может, что она «не министр, чтобы благодарить через газету». И посылала телеграмму каждому, кто ее поздравил.

В больнице я рассказала ей всю нашу историю с Сингхом, тогда уже безнадежно больным. Когда он умер – она позвонила мне по телефону. Я помню ее глухой, сдавленный бас, полный боли. Мало кто из не знавших Сингха, говорил так со мной в те дни, хотя друзей вокруг было много.

* * *

Свою школу мы любили. Это был запас знаний, дружб и привязанностей на всю жизнь. Несколько лет тому назад у меня собралось двенадцать моих одноклассников, – это были теперь врачи, преподаватели, инженеры, переводчики, адвокаты. Все, кто окончил школу в 1943 году, смог поступить в университет, в институты, – во время войны это было нетрудно. В нашем классе никто не остался без высшего образования, даже самые слабые ученики. Нашим детям несравненно труднее попасть в Высшее учебное заведение, особенно девочкам. Мальчикам при приеме теперь оказывают нескрываемое предпочтение: в наши дни ничего подобного не было.

Неожиданно складывались судьбы у моих одноклассников.

Самая лучшая в школе спортсменка, не умевшая пришить себе пуговицу, стала почтенной семьянинкой, примерной матерью и хозяйкой. Она шьет детям платья и даже пальто, прекрасно готовит. Вдвоем с мужем они делают ремонт, – могли бы построить дом, если бы у них была такая возможность. Когда они поженились, им пришлось жить в восточной Германии, потому что муж Лены был в армии. Она говорила мне, как благодарна на всю

жизнь доброй немке, у которой они снимали дом, научившей ее хозяйству. Бывшая школьная чемпионка родила ребенка, и наверное погибла бы без навыков, которым ее никто в детстве не учил. Как неожиданно переменялись тогда все ее представления о немцах, – говорила она мне! Война, политика, – все это отступило, совместная возня с ребенком и в кухне сблизила двух женщин. А Лена была одной из самых непримиримых, самых задиристых в школе! Как она смягчилась, как неузнаваемо преобразилась.

Мы встретились через много лет. Лена стала «шоколадным инженером», проектировала машины для кондитерских фабрик. Самостоятельность свою она не утратила, но так странно было слушать, как она рассказывала о наилучшем способе клеить обои. В школе она могла говорить только о Маяковском.

Одна из наших самых талантливых учениц стала преподавателем английского языка, а казалось, что у нее яркое и необыкновенное будущее. Девчонка, учившаяся чуть ли не хуже всех, стала успевающим биологом и заканчивала кандидатскую диссертацию. Ничем не выдающийся мальчик превратился в хорошего адвоката. А тот, который был очень способным, стал заурядным журналистом.

В день отъезда из Москвы я отдала свои лучшие книги об Индии дочери моего бывшего одноклассника Миши. Мы подружились восьмилетними детьми в школе, потом жизнь разъединила нас надолго. Уже оба взрослые мы встретились снова, потому что Миша не забывал никого из нашей школы, из нашего класса.

Миша теперь строит стадионы, набережные, мосты, а хотел быть филологом или историком. Он строил стадион в Лужниках, новую набережную Москвы-реки, подземные переходы под московскими улицами.

Он рассказывал, как неожиданно «планировалось» это строительство. Однажды Хрущев ехал с одним из московских партийных лидеров, и был раздражен тем, что улица запружена народом, слишком медленно переходят улицу. Решено: – здесь построим подземный переход!

Примерно так же решилась судьба Нового Арбата, без учета реальной необходимости. Чтобы «пробить» этот новый московский проспект среди старых переулков, пришлось снести множество хороших зданий добротной постройки начала века. Жителей переселяли на окраины, они протестовали. Им обещали дать в первую очередь новые квартиры на Новом Арбате, в многоэтажных современных небоскребах. Но когда небоскребы выстроили – оказалось, что правительство решило отдать их для учреждений. Вместо современного жилого квартала в центре города выстроили бюрократический проспект. Миша говорил, что когда на

Молчановке разрушали старые дома, то сердце обливалось кровью у тех, кто работал: все знали, что таких домов уже не построить, и разрушение было варварством...

Миша жил в одной комнате с женой, двумя детьми и бабушкой. Если бы он мог построить себе дом, как бы он его чудесно спроектировал! Но он мог только распорядиться своей одной комнатой. Ее площадь была не меньше полагающейся «нормы», и на перемену жилья не было надежд.

Но Миша все-таки умудрился перестроить ее: он сделал в комнате со старомодным высоким потолком второй этаж, и на антресолях жили дети. Подобные перестройки разрешаются после долгих споров с комиссиями, пытающимися не допустить даже такого «улучшения» жилья. В то же время здания для министерств растут как грибы после дождя.

Сколько бронзовых памятников на гранитных постаментах поставил Миша на московских площадях! То «великий чекист» Дзержинский, то «великий поэт» Тарас Шевченко. Он выполнял разные строительные работы, однажды проектировал чугунную решетку вокруг собора. Но самой нужной и полезной его постройкой, наверное, были антресоли в его комнате...

У моей старой школьной подруги Али три дочери, муж-инженер. Она работает в редакции. Редактирует книги по истории, экономике и искусству Востока, хотя окончила университет по истории США, как и я: далеко не всегда удается найти работу по специальности. Аля довольна, что работает в одном из лучших издательств Москвы.

В школе она была бледной, худенькой, и казалась физически самой слабой в классе. Но у нее оказалась огромная сила духа. Она вышла замуж еще студенткой, и вместе с мужем они уехали на стройку большой электростанции. Для привычной горожанки, любившей Консерваторию, стихи Гумилева и прозу Олеси, жизнь повернулась вдруг страшной и грубой изнанкой. На стройке работали, главным образом, заключенные. Климат суровый, еды нет. Аля писала мне, как ей пришлось «переучиваться», как трудно было освободиться от «предрассудков интеллигентного круга». Но у нее был дар видеть хорошее и доброе в людях необразованных и грубых на вид, поэтому она не отчаивалась. За годы жизни на строительстве она стала зрелым, умным, глубоким человеком.

Она вернулась в Москву через несколько лет неузнаваемо подорожавшей. В маленькой двухкомнатной квартире она с мужем занимают одну комнату, три дочки – в другой. На столе у Али всегда разложена очередная рукопись или гранки, она умудряется работать каждую свободную минуту. А ей надо еще ходить за

покупками, кормить детей, ездить в редакцию. Как она успевает еще читать новые книги, бывать на выставках, смотреть итальянские и польские фильмы – я не представляю себе. Но Аля говорит, что «никогда не могла бы оставить работу, потому что тогда – духовная смерть». Она предпочитает физическое переутомление непосильной работы духовной смерти безделья. Даже на стройке, когда только родились дети, она всегда находила себе работу – хотя бы в библиотеке, хотя бы в местной многотиражке.

Когда-то в школьные годы мы любили гулять весной вокруг Кремля – Аля, Лена и я. Мы ходили и говорили о своих нехитрых делах, о книгах, об искусстве. Потом у нас были уже взрослые дети, «взрослые проблемы», нам некогда было так беспечно бродить под липами на набережной... Но мы продолжали любить друг друга, и Аля стала близким другом моих детей.

Ее старшая дочь выбрала себе трудную профессию: она будет учить детей с дефектами речи и слуха. Это требует огромного терпения и любви, а это как раз и есть самая душа Али и ее семьи.

Аля рассказывала мне, как в их редакцию, по настоянию всех сотрудников, пригласили однажды Александра Солженицына, чтобы поговорить о литературе. – «Этот человек производит впечатление абсолютной правды», – сказала Аля. – «Я не слышала, чтобы еще кто-нибудь говорил так, как он: совершенно просто, натурально, так сильно и убедительно. Это – сама честность. Он не идет на компромисс. Если бы ты видела, как он завладел аудиторией, хотя он совсем не оратор, в обычном смысле слова. Но ведь все знают, что он пишет правду, – и говорит так же, – а это сейчас самое трудное. Это и есть самый большой подвиг».

* * *

Была одна маленькая, дружная семья, всего из двух человек, с которыми мне было всегда так хорошо.

Лиза и ее муж, инвалид войны, жили, конечно, в одной комнатухе коммунальной квартиры, большую часть которой занимала большая тахта. Но за их маленьким квадратным столиком, куда Лиза ставила кофе, сыр, или нехитрый салат, было так тепло и уютно.

Холодильником служило большое окно со старомодным, широким подоконником, где вместе с цветами стояли бутылки с молоком, суп в кастрюльке, творог, масло. На книжной полке были хорошие книги об искусстве. Лиза окончила университет, но не работала, потому что заботы о больном муже отнимали у нее все время. Костя ушел на войну студентом, у него был перебит нерв, и теперь вся нога отнялась, он с трудом ходил с палкой. Костя был критик, знаток поэзии и древнерусского искусства. В

комнате были хорошие старые иконы, и новые, стилизованные работы современного молодого художника.

Костя был очень болен, его здоровье все время ухудшалось, работать было трудно. Пособия, которое он получал как инвалид войны, не хватало на жизнь, поэтому он продолжал работать, писать.

Сущностью природы Лизы было согревать других. Она просто милая женщина, но как много было в этом «просто»! У нее не было никакой «общественно-полезной» деятельности, возможно потому, что такую деятельность она сочла бы бесполезной. А ее доброта, которую она давала другим, была на самом деле общественно полезной. Потому что Лиза была, как солнечный луч, как свет в душе и, ничто так не помогает людям.

В этом ведь и состоит пастырская деятельность. Каждый умный, настоящий священник находит нужные слова, чтобы ободрить того, кто отчаивается. Это одинаково во всех религиях. Но есть люди, которые сами того не подозревая, всю жизнь ведут эту пастырскую работу с другими, утешая, помогая, советуя. Или просто, взяв молча за руку и заглянув глубоко в глаза спасают от страха, от ошибок, от отчаяния. Таких людей много в мире, больше чем священников, часто фарисействующих и заменяющих ритуалом живое слово из сердца. А сила духа и любви пробивает себе путь к другим сердцам через все преграды.

«Это правда?» – только и спросила Лиза, позвонив в последний день перед моим отъездом в Индию. Она не могла поверить, что я в самом деле уезжаю. А потом она долго молчала.

Милая умница, что промелькнуло тогда в ее мозгу, в ее сердце? Угадала ли она мою судьбу?

* * *

С литературоведом и критиком Андреем Синявским я познакомилась в Институте Мировой Литературы. Когда я только поступила туда в 1956 году, Андрей, немного старше меня, тоже выпускник университета, уже был известен как один из самых талантливых сотрудников Отдела советской литературы. Он писал о Горьком, о Багрицком, о Хлебникове, о поэзии военных лет, о поэзии первых лет революции. Это было зрелое, проникновенное мастерство, острый стиль, незабываемая индивидуальность.

Андрей очень хорошо говорил. На собраниях сектора Советской Литературы обсуждали новые работы сотрудников. Часто сказать было нечего и многие говорили формально. У Андрея была застенчивая манера говорить мало и только существенное. Он делал иногда выразительный жест узкой, белой рукой. Мягкие русые волосы падали ему на лоб, он отмахивал их назад.

У него выразительное лицо с крупными чертами, которые не назовешь красивыми, да еще окладистая борода – настоящий деревенский мужик. Но лоб умный, глаза мягкие, и мысль играет на этом лице, прекрасном, одухотворенном.

Он отпустил бороду после того, как стал каждое лето ездить на север, где он и Маша проводили отпуск, спускаясь на лодке в далекие деревни с рюкзаком на плечах. Северные мужики все с бородами, потому и Андрею пришлось обрасти, иначе мужики не хотели разговаривать с «мальчишкой».

Они фотографировали деревянную архитектуру, собирали крестьянские костюмы и вышивки, утварь, – все что дарил этот край, сохранивший до сих пор быт, обычаи и кустарное искусство северной Руси. Андрей и Маша настоящие знатоки русской старины, их дом полон оригинальных северных изделий из дерева, кости, бересты. Там они собирали и старые иконы, а Маша реставрировала их. Оттуда же привезли старые церковные книги на древнеславянском. Их комнату украшает большая, 16-го века, икона Егория (Георгия-Победоносца), на коне, – расчищенная и приведенная в порядок Машей. Икона была взята на выставку Северного Письма в Третьяковской Галерее. А нашли они ее заброшенную в чьем-то сарае, просто валялась замалеванная краской доска.

Маша – искусствовед, специалист по древнерусскому искусству. Работу ей найти нелегко, и кроме того характер Маши не позволяет приспособливаться к официальной точке зрения, а без этого работу не получишь. Поэтому Маша делает эскизы для молодых художников, восстанавливающих древнерусское кустарное ремесло в маленьких мастерских. Они работают по кости, дереву, металлу, делают украшения, бусы, серьги, браслеты по северным русским мотивам.

Андрею перешло от его матери сильное религиозное чувство. В нем эта врожденная, чистая, поэтическая религиозность уживается вместе с острым критическим умом, беспощадно анализирующим все – ремесло поэта, нюансы слова и собственные его чувства и переживания. Андрей жестокий критик, прежде всего, самого себя, своих слабостей и грехов. В этом искреннем убеждении, что «я – прах ничтожный», в глубоком смирении перед Всевышним, заключается сущность религиозного самосознания. Таким смиренным «прахом» был Махатма Ганди, поднявший Индию, глубоко убежденный, что все, сделанное им, было лишь исполнением воли Всевышнего. Так думают все истинно религиозные люди.

О себе самом Андрей говорит только с насмешкой, беспощадно, – как это видно из его «Мыслей врасплох». Подобные книги

всегда вызывают отвращение людей, боящихся заглянуть внутрь самих себя, притворяющихся красивыми, благородными. Между тем, именно в таком беспощадном к себе духе написана «Автобиография» Ганди; опять здесь сходство людей глубоко религиозных, «анализирующих грех», стремящихся очиститься покаянием и раскрытием правды.

Но как остро чувствует он прекрасное! Поэтический анализ стихов Пастернака, Ахматовой, Багрицкого изящен и убедителен. В стихах молодых поэтов Синявский сразу же улавливает их обещающие качества и досадные слабости. Никто не проник так глубоко в двойственное творчество Евтушенко. Его насмешка язвительна: он доказал в пять минут, что поэт Анатолий Сафронов, в общем, и не поэт... Этого Андрею не могли и не могут простить «известные» советские писатели.

Об Ахматовой Андрей пишет вдохновенно. Он точно находит и показывает социальное значение стихов глубоко интимных. Как великолепно «объясняет» он Пастернака, какими значительными становятся – лист смородины, дождь, гроза, интерьер. Как остро и чутко понял он Исаака Бабеля, художника гротескного, насмешливого и печального.

Андрей Синявский не только критик, но и талантливый писатель. Его любимый способ выражения – сатира, гротеск. В романе «Любимов» советская провинциальная жизнь предстала перед читателем в гиперболах, как у Салтыкова-Щедрина и Гоголя. Это одновременно «История города Глупова» и «Мертвые души», увиденные в истории маленького советского городка.

Повесть «Суд идет», написанная в 1956 году, странно предвосхитила неминуемый арест самого Андрея Синявского десять лет спустя, – хотя в ней говорится о прошлых событиях, которые не должны были бы повториться снова в СССР... Но они повторились.

И все эти, описанные острым пером, следователи, чекисты, доносчики и шпики опять поднялись на поверхность общества, окружив тесным кольцом человека, которому остается только дорога в тюрьму. Вина у него одна – он писатель.

Небольшие повести: «Гололедица», «Пхенц», «Графоман» фантастичны, но их гиперболы родились в реальной жизни московских квартир, где сама жизнь напоминает кошмарный сон, превосходящий любые литературные фантазии.

Статья «О социалистическом реализме» глубоко вскрывает условия, в которые поставила искусство и литературу советская власть – условия, в которых творчеству предстоит лишь задохнуться и умереть, или превратиться в собственную противоположность – в официальное славословие правящих сил, как это делал русский классицизм при императрицах 18-го века. Синяв-

ский – философ. Его размышления о судьбе искусства в советском обществе основаны на глубоком изучении и знании.

Андрей разносторонний человек. Шутя написал (с соавтором) книжку о творчестве Пикассо, и здесь показав тонкий художественный анализ. Андрей любит гротеск и преувеличения в искусстве. Сколько раз приходилось мне слышать от моих знакомых в СССР: «Разве безумную, ненормальную современную жизнь возможно выразить в спокойных образах классики? Ведь все гротескно, люди стоят на головах, вместо лиц – собачьи морды, все превратилось в кошмарную пародию...» Творчество Андрея Синявского – его романы, повести, рассказы – исходят из этого взгляда.

На суде приводили «цитаты» вместо улик – что ни образ, то жуткий шарж... На этом суд построил обвинение, и вынес приговор: семь лет тюрьмы.

А сам Андрей – тихий, говорит спокойно, его русская речь прекрасна, заслушаешься. Любит Машу, любит сына.

Спокойный, мягкий человек. Чего ему только не приписали на суде – антисемитизм, порнографию, участие в мифических подпольных организациях! Судья Смирнов у нас в институте в течение двух часов пытался убедить всех, что «тут пахнет эсеровским духом» – но доказать этого ничем не мог, кроме все тех же гротескных цитат.

Ко мне заходил иногда и мы всегда сидели в нашей кухне. Он все смотрел на нашу церковочку во дворе, и просил только чашку кофе. – «Как тихо у вас дома!» – говорил он. – «Как хорошо! И дети тихие, приятно с ними». Должно быть, это был для него приятный контраст с тем «коммунальным адом», где он жил.

Несколько лет он жил в деревне, в 100 км. от Москвы, в избе с печью, без водопровода. Там было спокойнее работать, не визжали соседки. Оттуда он приезжал на заседания в институт, в неизменном синем берете и красном теплом шарфе, на ногах толстые башмаки: в деревне грязь непролазная.

Неудивительно, что Андрей так сильно влиял на тех, кто дружил с ним, на всех, кто подошел к нему близко. Застенчивый, с усталым лицом постоянно недосыпающего человека, работающего по ночам. Андрей работал ночью, сидя в полуподвале, который Маша «превратила» для него в кабинет. Жизнь их коммунальной квартиры была исполнена дрызг, взаимной ненависти скученных, бедных, разочарованных людей: гофманские шаржи и маски бледнеют перед буднями этого униженного человеческого бытия. К творчеству приходилось убегать в подвал.

Романы, рассказы и повести Синявского в СССР не печатали, потому что сатира на общественную жизнь в СССР недопустима.

Михаила Булгакова не печатали двадцать восемь лет. Зощенко был уничтожен официальной критикой. Синявского издали за границей – и тогда он сразу же превратился в «политического преступника».

Из него сделали на суде политического преступника, а его шаржи испугали партийных деятелей института, где он работал, больше чем водородная бомба, потому что в России веками боялись правдивого слова.

Писатель только смеялся, издевался, гиперболизировал тупое и глупое – но нигде ни разу не призывал к свержению советского строя. Тем не менее, суд обвинил автора в «антисоветской деятельности», и приговорил его к семи годам работы в лагерях. То же самое произошло с его другом, Юлием Даниэлем. Оба они предъявленной им вины не признали, да и не могли признать: они писатели, эстеты, художники, критики, а не политические деятели.

Тем не менее, они в лагере. Андрей продолжает писать оттуда своим друзьям и близким письма о литературе. Ничто не сокрушит его творческого духа, а глубокое религиозное чувство только укрепляет его в тяжелых испытаниях. Дома остался маленький сын.

Так долго продолжаться не будет. Ты вернешься домой, к сыну и к друзьям, Андрюша, а на твое место в лагерном бараке отправятся те, кто осудил и приговорил тебя. Ведь не раз уже это бывало в истории России, которая так напоминает печальный и жуткий гротеск.

* * *

Мне повезло: я вырвалась из клетки.

Но за решеткой остались мои дети, дорогие одноклассники и однокурсники, подруги, приятельницы, друзья с детства и недавние знакомые. Все те, от кого хоть раз пришлось услышать теплое, незабываемое слово – хоть раз.

Я знаю, как им трудно, и знаю, ничто в СССР сейчас не обещает, что жизнь будет легче и свободнее. Скорее – совсем наоборот. Мы не можем написать друг другу письмо, не сможем поговорить по телефону. Нравы советской полиции всем нам слишком хорошо известны, а ее методы мало в чем изменились. Она лишь притаилась до времени, но хорошо знает, что ее время еще придет, и тогда она покажет на что способна. Сталинизм «отменили» четырнадцать лет назад, но система осталась прежней, никто не посмел изменить основ советской идеологии и власти. Один московский журналист сказал мне как-то, еще при Хрущеве, еще до суда над Синявским: «Весь этот либерализм только на время.

Воспитанный и созданный Сталиным аппарат только на время „выключили“, – знаете, как выключают штепсельную вилку из розетки. Но машина цела и невредима, только снова включи ее – заработает...»

И потому, что нравы советской полиции нам хорошо известны, мне лучше не пытаться искать контактов ни с моими друзьями, ни с моими детьми. Для них это может стать только источником опасности...

Ни моим детям, ни большинству моих друзей не разрешат поездку за границу даже с туристской целью. Впрочем, такой туризм им и не по карману. Мне остается лишь жить надеждой на перемены в будущем, когда граждане СССР, может быть, получают право на свободное передвижение. Право, столь естественное в свободном мире, что здесь даже и не подозревают, как можно существовать без него.

Вот тогда мы снова встретимся. А теперь, несмотря на молчание, несмотря на невозможность связей, я тем не менее знаю и чувствую всем сердцем, что мои друзья понимают меня, не забывают, и тоже будут ждать встречи.

Тогда, наконец, Берта сможет своими глазами увидеть фрески и скульптуру Африки, о которых она сейчас знает из книг. Алеша и Саня поедут в Берлин, где Алеша родился, побывают в Париже, где жили его родители, и приедут послушать концерты оркестра в Филадельфии. Ленинградский библиофил навестит своих друзей во Франции и Риме, от которых, пока что, он лишь изредка получает письмо. Тамара и ее сын Стасик объезжают все дороги Испании, и найдут то место, где погиб Тамарин отец во время гражданской войны: Стасик к тому времени будет хорошо говорить по-испански... Супруги Львовы смогут принять приглашение от своих друзей-астрономов, и им будет так интересно видеть все крупнейшие обсерватории мира. Мои друзья литературоведы, наконец, получают возможность встретиться с теми, о ком они пишут – с немецкими, испанскими и американскими писателями; пока что эта привилегия есть только у Евтушенко и Вознесенского. Вера встретится тогда с генетиками Англии, Франции и США. Виталия «пустят» встретиться с коллегами за границей, несмотря на то, что он беспартийный и не оставит жену заложницей в Москве: тогда им разрешат поехать вместе. Фанни Невская увидит лучших актеров Европы и Америки, а они узнают ее великий трагикомический талант; а она будет так же смешить водителей такси в Париже, как делает это сейчас в Москве. Аля с мужем и своими тремя дочками приедут в гости к своей тетке в Детройт, и все дети будут играть вместе шумной оравой.

А Андриюша Синявский встретится с многочисленными читателями его книг, на русском языке и в переводах, и познакомится со своими издателями. И напишет новую книгу, что-нибудь вроде «Одного дня Андрея Донатовича», о жизни арестованных писателей в послесталинских лагерях.

Я – оптимист, и верю, что мы еще увидимся...

Судьба

К середине апреля уже было известно, что 21-го я могу лететь в США. Было странно и удивительно, что после долгой неопределенности все так быстро устроилось.

Я успела обойти пешком весь Фрибург, зайти еще несколько раз в собор Сен-Николя, покататься на лодке на Муртензее, погулять возле озера Невшатель, посмотреть замок Грюйер, побывать в Цюрихе и Берне, в Монтрё и Веве. Около Веве я видела издали виллу Чаплина, великого актера и гуманиста современности. Сколько раз советские кинематографисты приглашали его посетить СССР, но он неизменно спрашивал: «А почему СССР – единственная страна, где не демонстрируют мои последние фильмы?» Приглашавшим приходилось сознаваться, что «Огни рампы» и «Король в Нью-Йорке» они смотрели в Гонг-Конге, в Риме или в Лондоне.

В эти дни во Фрибург приехали из Парижа Эммануэль и Люба Д'Астье – мои единственные европейские знакомые. Мы встретились в доме их племянницы.

Это была шумная и суматошная встреча, где говорили сразу по-русски, французски и по-английски. В гостиной было полно народу, невозможно было отвечать на поставленный вопрос, потому что его тут же забывали и задавали следующий: слишком о многом меня хотели расспросить. Одно было ясно: Д'Астье приехал со своим планом для меня.

Он заключался в том, чтобы не ехать в США («Вы попадете из одной тюрьмы в другую»), отложить издание книги на целый год – («сейчас это вызовет сильную реакцию со стороны советского правительства») и вообще остаться в Швейцарии. – («Вы можете полагаться на гостеприимство моей племянницы»). Я поблагодарила за гостеприимство, но объяснила, что хочу, прежде всего, издать книгу, что с визой в США уже все решено, а что на «реакцию» советского правительства я не обращаю внимания, потому что порываю с ним и с СССР.

В Швейцарии я чувствовала симпатию со стороны тех немногих людей, с которыми встречалась, и я вполне могла надеяться на то, что нашла бы здесь много друзей. Но молчать еще сорок

лет я вполне смогла бы и в СССР... Швейцария дает убежище, но она ставит условием для всех полное невмешательство в политическую жизнь. Я не могла бы здесь публично объяснить, почему навсегда порываю с коммунистическим миром. Это было неприемлемо для меня.

Моя судьба рисовалась мне иначе.

* * *

С тех пор, как я уехала из Москвы, я часто думала о судьбе. Тихий берег Ганга и спокойные дни в Швейцарии располагали к этому. Я чувствовала, что сама еще не в силах понять полностью происходивший сейчас огромный поворот в собственной жизни.

Иди навстречу судьбе, и тогда судьба пойдет тебе на помощь. Это я знала давно. Но моя жизнь в СССР была такой беспросветной, что, казалось, ничто и никогда не выведет меня из того русла, в котором она шла.

Я сделала сама решающий шаг в Дели. Никто не помогал, не советовал, и не знал, что я делаю. Но я верю, что все наши помыслы и дела в руке Божьей. И я знала, что без заранее уготованной помощи, пришедшей ко мне как вдохновенное и непреложное решение, я была бы не в силах этот шаг сделать.

«Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться?» «Господь – пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться...» «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое».

Ничто так не помогало мне в это трудное время, как религиозное чувство. Сейчас это была моя опора во всем, что я встречу.

Религиозное чувство пробуждается в человеке в момент кризиса, когда обостряется внутренняя жизнь. Для разных людей оно означает разное, и мое объяснение так же индивидуально, как вся моя жизнь.

Люди рождаются с разными физическими задатками. У одних есть математические способности, – другие не в состоянии абстрактно мыслить дальше X и Y. У одних музыкальное ухо, слышащее все оттенки звука, запоминающее сложные музыкальные фразы, выделяющее различные темы в огромном симфоническом оркестре. Другой – не слышит мелодию, не может спеть простую песенку, не может пройти ногами в такт, – но прекрасно живет без этого, и не страдает. Один остро реагирует на цвет, не может жить в комнате, окрашенной в холодный или резкий тон. Другой – не отличает зеленого от коричневого, для него деревья, цветы, природа – как на черно-белой фотографии. Но и у такого человека может быть духовно богатая и интересная жизнь в других отношениях.

Религиозное чувство – врожденно, как музыкальный слух. Его можно развивать, культивировать, обогащать, – но если его нет от природы – то никакими усилиями рассудка, никакой софистикой и «доказательствами» его не пробудить. Человек может прожить долгую, благородную жизнь и сделать многое для людей не имея этого чувства вообще. А может быть даже будет ходить каждое утро в церковь и повторять молитвы, и думать, что верует, но все это будет лишь умственным ухищрением, или привычкой, воспитанной с детства. Но сердце его молчит.

Во всех больших религиях мира есть общая им всем высокая мораль. Все религии требуют: не убивай. Не укради. Делай добро. Не вреди другим, если хочешь, чтобы и тебе не вредили. Не гонись за славой, за богатством, все это пройдет. Вечно лишь духовное, об этом заботься. Береги чистое сердце.

Этими заповедями, этой вечной правдой живет гораздо большее количество людей на Земле, чем предполагают.

Добрых сердец больше, чем кажется. И вечные истины не исчезли с лица модернизированной планеты, как нам это порой представляется... К счастью для всех нас – вечное неуничтожимо.

Многих этому учат с детства. Для многих это – неоспоримые истины, воспринятые с молоком матери, и других они никогда не знали. Но другим, как и мне, воспитанным в атеизме, эта вечная правда открылась неожиданными и необычными путями. И тут может помочь только врожденное религиозное чувство.

Мне оно передалось от двух бабушек, бывших глубоко и истинно религиозными. Но пока я не ощутила этого сама, я и не знала, что оно жило во мне, как человек не ведает о своем музыкальном ухе, пока не услышит мелодию.

Мелодией религиозного чувства является музыка самой жизни. Тем, кто ее не слышит, я не сумею объяснить, как она звучит, – пусть не читают дальше. Если огонь не теплится где-то внутри, то его не высечь никакими усилиями. Вода не загорится. Но если есть в сердце этот тихий жар, то со временем, под влиянием обстоятельств, он вырвется наружу ярким пламенем.

Так было, по всей вероятности, и со мной.

Я хорошо помню весну и лето 1961 года в Москве. Мне было 35 лет, мои дети были школьниками, я уже успела кое-что повидать в жизни. С детства я не отличалась крепким здоровьем, каждый год в школе наполовину пропускала. Теперь у меня был сильный невроз сердца, частые простуды с бронхитами и насморками, непонятные невралгические боли возле сердца. Я была меланхоличной, раздражительной, склонной к безнадежному пессимизму, не раз подумывала о самоубийстве, боялась темных комнат, покойников, грозы, грубых мужчин, хулиганов на улицах, пья-

ных... Моя собственная жизнь казалась мне мрачной, скучной и абсолютно бесперспективной. Я не умела наслаждаться, не умела созерцать. Меня терзало внутреннее беспокойство и, казалось, ничто не могло его заглушить. Я не ощущала интереса ни к церковной службе, ни к религиозным книгам, ни к иконам – они мне ничего не говорили. Но я знала уже тогда нескольких человек моего возраста, которые были религиозны. Я думала о них с удивлением и с уважением.

И вот настала весна, приход которой я почему-то в тот год ощутила каждой каплей своей крови. Начала пробуждаться природа, побежали первые мутные ручьи вдоль московских тротуаров. Ослепительно сверкало городское солнце на стеклах трамваев, троллейбусов, автомобилей.

После долгой холодной зимы весна приходит в Москву медленно и с трудом. Вдруг однажды ярко засинеет небо в конце февраля, когда еще очень морозно. – «Ветер принес издалека песни весенней намок. Где-то светло и глубоко неба открылся клочок...» Эти стихи Блока, всегда мною любимого, звучали весенним звоном громче, чем обычно. Что-то произошло со мной: пришла необыкновенная острота ощущения жизни.

Была обычная весна, обычный год, никаких особенных событий в моей жизни и вокруг не происходило. Но самое счастье жить, слышать, видеть, пить этот весенний воздух, еще морозный по вечерам, ходить по улицам, следить за обновлением жизни, – это такое обычное, ежегодное, не замечаемое и не ценимое нами счастье, вдруг ударило в глаза и сердце в тот год. Я была переполнена им.

В марте таял снег и бежали ручьи. В апреле проглянула из-под снега земля, открылись и подсохли полянки, налились соком ветви, зацвела верба. Днем жгло ослепительное солнце, на асфальте появилась первая пыль, а к вечеру на лужицах застывали льдинки; воздух становился свежим и морозным, и молодой месяц серебрился на лиловом небе.

Потом пришел май с черемухой, сиренями, ландышами, с опьянением – которое так мимолетно и быстро отцветает. Но в этот год все было иначе. Лето было щедрым и теплым с ливнями под радугой, с шумом листвы под дождем, пахнущим грибами и земляникой.

Богатство и щедрость жизни теснили меня со всех сторон. Никогда до той поры не любила я дождь: а теперь, вымокнув однажды до костей на московских улицах под ливнем, почувствовала себя счастливой. Почему? Отчего? Я не знаю. В своей комнате, распахнув дверь балкона смотрела я на косою дождь, падавший на высокие тополя, на нашу церковочку во дворе, а сквозь дождь

светило солнце, и открывался простор над Москвой-рекой, уходивший до самых Воробьевых гор. Почти десять лет я смотрела на все это из своего окна – почему теперь все стало таким ярким?

Я была впервые счастлива, что живу. Счастлива, что вижу, слышу, осязаю всю эту несказанную красоту вокруг меня – этот дождь, эту изумрудную травку во дворе, эту набережную и реку. Я не могла понять, что такое со мной происходит, я была еще нема, как рыба, не зная слов, не зная языка, на котором могла бы выразить свое чувство.

Как-то раз в те дни в разговоре с Андреем Синявским мы коснулись темы самоубийства. Он сказал: «Самоубийца только думает, что убивает себя. Убивает тело, а душа потом мается, потому что отнять душу может только Бог. Бог дает жизнь, и отнимает ее. Самоубийца нарушает закон жизни, поэтому – самоубийство страшный грех, и ни от чего не освобождает, а только прибавляет страданий душе».

Мы сидели на лавочке недалеко от Кропоткинских Ворот, и не знаю, почему пришли к этой теме. Но разговор этот был открытием, потому что он выразил нечто новое, что я поняла и ощутила только совсем недавно.

Никто не может разрушить и отнять жизнь – ни свою, ни другого человека, ни любого живого существа, потому что не мы даем жизнь. Не нам ее и отнимать. Не убий – вот самый главный закон человеческого поведения на Земле. Жизнь вечна, огромна, щедра как радуга, как этот дождь, как эта весна. Покушаться на нее – великое преступление. Помогать ей чем можешь – великое счастье. Ощущать себя маленькой частичкой Великой Жизни от земли до далекой звезды, радоваться ей, благословлять и благодарить ее, – это и есть религиозное чувство. Религия и значит – соединение. Если человек не ощущает себя частицей Вселенной и не слышит биения ее пульса в себе – он не религиозен. Услышав же его, он будет слышать его всегда, и жизнь его будет с каждым днем наполняться силами от этого огромного неиссякаемого источника, вечного и могучего как солнце.

Я искала слова, чтобы выразить это новое ощущение и нашла их в то лето в псалмах Давида. С тех пор я не знаю ничего, что лучше выразило бы ощущение Жизни Высшей и Вечной, огромной, наполняющей Вселенную, к которой и моя маленькая жизнь принадлежит крошечной пылинкой.

Давид пел, его сердце было раскрыто и трепетало, как натянутая струна. Его слова – живой неподдельный огонь, не охлажденный рассудком, не залитый холодной водой философии. Он радуется жизни вокруг, и видит в ней Бога. Молит Его о помощи, когда силы его иссякли. Раскрывает перед Ним свои слабости, заблуду-

ждения, грехи. Кается в собственном несовершенстве, в своем ничтожестве, сознавая себя пылинкой праха перед огромной мудростью Вселенной. И бесконечно благодарит и славит Бога, дающего человеку все богатство мира вокруг, руку помощи в беде, свет правды в душе.

Нигде еще не нашла я слов сильнее, чем в псалмах. Это горячая поэзия очищает, дает силы, рождает надежду в мрачные минуты. Заставляет взглянуть на самое себя критически, осудить себя и слезами омыть собственное сердце от заблуждений. Это неостывающий огонь любви, благодарности, смирения и правды.

Теперь я иначе читала Толстого и Достоевского. Какой глубокий смысл открывался мне в «Бесах», в поучениях старца Зосимы... Толстой стал мне еще ближе. Я поняла теперь – почему.

Весной 1962 года я крестилась в православной церкви в Москве, потому что я хотела приобщиться к тем, кто верует. Я чувствовала эту потребность сердцем: догматы мало что значили для меня. Благодаря моим друзьям мне выпало счастье встретиться с одним из лучших московских священников. Его уже нет в живых, и с тех пор я не видела никого, кто служил бы так проникновенно и просто, кто говорил бы с прихожанами так, как это делал отец Николай.

Он был строг, и не скрывал этого. Говорил о жизни повседневным будничным языком, без елеса, без стремления во что бы то ни стало оправдать ошибку, без попыток сделки с совестью. Не нравятся – уходи. Иди к другому, кто оправдает все твои грехи, все простит и очистит твою совесть от мучений. Отец Николай этого не делал. Взгляд его был пронзителен. Он был суров, как сама правда, не терпящая уловок, и в этом была его милость и великая помощь. От него нельзя было увернуться.

Московские духовные власти относились к нему плохо. Не разрешили даже похоронить его возле той маленькой церкви около Донского собора, где он служил. Очевидно, он перед властями голову не клонил. Он отлично понимал, что принимая крещение, я нарушаю правила партии, что это опасно для меня и для него, и потому не занес мое имя в церковную книгу.

Я никогда не забуду наш первый разговор в пустой церкви, после службы. Я волновалась, потому что никогда в жизни не разговаривала ни с одним священником. От своих друзей я знала, что отец Николай прост, говорить с ним легко, и что он всегда беседует, прежде чем крестить. Подошел быстрой походкой пожилой человек с таким лицом, как у Павлова, Сеченова, Пирогова – больших русских ученых. Лицо одновременно простое и интеллигентное, полное внутренней силы. Он быстро пожал мне руку, как будто мы старые знакомые, сел на скамью у стены, положил

ногу на ногу, и пригласил меня сесть рядом. Я растерялась, потому что его поведение было обыкновенным. Он расспрашивал меня о детях, о работе, и я вдруг начала говорить ему все, еще не понимая, что это – исповедь. Наконец я призналась ему, что не знаю, как нужно разговаривать со священником, и прошу меня простить за это. Он улыбнулся и сказал: «Как с обыкновенным человеком». Это было сказано серьезно и проникновенно. И все-таки перед тем как уйти, когда он протянул мне для обычного рукопожатия руку, я поцеловала ее, повинувшись какому-то порыву. Он опять улыбнулся. Его лицо было сдержанным и строгим, и улыбка этого лица стоила многого...

В день крещения он волновался, и присев на скамейку, усадив меня рядом, сказал: «Когда взрослый человек принимает крещение, жизнь его может очень сильно измениться. Иногда в худшую сторону, как в личном плане, так и во всех отношениях. Подумайте еще, чтобы не сожалеть после». Я ответила, что думала уже много и что ничего не боюсь. Он взглянул на меня, усмехнувшись: «Ну, знаете, не боятся – только избранные!»

Он крестил меня греческим именем Фотина, сказав, что это и есть мое настоящее имя. После крещения я спросила, могу ли положить на тарелочку в церкви, в знак благодарности, кольца и серьги, которые принесла с собой – денег у меня в ту пору было мало. Но отец Николай ответил твердо: «Нет. У церкви есть средства. Вы пришли к нам сами – это важнее».

Сколько достоинства было в его словах, и во всем поведении. Он говорил мало слов, но веско и убедительно, не пытаясь привлечь любезностью и мягкостью, не расточая улыбок. Говорил о жизни на этой земле, обо всех ее неурядицах и заботах, а не о заоблачном.

Николай Александрович Голубцов хорошо знал жизнь, потому что стал священником лишь после тридцати лет мирской жизни, а по профессии был он садоводом. Не знаю, что толкнуло его принять сан уже в зрелом возрасте, почему он последовал примеру своих двух братьев-священников; наверное, это было вызвано каким-то очень сильным импульсом. Зато и впечатление, производимое им на всех, кто знал его, было неизгладимым.

Он крестил меня, дал мне молитвенник, научил простейшей молитве, научил как вести себя в церкви, что делать. Он приобщил меня к миллионам верующих на земле. Он сам, как личность, незабываем. После службы длинная очередь прихожан выстраивалась, чтобы поговорить с ним. Он говорил с каждым, слушал внимательно любые жалобы. Однажды я простояла в такой очереди полтора часа, так как передо мной была молодая пара, у них что-то не ладилось в семейной жизни. У него было

больное сердце, два приступа, после которых он продолжал служить, часами простаивая еще потом с прихожанами. После третьего приступа он умер.

После его смерти я перестала ходить в церковь, потому что никто так не служил, никто так не говорил с людьми, как он. Везде выступала мирская, лицемерная сторона церкви, а не истинное чувство. – «Показное! Показное!» – резко сказал однажды отец Николай женщине, благоговейно стоявшей на коленях, и не стал с ней говорить. Должно быть, он что-то знал о ней.

Ничего показного не было в том, как он служил. Церковь была маленькой, без хора, только несколько монашек читали молитвы. Последний раз я пришла сюда в июне 1963 года, после Троицы, в Духов день, когда вся церковь была еще украшена внутри свежими ветками березы, а на полу – свежескошенная трава. Долго стояла к отцу Николаю очередь под благословение, и с каждым он говорил.

Он опять расспрашивал меня как здоровье, как дети, какие заботы у нас дома. Потом, помолчав, строго спросил: – «Ты как, – одна сейчас? Кто-нибудь есть около тебя?» Растерявшись от прямоты вопроса, я только отрицательно покачала головой. – «Не спеши», – сказал отец Николай. – «Ты всегда слишком спешишь, от этого у тебя все неудачи на личном фронте. Подожди, не торопись, еще приедет князь заморский...» и он усмехнулся как-то в сторону.

Я не удивилась ни разговорному обороту в его словах, ни следовавшему за ним архаизму. «Князь заморский» был настолько далек от моего сознания и всего моего образа жизни, что я не восприняла его всерьез. Однако, все слова отца Николая надо было брать всерьез. Через два месяца после этого разговора Брайан Сингх был в Москве, а в октябре, когда отца Николая уже не было в живых, все счастливые случайности и совпадения соединились для того, чтобы мы встретились и познакомились. Остальное уже известно. Отец Николай не бросал слов впустую.

В тот последний разговор, я запомнила его большую сильную руку садовника, работника, которую он положил мне на голову. Его облачение было, как всегда, без золота и серебра: он служил обычно в простой черной рясе, а летом – в светлой. Выходя на улицу переодевался в обычный костюм и плащ. Часто его ждали во дворе у церкви, и он еще там подолгу стоял и говорил. В то лето я долго и много думала о нем, когда начала писать «20 писем».

В сентябре 1963 года он умер.

С тех пор многое изменилось во всем моем мироощущении, и во мне самой.

Дурное и хорошее – чему меня учили с детства – поменялись местами. Потеряла всякое значение героика войн и революций, а те люди, которых меня учили считать великими рухнули в моих глазах. Авторитет грубой силы перестал существовать – как бы он не прикрывался самыми высокими идеалами. Лучшими людьми стали тихие, добрые, искренние и правдивые, незаметные и неизвестные, а не твердокаменные герои подавления и побед. Ложь и ханжество политической и партийной жизни стали невыносимы. Всякая тайна, подпольная деятельность, подспудные мысли – отвратительны. Насилие над человеком, над животным, над жизнью в любой ее форме – неприемлемы. Люди, полные амбиций, зависти к другим, самовлюбленные позеры, холодные циники, снобы стали страшнее физической, грубой опасности, которая перестала для меня существовать. Я перестала бояться смерти, темноты, физического насилия. Но человек, который лжет, пусть с лучшими намерениями и для самой высокой цели, пугает меня так, что хочется убежать.

Я стала здоровой, жизнерадостной. Сейчас я намного здоровее, чем 20 лет назад. Мне открылось великое счастье созерцать и слушать природу – раньше я пробежала мимо второпях, хотя всегда жила гораздо больше среди природы, чем в городе. Просто я была раньше слепа. Я стала иначе относиться к детям, к больным, к старикам. Физическая боль или увечье, причиняемые другому, стали ощущаться, как моя собственная боль. Слезы других вызывали слезы и у меня. Я научилась плакать и смеяться всем существом – у меня открылось сердце, которое было до того стиснутым и зажатым. Красота природы, красок, звуков, формы, все стало ярче и богаче, как будто я прозрела и обрела слух, как будто вышла на свежий воздух из темного подземелья.

С тех пор я побывала во многих церквях, видела много служб. Что-то величественное есть в братской молитве мусульман на огромных площадях перед мечетью, под открытым небом: они не признают идолов и изображений Всевышнего. Религиозность индусов многообразна, от поклонения «обезьянному богу» до созерцания живого пламени огня. Волны органа в католическом соборе гремят, как живой дождь и гроза. Тихий свет свечей в маленьких часовнях, куда можно зайти в любую минуту, согревает сердце. Нужно только, чтобы сердце было открыто для добра и правды – вот единственное, что истинно, и для этого не нужна золотая роскошь храмов и облачений, этому не помогает самый усложненный ритуал.

Истинность чувства и искренность служения я видела в храмах различных религий и везде мое сердце откликалось. Еще во многие храмы войду, и много увижу – но мне самой лучше всего не

храм, а звездный купол неба над головой. Вся природа – мой храм, так же как и моя комната и мое маленькое сердце, пока оно живо и бьется.

«Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною».

«Господи, Боже мой! Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня».

«Господи! Ты вывел из ада душу мою, и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу».

«И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретисце, и препоясал меня веселием».

«Да славит Тебя душа моя, и не умолкает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно».

Я обрела силу, которая помогает мне видеть истину, делать меньше ложных шагов, и исправлять их, если они сделаны. Это чувство единства с природой, со всеобъемлющей жизнью, с Высшим Разумом, наполняет меня восторгом, благоговением, смирением и счастьем. Мне бесконечно жаль тех, кто отворачивается от этого вечного источника и могучего импульса, как жаль всех глухих, слепых, нищих и калек. Но спорить с ними бесполезно.

И хотя мне было сейчас трудно и больно думать о друзьях и детях, с которыми я расставалась очень надолго, я никогда еще, вместе с тем, не ощущала с такой силой свою правоту. Я делала то, что нужно, и иначе поступать не могла. Мне было свободно, легко и беззаботно от этого ощущения.

Я знала, что моя жизнь и судьба – в руке Всевышнего.

III. НОВЫЙ СВЕТ

На другом континенте

Утро в Цюрихе было холодным и дождливым. Сейчас прояснилось, и под нами был сверкающий, синий Атлантический океан, разделяющий континенты – Старый и Новый Свет.

Этот синий океан был красноречивым рубежом между двумя мирами. Я чувствовала, что это и мой рубеж, который мы пересекали в удивительно короткое время. Часы надо было перевести назад: мы летели на Запад.

Этот перелет был так не похож на полет через хребты Гиндукуша, в Индию! Сейчас я знала, что синяя гладь океана подо мной не только пространство, но и время; долгое, долгое время, вторая жизнь, которую я начинаю. Я не тревожилась о чем-либо определенном, мне только казалось, что я рождаюсь заново, что я стану другим человеком. И вместе с тем останусь сама собой – это я тоже знала. Мне бы хотелось, чтобы мы летели долго, чтобы было больше времени подумать обо всем этом. Но все так ускорено в современном мире, что подумать некогда.

В общем, мир так мал, и это лучше всего видно с большой высоты, на которой летит реактивный самолет. Мир так беспомощно мал, все эти океаны, материки, свет «старый» и «новый»... Условность и близорукость человеческого мышления становятся так очевидны, когда не видно земли, и лишь пышные облака внизу, а над тобой безграничное небо с ослепительным солнцем.

Однако, предлагают завтрак. Попробую омара, никогда в жизни не ела. В России после революции устрицы и омары вышли из употребления, только моя старая няня рассказывала, как «бывало, подавали в Петербурге».

Завтрак был обильным. Ален Шварц выпил сперва мартини, потом вина, потом коньяку. Затем он заснул в кресле, свернувшись калачиком. Я выпила два стакана чаю с аспирином. Голова болела – все было слишком стремительно.

В аэропорту Нью-Йорка предстояло что-то сказать перед микрофоном для прессы, это тоже для меня впервые в жизни. Сколько еще всего предстоит мне теперь делать «впервые»? Мысль о «речи перед микрофоном» смешила: так в Москве делали все «прибывающие высокие гости» – премьеры, министры, короли, президенты. Зачем это мне? Разве для этого я еду сюда?

Мой день начинается утром, и я никогда не планирую свою жизнь вперед. Поэтому я не умею и не стараюсь предвидеть. Другие умеют, и пытаются объяснить и помочь, как Кеннан, чье

письмо я сейчас перечитывала:

...«Вам предстоит тяжелое испытание: встреча с прессой в аэропорту в Нью-Йорке. Я бы хотел избавить Вас от этого. Но я не могу.

...«Вы неизбежно встретитесь с трудностями и неприятностями в этой стране, но некоторые из нас постараются сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Вам; и я думаю, что в нашей жизни здесь Вы найдете для себя также много радостей и удовлетворения.[6]

...«Проблема приспособления к жизни вне Вашей родины очень нелегка, ибо тень родственной связи с Вашим отцом будет преследовать Вас всюду, где бы Вы ни были. И для того, чтобы преодолеть эту помеху, Вам нужно больше мужества, больше терпения и больше веры, чем обычно имеют люди».

Позже, спустя недели и месяцы, мне пришлось много раз вспомнить эти слова. Но сейчас их смысл не доходил до меня. Мне казалось, что я отделила себя от своего прошлого раз и навсегда, и ничто здесь не может вновь напомнить мне о нем. Разве этот океан внизу, который мы пересекли, не подтверждает моего ощущения?

Вот уже первые острова и полуострова Америки. Ален смотрит вниз и говорит: «Сейчас будет маленький островок Нэнтакет, куда я с семьей езжу каждое лето отдыхать. Вы обязательно приедете к нам в этот август. Хорошо? Вон там, смотрите!» – «Хорошо, обязательно!» – говорю я. Океан с островами наклонился, самолет делает разворот.

Конечно, я приеду к Шварцам в Нэнтакет! Вот уже второе приглашение. Первое – на ферму к Кеннанам, в Пенсильвании. Мне легко и хорошо. Какие трудности? Вся моя жизнь состояла из трудностей и ненормальностей. Хуже не будет.

Эта полоса земли внизу – Лонг Айленд, там и аэропорт. Как хорошо, что аэропорт назвали Кеннеди. Приятно, что Америка встречает этим именем каждого новичка. Ален говорит мне, что заявление будет передано прямо в прессу, а сейчас лучше сказать просто несколько слов, кстати и о том, что вскоре состоится пресс-конференция, где будет возможность ответить на вопросы.

Ах, ладно! «Ален, успокойтесь, все будет хорошо!» – говорю я, потому что вижу, что он волнуется. Пресса, заявления, трудности, – все эти люди не могут понять как мне легко и хорошо сейчас. Все они не раз пересекали Атлантику, объездили полмира, их ничем не удивишь. Они не знают, что значит жить под прессом и вдруг вылететь на волю, как птица. Они не дорожат свободой, в которой родились и выросли, потому что никто не дорожит тем воздухом, которым дышит каждый день. Этот милый Шварц совсем мальчик, разве он знает, что значит жить в России и

оставить ее? Кеннан знает, он все понимает и поэтому тревожится, но я не могу сейчас думать о «трудностях». Мне так легко и хорошо!

Микрофон и репортеры оказались прямо у самого трапа, внизу. Я не чую ног под собой, сбегая по трапу.

«Хэлло, я счастлива быть здесь!» – говорю я то, что чувствую всем сердцем.

Фотографируйте, записывайте, пишите и говорите обо мне все, что вам угодно – я знаю, что вы сейчас не понимаете меня. Ничего, когда-нибудь поймете, как это много: сказать перед всем миром то, что думаешь.

* * *

Из аэропорта Кеннеди мы поехали в дом м-ра Стюарта Джонсона на Лонг Айленд. Это был дом отца Присциллы Джонсон, переводчицы моей книги, и она предложила провести в его доме первое время.

Первыми американскими впечатлениями оказались великолепные шоссе Лонг Айленда. После крошечной, уютной Швейцарии все было огромным, просторным и напоминало Россию... Это оказалось самым странным из всего, что, я могла ожидать. Простор плоского ландшафта и открытого, пасмурного в этот день, неба. Небрежно раскиданный повсюду мусор (в Швейцарии не увидишь брошенной бумажки). Множество толстых мужчин и женщин с лицами славянского типа. Правда, возможно, что это мой индивидуальный подход, я везде ищу прежде всего сходство, а не разницу.

Нет, здесь есть нечто большее. Отсутствие формальности, естественность и простота американцев так похожа на нас. В Швейцарии я видела хорошие, непринужденные манеры. В Индии – вежливость и уважение, полные церемоний и правил. А американцы не обращают ни малейшего внимания на церемонии и манеры – совсем как у нас. Но насколько они свободнее, непринужденнее и как любят улыбаться!

Второе, что я успела заметить по дороге в Локуст Вэлли, было множество женщин за рулем. Я старый шофер, люблю хорошие дороги и автомобили, сразу увидела как много здесь новых машин, но женщины самых разных возрастов за рулем меня поразили. Совсем молоденькие, хорошенькие девушки, почти девчонки, элегантные дамы, много негритянок молодых и старых, дамы в мехах и невероятных шляпках, похожих на цветущий куст... И, наконец, седые старухи, для которых в СССР единственно возможным экипажем было бы кресло на колесах, вели здесь машины с ловкостью и небрежностью, покуривая сигарету и болтая с сосед-

кой.

«Здоровье женщин – есть здоровье нации», сказал кто-то из социологов еще в 19-м веке. Женщины за рулем, по-видимому, собственницы машин, были очаровательны, с их короткой стрижкой или длинными распущенными волосами, с их яркими, грубоватыми украшениями. Никакого единого стиля, каждая выглядела так, как ей нравилось. Многие везли двух-трех детей и платья, висевшие тут же в машине на вешалках, чтобы не смять в чемодане. Здоровье, свобода и независимость молодой нации предстала передо мной так ярко, так живо, за какой-нибудь час, проведенный на дороге.

В СССР во всех войнах и революциях погибло столько мужчин, что женщины составляют большинство населения. Поэтому они в большинстве в таких профессиях, как врачи, учителя, продавцы. Женщины выполняют там любую самую трудную мужскую работу. Но разве они выглядят так, как эти? И несчастная «шоферша» московского такси, работающая в таксомоторном парке потому, что вернулась шофером из армии и ей негде больше работать, клянет свой адский труд, потому что он лишит ее последнего здоровья. А кроме нескольких известных киноактрис ни одна женщина не имеет собственного автомобиля.

Мы подъехали к белому с черными ставнями деревянному двухэтажному дому, и на крыльце нас встречает румяный, голубоглазый мистер Джонсон, конечно, – с широкой улыбкой. На вид ему около 60-ти лет. На самом деле 74. Придется еще долго привыкать к тому, как несоответственно молодо выглядят американцы. Это тоже здоровье.

Идем на второй этаж дома, который удивляет меня своей старомодностью. Оказывается, американцы любят все, что кажется им «антик». В СССР привыкли думать, что в США все дома из бетона и стекла, небоскребы или плоские, одноэтажные «ранчо». Когда же я увидела пестренькие обои на стенах, белые крахмаленные занавески с рюшами на небольших окнах, салфеточки «ришелье» на комоды и пестрые фарфоровые статуэтки, то мне вдруг показалось, что я вижу пьесу Островского на сцене Малого театра в Москве... Ну что ж, значит я недостаточно «изучала» Америку в университете, и просто мало знаю. Но весь этот день, уже улегшись в скрипучую деревянную кровать и закрывая глаза, я не в силах была отделаться от удивления: «викторианский» интерьер был последним, что я ожидала встретить в США.

Я провела в этом доме первые полтора месяца, и, в конце концов, привыкла к его старомодному уюту и привязалась к его добродушному хозяину. Библиотека с камином, где мистер Джонсон пил неизменный вечерний martini, где на полках Чехов, Тол-

стой и Достоевский на английском, а маленькие шаткие столики были сплошь заполнены фотографиями покойной хозяйки дома, была моим приютом. Возле камина было уютно; мистер Джонсон рассказывал что-то из времен первой мировой войны и с гордостью показывал коллекцию книг и рисунков Уинстона Черчилля. В столовой обедали всегда со свечами – чудесная американская привычка. Вышивки под стеклом на стенах и накрахмаленные салфетки с торчавшими во все стороны рюшами уже больше не смущали меня. Дом хранил порядки, заведенные хозяйкой, умершей совсем недавно, за соблюдением которых строго следила экономка Мария, чистенькая немка. Эти обеды с неизменными цветами на столе и свечами исполнялись, как ритуал, и в этом была своя успокоительная прелесть, так как происходившее вокруг обрушивало на меня каждый день новые сюрпризы.

Первой трудностью, ожидавшей меня через несколько дней, была пресс-конференция в Отель Плаза в Нью Йорке. Впрочем, я настолько не представляла себе, что это такое, что отнеслась к ней легкомысленно. Совершенно забыв о телевизионных камерах, находившихся где-то далеко, я только старалась возможно скорее подыскивать английские слова для ответов. Возможно, поэтому все обошлось удачно, и судя по откликам я «очень хорошо владела собой». А на самом деле я просто не отдавала себе в то время отчета, что телевизоры смотрели даже в Европе. Чувство нереальности происходившего усиливалось от смены во времени, по сравнению с европейским, и оттого, что в Америке беспощадно жгут электричество днем: от этого совсем теряешь представление о дне и ночи.

Мне было все так же легко и хорошо на душе, как в первый день приезда сюда, – хотелось беспрерывно улыбаться и ни о чем не думать. Все поздравляли с успехом; вечером того же дня я с удивлением смотрела сама на себя в телевизионных новостях и мой собственный голос был как чужой.

Фоторепортеры, наконец, отпустили нас, после того как мы застряли в том самом лифте Отеля Плаза, где точно так же застрял Хрущев во время своего приезда. Вечерний Нью Йорк под дождем, залитый огнями, напоминал вечернюю Москву: все большие города ночью похожи.

Первое тяжелое испытание – о котором предупреждал Кеннан – позади. Как жаль, что Кеннаны уехали в Африку, потом в Европу, теперь мы не увидимся до августа.

Перед отъездом Джордж и Аннелиза Кеннан приехали в Локуст Вэлли. Был теплый весенний день, мы гуляли по запущенному, красивому парку и не хотелось говорить о делах. Все шло странно и неправдоподобно успешно – для начала. Кеннан опять предо-

стерегал о возможных будущих трудностях; он боялся, что вдруг наступит неожиданное разочарование. Он говорил о своей стране с огромной любовью и с болью. Он хотел, чтобы я поняла:

...«Невозможно судить о нашем обществе в целом. Необходимо разделять и различать. На самом деле – это не единое общество, а огромное поле битвы, на котором сталкиваются проблемы, важные для всего человечества. Внешняя сторона этого часто будет отталкивать Вас – она выглядит отталкивающе и для нас. Но не забывайте, что многие из нас борются, как только могут, против всех уродств и ошибок. В каком-то смысле мы Ваши братья и сестры, и Вы должны симпатизировать нам в наших трудностях...»[7]

Аннелиза была спокойна. Она так напоминала мне мою московскую Марину, – маленькая женщина, крепкая, собранная. Аннелиза норвежка, у нее строгое лицо северянки, синие глаза. В желтом весеннем костюме на стройной фигуре, с большим перстнем, она держалась просто и с достоинством, не расточая улыбок. Около нее спокойно: я вижу без слов, что она все поймет и даст хороший совет. Она не университетский профессор, не писатель, не историк, а просто умная женщина. Это лучше всего.

Мне было повторено приглашение провести лето на их ферме в Пенсильвании. Предстояло познакомиться еще с одним членом этой семьи – с дочерью Джоан, которая живет с мужем и двумя сыновьями в Принстоне.

Но пока я еще остаюсь на Лонг Айленде, в семье Джонсонов. Надо начать работу над переводом «20 писем» и посмотреть, как он пойдет. Все казалось просто, и я не совсем понимала, отчего так беспокоится Кеннан. Однако, следующие дни и недели показали, что все его предостережения были не напрасны. Он слишком хорошо понимал Советский Союз и его возможные реакции. Он прекрасно знал свою страну. И еще – он понимал человеческую натуру и боялся, что после опьянения счастьем первых дней наступит горькое похмелье.

Смятение

На следующий день после пресс-конференции в Плаза я чувствовала себя усталой и разбитой: день накануне оказался слишком напряженным. Я сидела в гостиной м-ра Джонсона, с удивлением глядя, как через каждые полчаса несут почту, корзины цветов, опять письма, опять корзины. Сначала я читала письма, потом просматривала некоторые, потом уже не было сил.

«Wellcome to America»; «Мы надеемся, что Вы найдете здесь покой и счастье»; «Не отчаивайтесь, Ваши дети будут с Вами»;

«Храни Вас Бог!»; «Мы приехали сюда сорок лет назад и сейчас – это наша родина. У Вас будет много друзей. Ваши дети поймут Вас. Благослови Вас Бог!»

Этот поток писем продолжался весь месяц, пока я жила у Джонсонов.

Были и другие письма. «Убирайся домой, красная собака!»; «Америка – не для красной чумы и не для сталинской семьи!»; «Наша кошка лучше вас – она заботится о своих детях!»; «Вы не умеете говорить по-английски, езжайте к себе в Россию!»...

Но этих писем было мало – три на сотню доброжелательных.

Я не ожидала такой реакции на свой поступок, на свои слова. Сначала я удивлялась. Потом начала плакать над каждым милым, добрым письмом. Потом меня охватило отчаяние. Я не привыкла жить на виду, быть в центре общественного внимания; не привыкла чтобы о моей судьбе и жизни думали, говорили, писали тысячи незнакомых людей, которым теперь уже будет интересен каждый мой шаг, от которых никуда не укрыться.

За кого меня здесь принимают? Десятки приглашений в колледжи и университеты «говорить», «беседовать», «отвечать на вопросы» о Советском Союзе. Приглашения во всевозможные религиозные организации – «рассказать о Вашем опыте, как Вы нашли Бога...» Участвовать в специальных религиозных программах на радио и телевидении. Посетить женский клуб и рассказать о советских женщинах. Приглашения на православную службу, на католическую, баптистскую, пресвитерианскую, к квакерам, в храм всех религий, в ведантийский ашрам на Западном побережье. И все это с доброжелательным гостеприимством, с самой искренней симпатией, с огромным интересом к тому – как же действительно живут люди в СССР, если для меня оказалось возможным отречься от коммунизма, от своей страны, оставить детей?

Мне казалось, что на пресс-конференции я объяснила все, что могла. Я знала, что обязательно буду писать вторую книгу и напишу там все, что возможно о жизни в СССР и о том, почему я не вернусь туда. Но мысль о том, чтобы превратиться в странствующего лектора по «советским проблемам», выступающего на собраниях, приводила меня в ужас. Говорить по телевидению о религиозном чувстве мне казалось профанацией самых глубоких движений души. Говорить о политике, рассказывать о жизни в СССР, было бы с одной стороны саморекламой, а с другой – это должен делать историк, профессиональный лектор, а не женщина, для которой политика никогда не составляла главного интереса в жизни.

Я сразу же начала категорически отказываться от всех подобных приглашений. Говорить перед публикой для меня всегда было трудно, из-за этого я не стала преподавать в Московском университете. Я хотела остаться сама собой здесь, в стране, где общественная жизнь активна, свободна, изобильна. Общественный деятель – не мое амплуа. Но я знала, что отказываясь, я нарушаю что-то очень существенное в обычаях и укладе этой страны. Отгораживаясь от общественной аудитории, я невольно оскорбляю чувства всех этих доброжелательных людей, верящих мне, раскрывающих мне гостеприимные двери.

Под влиянием этих писем, этой заинтересованности, я вдруг почувствовала, что не имею в себе сил, остаться на уровне совершенного мною же. Я не способна ответить на все эти призывы и объятия, я слаба для этой роли. Я взяла на себя нечто такое, что непосильно для моих слабых плеч, и раздавит меня в конце концов. Я вышла в огромном оперном театре на сцену перед публикой, и у меня нет голоса, чтобы петь...

«Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси...»

Это – «Гамлет», стихи, написанные доктором Живаго...

Добавлением к смятению было письмо от сына, пришедшее в Нью-Йорк через Швейцарию. Это был нож в самое сердце.

Сын был потрясен нашим разговором по телефону; он понял, что я не вернусь, и тогда же написал мне. Для него это было ужасно еще и потому, что он привык к взаимному доверию. Мы говорили всегда как равные, взрослые люди, а здесь он почувствовал себя преданным, оставленным, – себя, Катю, Лену. Он не мог смириться с тем, что я никак их не предупредила и они подверглись такому неожиданному удару. Политических мотивов он, как обычно, не касался; наши отношения были для него важнее, и горечь его слов была искренней:

...«Когда мы с тобой говорили по телефону, я растерялся, услышав все то, что ты мне сказала, и не смог должным образом ответить. Мне понадобилось несколько дней для обдумывания всего этого, так как дело совсем не так просто, как это кажется тебе...

...«Можешь быть уверена, что твой тезис о „туризме“ я понял, и ни в коей мере не собираюсь уговаривать тебя вернуться, особенно после нашего разговора.

...«Согласись, что после того, что ты сделала, советовать нам издалека мужаться, держаться вместе, не унывать и не отдавать Катю, по меньшей мере странно. У нас здесь есть близкие люди, которые нам всегда дадут хороший совет, и не только совет, но и реальную помощь. Я считаю, что ты своим поступком отделила себя от нас и поэтому позволь нам жить так, как мы считаем нужным.

...«Еще раз хочу подчеркнуть, что не берусь судить о том, что ты делаешь; но уж если мы смогли довольно стойко перенести то, что ты сделала, то, надеюсь, в дальнейшем мы сможем сами устроить свою жизнь.

...«Постарайся все это осмыслить, и понять должным образом и нас.

Ося. 14 апреля 1967.»

Для меня в каждой строке было больше. Я знала сына, я представляла себе их всех троих в нашей кухне, с бесконечными звонками и вопросами знакомых, с необходимостью, между тем, много работать, сдавать экзамены... Ни один из троих не был лентяем, они привыкли работать. Я могла быть спокойна и не бояться, что вдруг начнутся истерики, пьянство, что будет брошена учеба. Нет, этого с ними не произойдет. Но между строк было столько обиды и боли, что я была раздавлена ею.

...«После твоего звонка Катя до сих пор не может прийти в себя, она переживает это гораздо тяжелее, чем мы...»

Я рыдала и не могла остановиться. Мне хотелось одного – уйти от всего, молить Господа о прощении за грех перед детьми, уехать назад в швейцарский монастырь, куда угодно, куда угодно... Только бы укрыться от гостеприимства и любопытства, только бы не видеть людей, думающих, что мне сейчас все так легко и просто!

Мои новые друзья испугались. Кеннан предупредил не зря. Я в отчаянии написала ему, он был в Африке, в Йоганнесбурге, и получила вскоре ответ. Как всегда, он стремился заглянуть поверх и вперед событий:

...«Не позволяйте себе самой усомниться в Вашей правоте... В Дели Вы следовали тому, чего требовала Ваша натура. Если бы Вы вернулись назад в СССР, тогда, будучи врагом системы, Вы стали бы, в известном смысле, врагом самой себя. И все это не принесло бы ничего хорошего Вашему сыну.

...«Верьте, даже перед лицом этой огромной печали, что каким-то образом, которого ни мне, ни Вам не дано осознать, Ваше мужество и вера будут в конце концов оправданы – и для Вашего

сына тоже».[8]

* * *

Весь май в Локуст Вэлли прошел в смятении, не дававшем возможности не только заняться переводом книги, но вообще спокойно думать.

Корреспонденты приходили к дверям, фотографировали дом с вертолета, «подследили» из-за кустов нас с м-ром Джонсоном, когда мы гуляли с его собаками. Автобус итальянского телевидения долго стоял возле дома, и, в конце концов, интервью было взято у старого садовника, поляка. Два симпатичных толстяка венгерца, – частные штатские «секьюрити», по очереди дежурили на кухне, выводя из равновесия аккуратную Марию и кухарку. Сестра Присциллы повела меня в магазин, и на следующий день мы увидели нашу фотографию в газете, за примеркой обуви. Требовали интервью у меня, у Присциллы, у ее мужа, у Марии... Местная полиция держала неподалеку от дома круглые сутки дежурную машину. В этом не было необходимости, но полиция боялась инцидентов.

Очевидно, советское посольство не собиралось организовать «похищение перебежчика»... Москва просто не знала еще, что предпринять.

Пока лишь потребовали у гостившего в Нью-Йорке Андрея Вознесенского, чтобы он «осудил» мои действия. Вознесенский этого не сделал. Его слушали поэты и студенты, он читал стихи о том, что все люди – братья, что все народы хотят мира и дружбы, и что все правительства – этому только мешают. (За это его не пустили в следующую поездку в США, летом).

Письма продолжали приходиться каждый день. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский прислал свою книгу с автографом. Профессор С. К. Мажумдар прислал свои лекции о Йоге. Незнакомые русские поздравляли с православной Пасхой. Незнакомые католики писали о чудесах Гарабандаля и Фатимы. Все они слали теплые благословения, и неизменно заключали свои письма: «Молимся о Вас и о Ваших детях». Я плакала над письмами, чувствуя, что быть «известной фигурой» – не в моих силах.

Никто не помогал мне отвечать на многочисленные письма. Секретарши у меня не было. Присцилла пыталась делать это, но тогда ей было бы невозможно переводить книгу. Она была в таком же смятенном состоянии, как и я. Плохо соображая в те дни, что я делаю, впопыхах, я согласилась на «сериализацию» книги в газетах и журналах за две недели до ее выхода. Мне сказали, что будет напечатана целиком одна или две главы, с моего согласия, и что это усилит интерес к книге. Я согласилась

на это, хотя мне казалось вульгарным печатать в газетах книгу о семье.

Мои дети родились оба в мае, дочь 4-го, сын – 22-го, и я послала им коротенькие поздравительные телеграммы. Квитанции я сохранила, но из позднейших интервью, данных моим сыном, поняла, что почта в Москве не доставила им эти телеграммы...

Большую часть времени я проводила в комнате Присциллы, которую отвели мне, или в гостиной внизу. Выходить гулять в сопровождении штатских «секьюрити» не хотелось: я устала от этого в Швейцарии и думала, что здесь этого не будет.

В доме было много русских книг. Мне продолжали присылать книги каждый день по почте: первой «собственностью», приобретенной в Америке, оказалась быстро собранная таким образом библиотека. Я читала, наконец, все, что писал Андрей Синявский и его блестящий литературный стиль, его мужество несколько подбодрили меня. В Москве то, что было издано за границей, не давали читать даже нам, его сотрудникам по институту. Мы обязаны были «осудить» его, не зная за что! Когда я думала о том, что Андрей сейчас в лагерях, то чувствовала, что не имею права сетовать, а должна лишь благодарить судьбу, давшую мне вместо тюрьмы – свободу и независимость. Но несчастье заключалось в том, что человек, выросший в клетке, не знает, что такое свобода, и должен к ней постепенно привыкать. Голодающему нельзя сразу дать объесться: он умрет.

Постепенно, гостеприимные хозяева, у которых я жила, их радушие и простота, участие и симпатия новых друзей, и сама весна привели меня в чувство и вернули к жизни. Я, как Колумб, начала свое «открытие Америки» – прежде всего через домашнюю жизнь тех семей, где мне пришлось быть гостьей более чем полгода. Политику и историю этой страны я изучала еще в университете, и они меня мало сейчас привлекали. Жизнь семьи всегда казалась мне более значительной для познания страны и общества в целом. И первым, что я узнала на американском континенте, был дом Джонсонов.

74-летний м-р Джонсон, игравший каждый день в теннис с тремя соседями-однолетками, и вечером выпивавший со мной неизменное martini, был моим «Президентом» этой страны. Он воплощал в себе ее крепкое здоровье, юмор, добродушие, гостеприимство, простоту и естественность. Он превращал в шутку дежурство полицейской машины возле его дома. Однажды, лукаво подмигнув, он предложил мне «удрать». Мы сели в его «шевроле» и он долго возил меня по всем красивым уголкам Локуст Вэлли, Ойстер Бэй, Милл Нэк, а потом повез к океану, и наслаждался «побегом», как мальчишка. Дома он с трудом ходил по

лестнице, так как у него плохо гнулись колени, но уверял, что на теннисном корте ему легче. Он с удовольствием отправлялся каждый день на почту, так как его почтовый ящик не вмещал моей почтовой корреспонденции, это его тоже забавляло. Его дом был наводнен незнакомыми людьми, служанки были недовольны; но когда настал день моего отъезда он говорил, что теперь в его доме снова станет пусто и уныло.

Младший сын его был учителем в Нью-Йорке. Он приезжал по воскресеньям, привозя с собой троих маленьких детей, и ловко управлялся с самой младшей, которой было лишь два года. Недалеко от дома была заброшенная детская площадка с качелями, куда теперь ходили играть внуки. Я сидела там с ними возле ящика с песком, где они «пекли куличи», помогала влезть на шаткие качели и мне казалось, что я давным-давно знаю этого добродушного учителя и его светловолосых, кругленьких как херувимы, детей. Эта детская площадка напоминала мне детство, и все полузаброшенное поместье с пустыми конюшнями, заросшим лугом, брошенной жнейкой чем-то напоминало неухоженные, неприбранные поля Подмосковья... Толстый учитель рассказывал о детях, о школе, о том, как он вырос в этой усадьбе, как играл возле пруда, где еще сохранился полуразвалившийся дом дедов и прадедов. Дом так и стоял сейчас, уже без стекол, грозя вот-вот рухнуть, но его жалели ломать, и м-р Джонсон предпочитал ждать, пока дом умрет тихой смертью сам.

Учитель видел, что я в растерянности. Я призналась ему:

«Мне кажется, что я наблюдаю жизнь здесь, как на экране. Я смотрю на нее, она мне нравится, но у меня такое чувство, что я не могу войти в этот экран. И я боюсь, что никогда не смогу...»

«Нет, нет, это пройдет», – говорил он, стараясь заставить меня верить в собственные силы. – «Это пройдет! Я понимаю. Я знаю как вам тяжело думать о детях. Но, поверьте, у вас будет здесь столько друзей!»

Он привез мне из Нью-Йорка фортепианный концерт Брамса, наладил новый проигрыватель в гостиной, и мы слушали музыку, сидя молча, думая каждый о своем. Мы слушали Моцарта, Шумана, прелюдии Баха. Он не знал как развлечь меня, купил мне импровизации на ситар Рави Шанкара, разыскивал одну песню Нат Кинг Коля, которую мне хотелось найти.

Старшая дочь Джонсона, сестра Присциллы, жила недалеко с мужем-врачом и детьми подростками. Она была стройная, как девочка в своих желтых брючках. Ее дом был современным, его простота – изящной и уютной. На ее лице всегда была улыбка – естественная, не наигранная.

Это великолепное качество здешних женщин – они не обременяют вас своими проблемами и несчастьями, – хотя у каждой есть, наверняка, и проблемы и несчастья. Она водила меня в местные магазины, потом купила мне платья и мелочи сама, – мне было лучше не показываться на глаза публике.

Она порхала как легкая бабочка – ей было за сорок, но нельзя было бы догадаться об этом; была приветлива и никогда не расспрашивала ни о чем. Это было, пожалуй, сейчас самым добрым, самым лучшим отношением ко мне: не расспрашивать.

Я ездила два раза в Нью-Йорк в гости к Алану Шварцу и его жене Паоле. Там нас немедленно сфотографировал репортер прямо у лифта. Паола выглядела 18-тилетней, а ей было уже тридцать. Она была грациозна, умна и ловко управлялась с двумя бесенятами-сыновьями, хозяйством и молодым мужем, очевидно, передавшим свой характер неугомонным сыновьям.

Наконец мне удалось повидаться с Ашоком – сыном Суреша Сингха, тем самым Ашоком, который жил в Сиэтле с женой-голландкой и работал в Боинг Ко. Мы созвонились однажды по телефону, потом он прислал письмо, и наконец прилетел на Лонг Айленд.

Ашок оказался милым молодым человеком, по-восточному учтивым, по-западному свободным и естественным. Мы целый день просидели с ним в гостиной м-ра Джонсона возле камина, говоря о его родителях и о Калаканкаре, о возможности строительства там больницы.

Когда в доме м-ра Джонсона узнали, что ко мне приедет в гости «индийский родственник», Мария спросила, что он будет есть, и осторожно осведомилась, будет ли он сидеть на полу и носит ли тюрбан и бороду. Красивый, учтивый молодой человек очаровал ее. Он хвалил ее печение, болтал с нею и с кухаркой и, наконец, сфотографировал их обеих и всех остальных, кто был в доме. Когда он уехал, Мария сказала: «Это – настоящий джентльмен!»

Как-то, в конце мая, я проснулась ночью на своей «викторианской» кровати. Предрассветная свежесть дышала в окно. Где-то лаяли собаки. Пахло росистой, холодной травой. И оглушая, не давая перевести дух, путая все в голове, лился в окно винный дух сирени. В траве ландыши, в доме всюду ландыши, а возле дома огромные, как лиловые стога, кусты цветущей сирени.

Нет, это не Подмосковьё, не Жуковка, – хотя вполне возможно ошибиться: там сейчас ландыши, сирень, ночной лай собак...

В этом странном 1967-м году, начавшемся возле Ганга, весна встречала меня три раза, как бы в возмещение всех печалей и утрат.

Первая наступила в Индии в конце февраля, и ее приход было трудно заметить. Как и «зимой», продолжали цвести розы и гладиолусы, по ночам так же звенели цикады. Но в один прекрасный день на манговых деревьях среди темной, жесткой листвы появились незаметные метелочки цветов: это и означало приход весны.

И сразу же все вокруг стало молниеносно покрываться цветами – каждый кустик, каждая веточка. На вечнозеленых кронах выступили свежие листочки, и осыпались отмершие. И не осенью, как на севере, а весной по всей террасе шуршали сухие листья и ветер сметал их в кучи. Не было привычного для северной природы весеннего пробуждения природы, потому что жизнь течет здесь плавно и вечно, как Ганг, не засыпая на зиму. Обновление наступит в середине лета, после того, как пройдут муссонные ливни. А весна в Индии бежит быстроногой девчонкой, звеня браслетами, а ей в спину уже дышит, как раскаленная пустыня, пыльное пекло лета.

Вторая весна пришла в Швейцарии, в конце марта. Здесь началось знакомое, весеннее возрождение жизни. В маленькой мирной Швейцарии весна тоже была уравновешенной, спокойной и уверенной в себе. Она подходила не торопясь, не пугаясь последних снежных буранов, засыпавших снегом темнолиловые фиалки и подснежники. Она знала, что возьмет свое. Через пол дня снег таял, пригревало солнце и как ни в чем ни бывало желтела форсития и пробивались из-под земли гиацинты. Опять завлакивало небо тучами, опять выл ночью ветер, но утром ярко синело небо... И было так радостно ощущать это неудержимое круговращение природы, и невольно душа оживала вместе с нею.

Когда я уезжала отсюда в апреле, весна была в полном разгаре. Последний раз дорога в Цюрих провожала меня розовыми дикими вишнями и цветущим миндалем, кипела белая пена яблонь. Это был прощальный привет Швейцарии, обещавший удачную дорогу. Как дорожные знаки стояли на моем пути эти цветущие деревья, и такой осталась в памяти милая, маленькая страна.

Но на Лонг Айленде в конце апреля было холодно, ни листьев, ни цветов. Лишь в середине мая весна пришла сюда, оглушив своей яркостью и неожиданностью.

Американская весна была похожа на эту страну своим изобилием и богатством, она захлестывала как половодье. В этом году ее надолго задержал холодный апрель. И после долгих задержек, вдруг бурно расцвело все сразу, и это было как во сне, неправдоподобно.

Пылали, как огонь, азалии. Белые догвуды стояли в лесу, как невесты. Эти деревья всех розовых и пунцовых оттенков были

новостью для меня – их нет в Европе, их нельзя перевозить на другие континенты. Белые и розовые магнолии, желтоватые рододендроны, все это прекрасно уживалось рядом с обыкновенной нашей сиренью и ландышами – российскими символами весны. Только не было здесь черемухи, и никто не знал английского ее названия.

По всему белу свету цвела и благоухала весна.

«...– Весна была весною даже в городе. ...Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди – большие, взрослые люди – не переставали обманывать и мучать себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, – красота располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом».

Так начал Лев Толстой свой роман «Воскресение». Старое английское издание его в красном сафьяновом переплете стояло на полке у м-ра Джонсона.

Душное лето

В начале июня все разъехались из Локуст Вэлли. Присцилла уехала в Атланту, Джорджия, к мужу, чтобы там работать над переводом. К сожалению, нам так и не удалось посмотреть вместе ее перевод. Больше мы с тех пор не встречались.

Я успела познакомиться за это время с Джоан Кеннан, и теперь отправлялась к ним на ферму. Потом Джоан и Ларри уедут на маленький остров Тонга в Тихом океане и будут работать там в Корпусе Мира. Это была красивая молодая пара, и я была рада прожить с ними два месяца.

Мы ехали через зеленые поля и холмы Пенсильвании. Радио в машине громко сообщало новости о только что начавшейся войне между Египтом и Израилем. Это была последняя поездка вместе с братьями-венграми; на ферме уже не предполагалось никаких «секьюрити». Толстяки нещадно дымили огромными сигаретами и слушали радио всю дорогу. В чемодане у меня лежал их прощальный подарок: вечная ручка с надписью – «Светлане. Пользуйтесь на счастье. Эл и Джордж».

Зеленая фермерская Пенсильвания выглядела богатой и плодородной страной, похожей на Украину или Кубань, если исключить самое главное – то, что еще сохранилось в СССР как «деревня». Белые и темно-красные домики фермеров выглядели комфортабельными современными коттеджами, возле каждого стоял автомобиль. На самоходных машинах тут и там подстригали газон. Совсем не было видно заборов и изгородей вокруг домов.

Это было так приятно; никто ни от кого не отгораживался, не скрывал свою жизнь, не прятался. Плетеная мебель стояла возле домов на лужайках, или на крыльце, смотрящем на улицу. Это создает ощущение доверия людей друг к другу. Изгородь из продольных жердей можно было увидеть кое-где лишь для скота.

Большой дом Кеннанов неожиданно оказался удивительно похожим на помещичью, российскую усадьбу. Особенно со стороны того, что должно бы называться «парадным подъездом» с широкой каменной лестницей, с каменными вазами для цветов, портиком и колоннами. Но подъезжали и входили здесь с другой стороны, которая была чисто американской и вела сразу в гостиную и кухню. Эта странная, но гармоничная смесь стилей господствовала и внутри. Кеннаны привезли из России старые гравюры, картины, фарфор, федоскинские расписные столики. Была даже большая фотография кремлевской набережной, от которой меня передернуло и я подумала: «Опять – Кремлевская стена!?»

Джоан и Ларри объяснили, что дом был построен в начале 19 века, а позже перестроен выходцем из России. Потому его архитектура напоминала российскую. Но его владелец был евреем-торговцем, поэтому в каждой двери была сбоку вделана «мезуза» – трубочка, величиной с мизинец, внутри которой находилась бумажка со священными знаками. Джоан говорила, что благодаря этому дом всегда был счастливым для их семьи: «мезуза» ограждала все входы от злых людей.

Я обошла весь дом в первый день, как кошка на новом месте, приглядываясь и принюхиваясь к мебели и углам. Дом был обжитым и уютным, особенно эти качалки повсюду, деревянные и мягкие. Он был одновременно европейским, американским, русским, да еще эта «мезуза». Все это мне нравилось, потому что я всегда предпочитаю смесь любой традиции.

Каждая комната была особенной. Тут были норвежские фигурки и гравюра Кристиансанда – где жили родители м-с Кеннан. Возле камина в гостиной лежала медвежья шкура. В каждой комнате была какая-нибудь мелочь из России – коробка, матрешка, столик. Везде – огромное количество книг на русском языке.

Просторный кабинет на третьем этаже был полон солнца, лежавшего квадратами на желтом паркете. Он был пустоват, и это было самым чудесным. Одну стену занимали крашенные белой краской полки, полные книг, русских газет и журналов. (Точно такие белые полки остались в моей квартире в Москве...). В папках были собраны материалы о России и вырезки из газет. Огромный некрашенный деревянный стол – легкий, без ящиков – был так удобен для работ, так приглашал расположиться здесь. У окна была, конечно, качалка, старая, жесткая, отполированная време-

нем. И еще была здесь картотека и стоячая лампа. Ходи из угла в угол, думай, пиши – здесь Кеннан любит больше всего работать. Старомодная пишущая машинка стояла на подставке из грубых досок, сколоченной самим профессором. Джоан сказала, что ее отец находит отдых в самой различной работе, необходимой на ферме. Фермерством же в семье никто не интересовался. Рядом жил арендатор со своей семьей, он и обрабатывал землю.

К вечеру мы все трое уселись на ступени заднего портика. Перед домом, за небольшой лужайкой, волновалось светло-зеленое пшеничное поле, за которым виднелась небольшая роща. Оттого, что отсюда не было видно никаких американских построек – пейзаж был совсем среднерусским...

Задний портик был любимым местом семьи для вечерних разговоров. Тут мы проводили каждый вечер этого душного лета, с частыми грозами и ливнями, со светлячками, порхавшими между елок.

В этой усадьбе было что-то меланхолическое, русское. Это впечатление усиливала музыка из фильма «Доктор Живаго», которую любила Джоан и часто заводила. Тема Лары и Варыкинской зимы была, действительно, хороша, она переходила то в вальс, то в воспоминания, и что-то переворачивалось в сердце от нее.

К счастью, мы слушали и другое – народные песни в исполнении Джоан Баец, Джуди Коллинз, Питера Сигера и хора Митч Миллера. Слушали Грига, Баха, – Джоан всегда ставила пластинки в то время как готовился обед и мы были на кухне, или тянули коктейли на заднем крыльце.

Прислуги здесь не было. Каждый делал у плиты, что хотел. Я сделала однажды настоящее карри, Джоан пекла оладьи по воскресеньям, а Ларри орудовал каждый вечер на улице, поджаривая стейк на гриллере. Какие только соусы мы не изобретали! Даже грузинское чахохбили из цыплят с помидорами всем понравилось. После обеда мы с Джоан мыли посуду, запустив погромче пластинки, чтобы было слышно у мойки.

Полдня мы проводили на кухне. Здесь и начинался день утренним кофе за длинным деревянным столом у окна. Стол стоял торцом к окну, а вдоль длинные лавки (совсем как в моей кухне в Москве...) Здесь кормили детей. Обедали же на веранде с сетками одни взрослые, детей укладывали спать. Там ставили на стол свечи и был полумрак, а вокруг мерцали в траве и в воздухе светлячки.

Как хорошо и просто мне было с этими молодыми хозяевами, на десять лет моложе меня. У них не было моего опыта жизни из боли и травм, но была зрелость крепкой, дружной семьи – то, что здесь, очевидно, переходило из поколения в поколение. Поэтому

они заботились обо мне, как о младшей сестре. Об этом говорило все, начиная от моей комнаты наверху, где все было просто, без викторианской мебели и рюшек на окнах, и очень удобно. Джоан знала, что в магазины со мной пока лучше не ходить; поэтому она сама купила мне летние платья, белье, парусиновые туфли, купальный костюм, косметику. Никто давно уже так не заботился обо мне. Каждая покупка была продумана и точно соответствовала необходимости. Ларри купил мне синие джинсы – нельзя жить без этого на ферме, – а увидев, что я складываю нитки и иголки в коробку от швейцарского шоколада, принес однажды маленький рабочий несессер. Это были не просто друзья – а мои брат и сестра, так свыклись мы за эти два месяца.

Джоан была необыкновенно хороша собой – высокая, длинноногая, стройная, с естественной грацией лесной косули. Естественность и составляла ее главную прелесть. Она была похожа на Кэтрин Хэпберн в молодости, хрупкостью, в которой есть одновременно что-то сильное и грустное. Ее улыбка была всегда немного меланхоличной, просто так, без причины. Часто я спрашивала – не больна ли она, или устала, или что-нибудь случилось? Нет, она была абсолютно здорова и счастлива, и спокойно продолжала вешать белье, гладить, готовить еду для детей. Я ловила себя на том, что не могу оторвать глаз от нее. Она была всегда в шортах утром, и переодевалась в какое-нибудь милое, изящное платье вечером. Эта молодая женщина знала, как вести дом, и я думала порой, что ей хорошо бы быть хозяйкой большого дома, так, чтобы она не занималась кухней и стиркой, а только развлекала бы многочисленных гостей и все бы наслаждались ее обществом и любовались ею. Но у нее была жизнь полная забот, а тут еще – я, и она каждый день привозила мою огромную почту, от которой я приходила в замешательство.

Не три адвоката, не литературные агенты, не издатели и переводчики, а одна толковая секретарша – вот кто был мне необходим! Но ее у меня не было... По-прежнему было 95% симпатизирующих, понимающих писем. Многие отозвались на статью «Борису Леонидовичу Пастернаку», поняли чувства, заставившие меня написать ее. К этому времени у меня появилось много друзей по переписке в разных странах. Однажды я получила письмо от м-с Сингх из Лондона, где она жила вместе с 28-милетним сыном. Мне было так приятно слышать о единственном сыне, которого имел Баджеш Сингх.

На ферме Кеннанов все сельскохозяйственные работы вела семья арендатора, жившего в соседнем доме. В первый же день, когда я приехала на ферму, я вскоре увидела как к гаражу подъехал красный автомобиль, и из него вышла молодая женщина с

модной прической и в белых шортах.

«Это наверное к вам, Джоан?» – спросила я, уверенная, что это подруга.

«Это Хуанита, жена фермера», – ответила Джоан.

Я смолчала...

Жена фермера? Это – ее автомобиль? Да она выглядит как известные советские киноактрисы, у которых, правда, нет такого автомобиля! А этот дом арендатора ничем не хуже домов знаменитых советских академиков...

Вскоре мы подружились с Хуанитой. Вся ее семья работала с утра до вечера. Электричество обслуживало дойку тридцати коров, в большом амбаре девятилетний сын Хуаниты вырастил лучших в округе поросят. Каждое утро начиналось мычанием коров, ревом быка, поросычим визгом из амбара. Все молоко продавалось – это был доход арендаторской семьи, весь день бывшей в поле. Косили, убрали сено, потом кукурузу, потом пшеницу. Все делали машинами; за амбаром стоял целый парк сельскохозяйственной техники. Когда, позже летом, приехали сын и племянник Кеннанов, они тоже помогали уборке.

Хуанита только закатывала глаза кверху, когда я спрашивала ее, – как она все успевает? У нее было четверо детей. Надо было успевать, и вся семья старалась.

Она часто спрашивала меня о том, как работают на полях в СССР, есть ли техника, кому принадлежит земля. Я рассказывала ей, что в СССР земля, продукт и доход от нее принадлежит государству, а крестьяне не владеют ничем, кроме дома и небольшого приусадебного участка. Их работа на колхозной земле оплачивается деньгами или натурой, но плата зависит от общей выработки колхоза. Колхоз же зависим от государственных установок и не может решать сам, что выгоднее выращивать. Крестьяне лишены инициативы и заинтересованности. Молодежь уходит в города. В деревнях остаются старики и инвалиды, и город каждую осень посылает тысячи студентов и служащих на уборку урожая. Кому интересно работать, зная, что сколько ни работай, все пойдет государству? Поэтому деревня в СССР выглядит не так, как дом Хуаниты, а как было сто лет назад здесь, в Пенсильвании.

Хуанита качала головой.

«Может быть, мы не ценим, что имеем», – сказала она однажды. – «Мы все жалуемся, что жить становится труднее и дороже»...

«Да, хорошо бы вам один раз взглянуть на деревню на севере СССР, или в Индии, тогда бы вы поняли, как много вы имеете!» – ответила я.

Хуанита, ее муж и дети к вечеру выглядели усталыми, но довольными. После работы вся семья, вымывшись, усаживалась у телевизора. Дети Джоан тоже убегали туда, у Кеннанов телевизора не было. Когда летом передавали телеинтервью с Хрущевым, все пошли смотреть его в дом Хуаниты.

Иногда там крутили домашнее цветное кино – дети играют и катаются на пони, родственники приехали в гости.

Это – фермер! Это – фермер! – не выходило у меня из головы. В СССР называют рассказы о такой жизни – пропагандой, но вот я вижу все своими глазами... Бедная, несчастная Россия! Какой богатой и цветущей могла бы ты стать, если бы крестьянин работал на земле с радостью, – и для себя!

Я вспоминала слова советского писателя Владимира Солоухина: «Труд на земле приносит радость. Когда эта радость отнята от крестьянина, его работа лишается для него смысла...»

Лето было урожайным. Шли частые грозовые ливни, днем пекло жаркое солнце. Мы ели каждый день свежую кукурузу. Сыновья Джоан и четверо детей фермера загорели и дышали здоровьем. Все ходили купаться на небольшой пруд, где Ларри построил помост. Ларри работал весь день – он умел все. Семья готовилась к предстоящему отъезду на Тихий океан. Свой дом в Принстоне они уже продали.

В характере их обоих было много романтизма, а у Джоан была глубокая душевная потребность помогать другим. Она прошла школу медсестер, собираясь работать на далеком острове. Обоих совершенно не пугала перспектива перемены жизни от комфорта к примитивности. Они повторяли, что «климат будет очень полезен для детей». Правда, могут быть тропические и желудочные болезни – но ничего, они берут с собой медикаменты. Глядя на них я думала, что эта деятельная пара не пропадет нигде. А их два сорванца только поздоровеют от ежедневного купания среди коралловых рифов. Меланхолическая улыбка Джоан совсем не означала слабости, а ее синие глаза иногда загорались таким светом и силой, что я на самом деле ощущала себя «младшей сестрой».

В это душное, грозовое лето мне недолго пришлось наслаждаться покоем в гостях у этой милой семьи. Вскоре буря разразилась и над моей головой.

* * *

Москва долго не могла прийти в себя и решить, что же делать с «перебежчиком». Я так живо представляю себе, как совещались между собой партии и КГБ; как «решали вопрос» в ЦК.

25-го июня, премьер Косыгин, прибывший с визитом в США, заявил на пресс-конференции в ООН: «Аллилуева – морально не-

устойчивый человек и она больной человек, и мы можем только пожалеть тех, кто хочет использовать ее для политических целей...»

Мы ужинали на ферме, когда по радио передавали пресс-конференцию. На столе горели свечи, в бокалах было красное вино. Я слышала по тону премьера, что он с трудом сдерживается – так ему хотелось бы сказать посильнее. Переводчик перевел, но в его интонации те же слова звучали вежливее и приличнее. Все равно Джоан и Ларри рассмеялись. Мы выпили вина. Я не придавала особого значения сказанному. Но не следовало забывать, что партия имеет аппарат, и что теперь машина, в которую «заложили идею», заработает. Это был лишь первый удар из тяжелого орудия.

За следующий месяц я узнала о самой себе из прессы много нового. Оказалось, что я всю жизнь находилась под наблюдением психиатров; страдала необычайной сексуальностью; носила бриллианты Романовых; ела с их золотой посуды и жила в Кремле – в бывшем романовском дворце; присутствовала при подписании пакта 1939 года с Риббентропом, причем уже тогда была взрослой. Что мой отец советовался со мной по каждому политическому вопросу, я вела его дом и без меня не обходилось ни одно решение. Что в Швейцарию я поехала для того, чтобы взять деньги, положенные моим отцом в швейцарские банки... Все это писали американские и европейские газеты, а вырезки мне присылали незнакомые люди. Одна из читательниц приложила копию протеста, который она послала в редакцию.

«Ladies' Home Journal» и «McCall's Magazine» писали, что Брэдеш Сингх «обратил» меня в индуизм и вегетарианство, и что в Индии я посещала каждый день храм Шивы (древний фаллический культ) и выполняла религиозные ритуалы, вплоть до ежедневного купания в «священном Ганге».

«Литературная газета» в Москве писала, что я всю жизнь была «истеричкой и параноиком», а московский митрополит Пимен заявил, что ему «ничего неизвестно о крещении Аллилуевой, которая не христианка, а интересуется всеми религиями сразу». Интервью у владыки взял корреспондент лондонской газеты Виктор Луи, советский гражданин.

Затем Виктору Луи правительством СССР было разрешено проинтервьюировать моих детей, сфотографировать все комнаты в моей квартире, переставив предметы по своему вкусу, взять семейные фотографии, запертые в моем столе, взять экземпляр моей рукописи и вывезти все это для продажи лондонским газетам с его комментариями. (В СССР оставались еще экземпляры рукописи «20 писем» у моих друзей, и к этому времени ее прочли

многие в Москве).

Вскоре лондонская «Daily Express» начала печатать украденные из моего стола фотографии под заголовком «секретные альбомы Сталина», с комментариями Виктора Луи. В них были перепутаны имена, даты, факты. Виктор Луи сделал некую смесь из этих ничем не интересных фотографий, собственного текста и пересказа моей рукописи. Все это начал публиковать также журнал «Stern» в Гамбурге под видом «мемуаров Светланы». В Лондоне, Италии, Германии, Бельгии, Испании издание «20 писем», запланированное на конец октября, стояло под угрозой: Виктор Луи повсюду предлагал издателям свой вариант.

В Гамбурге он сказал журналистам, что получил фотографии и рукопись в Москве «от семьи Аллилуевой» – хотя о рукописи мои дети никогда ничего не знали и дома ее не было. Фотографии, запечатанные в моем столе, они могли отдать, конечно, лишь по распоряжению властей, «New York Times», «Washington Post» и «London Times» прямо называли Виктора Луи «давно известным агентом КГБ».

В середине июля на ферму приехал Алан Шварц. Его нельзя было узнать – до того он похудел и побледнел. Мы судились повсюду в Европе, защищая Copyright. Необходимо было немедленно издать хотя бы 200 экземпляров русского издания – тем самым права автора были бы подтверждены. Харпер и Роу теперь решил издавать «20 писем», раньше, чем планировалось – в начале октября. Возникло новое препятствие: Москва оказывала сильнейшее давление на посла США, на Госдепартамент, на всех влиятельных американцев, чтобы «отложить издание книги Аллилуевой, так как ее выход накануне 50-летия октябрьской революции повредит советско-американским отношениям». Но издатели отказались отложить срок.

По-видимому, Москва рассчитала, что пока издание книги будет отложено, весь мир уже узнает о ней из «варианта» Виктора Луи с фотографиями, и потеряет к ней всякий интерес. К тому же его «вариант» и комментарии развивали главные пункты московской пропаганды: «сумасшедшая с повышенной сексуальностью и ближайший помощник своего отца». Невинная история с Каплером была раздута до «страстного романа с оргиями». «Пахнувшие табаком поцелуи», которыми отец награждал меня в детстве, превратились в сенсационный заголовок: «Мой отец был хороший человек»...

Поскольку в рукописи, написанной 4 года назад, ничего не было о решении оставить СССР, то «объяснить» этот факт Москва взялась теперь другими средствами. Близкому к коммунистам итальянскому корреспонденту Энцо Биаджи было предложено

взять интервью у моих детей, племянницы и так называемых «друзей», которых специально подобрали. Конечно, ни к одному из моих действительных друзей в СССР не подпустили бы западных корреспондентов. «Друзья» повторяли только, – что «после смерти ее отца и после 20-го съезда она была очень несчастна, старые знакомые оставили ее, былая слава померкла. Поэтому единственный выход из мрачной жизни она нашла в бегстве за границу, а публикацией рукописи надеялась вернуть себе утраченное внимание общественности»... Энцо Биаджи не постеснялся взять интервью даже у Каплера и его теперешней жены. Моего сына упорно расспрашивали «сколько еще было мужей», и я только могу гордиться тем, с каким достоинством бедный мальчик выдержал все испытания, обрушившиеся на него.

Зато моя племянница Гуля, у которой тоже брали интервью, рассказывала небылицы о Сингхе, которого она никогда не видела.

Правда, Энцо Биаджи сохранил в своих статьях приличный тон. Виктор Луи просто врал не краснея: ссылался на интервью с моей теткой Анной Сергеевной, давно умершей; цитировал разговоры с моими бывшими мужьями – хотя из текста было ясно, что он даже не встретился с ними. Вместо Ростова он поместил Юрия Жданова в Одесский университет. Морозова сделал «специалистом по Германии», которой тот никогда не занимался... И, тем не менее, ему верили.

Я знала и чувствовала, что лжи, распространяемой по всем странам, будут верить больше, чему тому, что скажу или напишу я, потому что это – психологический закон общественного поведения. Имя моего отца слишком одиозно, а я живу под его тенью. Реакция общественности имеет свои «душевные движения», которые хорошо учитываются опытными и циничными журналистами.

Из Индии пришло встревоженное письмо от Суреша Сингха к моим адвокатам: он прочел в газетах, что у меня «тяжелое нервное потрясение» и что я нахожусь в больнице. Мне он не писал уже около месяца. Я написала ему, что вполне здорова. Позже выяснилось, что индийская коммунистка Хаджра Бегам, которая была очень любезна со мной в Москве и в Аллахабаде, теперь говорила всем, что я нахожусь в психиатрической лечебнице.

Я знала, что нельзя реагировать на ложь всем сердцем, что это разрушительно; знала, что с клеветой мне придется встречаться теперь всю жизнь. Мир свободной прессы как обоюдоострый меч: каждый пишет, что хочет. Потратить свою жизнь на опровержения всей неправды – не стоило.

Мои друзья говорили мне: «Не реагируйте. Забудьте. Привыкайте к этому, как к досадной неизбежности». Я знала, что они правы. Но переход от полнейшего молчания в СССР к миру свободного слова был так резок, что я чувствовала, как мои бедные кости трещат на этом повороте... К счастью, я не страдаю уязвленным самолюбием. И к великому счастью, каждый новый день, каждое свежее утро, цветы, деревья, милые люди вокруг и их тепло быстро возвращают мне сторицей силы, потраченные на чтение грязных статей.

Однажды, когда на ферме были только семнадцатилетний Кристофер Кеннан, младшие дети и девочка, наблюдавшая за ними, я позвала всех на веранду, где в небольшом гриллере на окне всегда жарили мясо; там были свежие угли. Я попросила Кристофера принести жидкость, чтобы лучше горело. Дети с любопытством смотрели. Я сказала: – «Кристофер! Вы все присутствуете при торжественном моменте. Я сжигаю свой советский паспорт, в ответ на ложь и клевету», – и бросила паспорт на угли. Кристофер широко раскрыл глаза. Паспорт ярко вспыхнул. Дети фермера смотрели через сетку окна, мы были окружены детьми со всех сторон – все наблюдали молча. Потом я вынесла вон горстку золы и дунула на нее. Она разлетелась по ветру. Джоан и Ларри уехали со своим Корпусом Мира. В середине августа из Европы вернулся Кеннан – похудевший и встревоженный. Его задержали. Ему писали, телеграфировали, требовали отложить издание «20 писем», он страдал за меня – я видела это. Он все это предвидел и предупредил еще весной.

Настало время уезжать с фермы в Нью-Йорк, где должна была состояться новая пресс-конференция. Надо было что-то отвечать на всю развернувшуюся кампанию. Свобода – бесценный дар. За нее приходится дорого платить.

Встречи и дела

Сравнительно тихое уединение в Пенсильвании окончилось.

Сентябрь и октябрь прошли в суматохе, в переездах на новые места, в новых знакомствах. Все это было бы очень интересно и приятно, если бы жизнь не отравляли два обстоятельства: необходимость не показываться на глаза корреспондентам на улицах города и в магазинах, и кампания против книги и ее автора, расходившаяся как круги по воде.

Для подтверждения «копирайт'а» в Лондоне спешно выпустили 200 экземпляров русского издания. Появились первые рецензии. Одни хвалили до абсурда, сравнивая стиль с Толстым, Тургеневым, Чеховым, Пастернаком вместе взятыми. Другие называли

всю книгу жалкой попыткой убедить читателя, что «мой отец был хорошим человеком»...

15-го августа в доме вице-президента Харпер и Роу, Эвана Томаса, на Лонг Айленде, собрались представители журналов и газет, которые приобрели право сериализации книги. Тут было около пятнадцати человек, – из Европы, США, из Азии, – они все хотели знать о рукописи, о книге, они были смущены московской пропагандой и теперь уже не представляли себе, что же они купили. Два часа я отвечала на их вопросы. Мы сидели на чудесной зеленой лужайке.

Если бы они знали, как интересно было мне видеть эти любопытные и доброжелательные лица со всего света! Но они об этом не догадывались, целиком поглощенные собственным любопытством... Как они разглядывали меня сначала! Не знаю кого они предполагали увидеть – россиянку в лаптях или черноволосую грузинку с усами и трубкой в зубах – как мой отец – но после этих двух часов они потеплели. Разговор был непринужденным и интересным. Если бы они догадывались, как мне было бы приятно говорить с ними еще много часов, спрашивать их, пойти с ними в ресторан, провести с любым из них долгую беседу! Если бы они понимали эту жажду видеть мир, которую испытываем мы, советские заточенные!

Мне бы хотелось, чтобы Джойс Эггинтон из Англии, Бертил Торскулл из Швеции, Сакари Мааттанен из Финляндии, Атсухико Кавабата из Японии, Гершон Якобсон из Израиля, Джордж Венизелос из Греции и Альберто да Кунна из Бразилии знали, как приятна была для меня встреча с ними.

Россия – парадокс для западного ума, и вся моя жизнь состояла из парадоксов, и пока это не понято ничто не уложится в голове. Все, что происходило и происходит в СССР, с трудом воспринимается и осознается на Западе. Когда-то, во время войны, Уолтер Липман сказал о России, что «это самая восточная страна Европы, и самая западная страна Азии». Может быть, я не точно воспроизвожу его слова, но я понимаю его мысль. Россия с ее демократизмом, запоздавшим на сто лет, с ее революцией, превратившейся в самую реакционную контрреволюцию 20-го века, Россия, в то же время, чудом сохранившая в своих недрах зародыш и фермент свободы, независимости и общечеловеческого братства – это ли не парадокс?

По задававшимся мне вопросам, по тому, как разглядывали меня собравшиеся в круг на полянке корреспонденты, я чувствовала, что они верят мне – и не верят. Тем не менее, большинство журналов и газет дали после этой встречи доброжелательные интервью, и во многом опровергли выдумки Виктора Луи и отда-

ли должное моим объяснениям.

Потом я уехала в Нэнтакет, на тот самый островок, который Алан Шварц показал мне с самолета, когда мы летели из Цюриха. Там мне предстояло провести две недели в обществе семьи Шварцев.

Нэнтакет это спокойные краски. Серое пасмурное небо, желтые дюны, лиловый вереск маршей и океан, меняющийся каждый день, каждый час. Переменчивый, капризный, то серый, то синий, то черный с белой пеной от злости. Никогда не надоест наблюдать этот трудный и сложный характер. Мы в России привыкли к переменчивым характерам. Может быть, поэтому все русские так любят море, хотя сама Россия сухопутная страна полей, лугов, лесов. Тяга к морю – для России психологична и исторична. Все сказки и легенды, все русские былины полны рассказов о море, о синем море. Поэзия Пушкина, Лермонтова, Пастернака, проза Толстого, Чехова, Горького говорит о том же: добратся до синего моря, почувствовать его простор, его свободу, его блеск под солнцем и насладиться им, раствориться в нем.

«Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой...

...

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и шум, и говор волн».

Пушкин, великий поэт и великий узник, разговаривал с морем. Пастернак, слушал его. Горький говорил: «Море смеялось».

Свободная стихия – вот что такое море, вот чем оно приковывало к себе сердца! Мы все такие. Мы жаждем свободы – потому что она еще не пришла в Россию – и выражаем нашу любовь к свободе через любовь к морю...

В Нэнтакете я встретила в этот август японскую художницу Наоко Матсубара, немецкого художника Фрица Эйхенберга, американку – книжного графика – Джоан Уолш Энглунд, редактора детской литературы Маргарет Мак-Элдерри, издателей Кэсс Кенфильд и Сторер Лант. Порой мне казалось, что я не в Нэнтакете, Массачузетс, а в Коктебеле, в Крыму – маленьком приморском поселке в СССР, где встречаются писатели, художники, поэты со всей страны и точно так же ползают по берегу на четвереньках,

собирая камешки и ракушки. Потом эти коллекции везут на север, в Москву и Ленинград, где разноцветная галька и отполированные морем стеклышки хранятся в коробочках, напоминая море, солнце. Эти камешки вставляют в кольца, браслеты, из них делают бусы, потому что сердолики и яшма из Коктебеля это символы свободной стихии...

Вот о чем я думала в Нэнтакете, под шум дождя, сидя возле камина со стаканом мартини в руках. Привезти бы сюда наших из Коктебеля, дать бы им побродить возле океана вместе со здешними, из Нэнтакета! Тысячу раз правы Роберт Лоуэлл и Андрей Вознесенский: правительства только мешают людям и поэтам понимать друг друга. «Все мы – поэты – американцы и русские – составляем единую нацию поэтов. Как хорошо было бы иметь свою столицу на колесах, поезд, в котором мы могли кочевать по свету, как цыгане!» – вырвалось у Вознесенского, когда он был в США весной 1967 года. Нэнтакет в США и Коктебель в Крыму и есть «цыганские столицы» поэтов.

В Нэнтакете я получила два письма с острова Тонга в Тихом океане от Джоан Кеннан. Она прислала фотографии: мальчики стоят возле коралловых рифов, главная улица в Нуку-Алофа похожа на деревню. Но Джоан и Ларри не унывали, работы было много, местные жители были доброжелательны и Корпус Мира мог им во многом помочь.

В сентябре я перекочевала из «цыганской столицы поэтов» снова на Лонг Айленд, в небольшой поселок Бридж-хэмптон, где был снят летний дом Элеоноры Фриде. Она была вдовой эстонца из России, писателя и издателя. На стене в гостиной висел портрет императора Николая II-го, который Элеонора хотела убрать из-за меня. Я сказала ей, что портрет мне совершенно не мешает и что я прошу ее ничего не менять в ее милом доме на дюнах.

Маленький одноэтажный коттедж, рядом с океаном, был полон даров моря, собиравшихся здесь годами: раковин, камней, обточенных кусков дерева, похожих на скульптуру своей неожиданной выразительностью.

Милая Элеонора, мы тоже собираем «дары» нашего Черного моря, мы обожаем и ценим подобные коллекции, – мы бы показали вам такие же, если бы вы могли приехать на черноморское побережье. Мы бы показали вам чудесный, пустынный берег Пицунды, похожий на ваш пляж, где можно гулять часами, собирая узловатые деревяшки.

На побережье Бриджхэмптона Элеонора показала мне виллу Трумэна Капотэ. Он давно известен в СССР, но я не охотник за знаменитостями и, да простит меня Трумэн Капотэ, не мечтала встретить его на пляже.

Атлантический океан был голубым и ласковым первые дни. Потом он почернел, покрылся белыми «барашками» и стал рычать все ночи напролет. Дул сильный ветер, мы закрыли все окна, океан сердился, наверное, на нашу мелочность и мелководные чувства...

Первые несколько дней в доме Элеоноры были наслаждением и отдыхом. А потом – последовал жестокий удар: 10-го сентября началась сериализация «20 писем» в газетах и журналах, и развернув первый же номер «New York Times» я чуть не упала в обморок: на страницах газеты были мои домашние фотографии, – те самые, которые были «взяты» из моего письменного стола в Москве этим летом, вывезены на Запад Виктором Луи и проданы там. Почему они попали сюда и соединились с «дайджест», вместо отрывка из книги, вместо одной или двух глав целиком, на что я согласилась в мае?!

Поздно было задавать вопросы. Можно было лишь успеть попросить «New York Times» со следующего номера дать строку после заголовков: «Фотографии не были предоставлены или одобрены автором».

Заголовки были убийственными: «В следующем номере: моя первая любовь». «В следующем номере: как моя мать убила себя». «Берия командовал моим отцом». В моей книге нигде подобных заголовков не было, значит нужно было бы дать их не от моего лица. Текст к фотографиям был тот самый, с ошибками и неточностями, который я уже видела в лондонской «Daily Express». Все эти фотографии не имели прямого отношения к книге и мне самой никогда не пришлось бы в голову иллюстрировать ее ими. Я ни в чем не участвовала – как мертвый классик, как Бальзак...

Бесполезно было посылать опровержения в «New York Times» и в «Life». Там некоторые фотографии из неведомых мне источников были фальшивками: толстая стриженная дама с тощим, как цыпленок, ребенком, были не моя мама и не я. Фотография моей подруги с ее детьми – фигурировала, как моя. В семейной группе наша воспитательница была названа моей мамой. Мое опровержение напечатали в разделе «писем читателей», – но сколько человек прочтет этот текст петитом?

Утешением от удара было то, что через несколько дней я держала в руках первые экземпляры «20 писем к другу», изданные Харпер энд Роу по-русски, и в английском переводе. Я провела неделю в гостях у Кэсс и Джейн Кенфильд, в Бэдфорд Виллэджд, недалеко от Нью-Йорка. Здесь мне и дали в руки мою книгу. Немецкий перевод, изданный Фрицем Молден в Вене, тоже был у меня на столе. Видеть книгу изданной доставляло мне бесконечное удовлетворение. Всего лишь полгода назад я была в Индии.

Издание книги было неосуществимой мечтой, фантазией... И вот я держу ее в руках. Ведь это – чудо!

Вскоре я уехала в Нью-Йорк, потому что 2-го октября, в день официального выхода книги, было назначено интервью по телевидению. Я полагала, что будет разговор о книге, что я смогу объяснить мою непричастность к сериализации и опубликованию «краденых» фотографий. Я надеялась, что интервью даст мне возможность ответить на недоразумения, возникшие в критике от того, что ожидали исторических мемуаров, а книга была камерной историей семьи.

Но мне задавали вопросы не имевшие отношения к книге. Интервью было для меня пыткой. Усаженная неподвижно в кресло под слепящими лампами, с микрофоном на шее, с обильной «мейк-ап», положенной на лицо для передачи в красках, не видя часов и не соображая, сколько времени я могу потратить на каждый вопрос и сколько их еще будет, я была сама не своя. У толстого Поля Нивена пот катился градом со лба и по лицу – он тоже волновался и его волнение передавалось мне.

После телевизионного интервью хлынул новый поток писем. Для меня это был снова волнующий контакт с американцами, с русскими, живущими здесь давно, и с теми, кто покинул СССР после 2-ой мировой войны. Большинство писем было выражением симпатии, удивительного понимания того, что я хотела сказать в книге. Многие уже купили и прочли ее. Читатели непредубежденные восприняли книгу так, как она была написана: как семейную хронику без претензий на исторические обобщения. И прочтя ее, именно с этой позиции, они поняли, почему я никогда не вернусь в коммунистический мир. Они желали мне счастья здесь, в этой стране, о которой писали тепло и с восхищением, желая, чтобы я поняла ее, не пугалась внешних неприятных моментов, чтобы я почувствовала эту страну – своим домом.

До конца октября я оставалась в Нью-Йорке, живя гостьей в Бруклине, в старом уютном доме адвоката Мориса Гринбаума и его милой жены. Дом стоял на холме Хайленд бульвара, вокруг росли деревья, а вид на залив и на далекий аэропорт Кеннеди был чудесным. Это было немного похоже на Воробьевы горы над Москвой, откуда открывается панорама всего города. А высокие молодые тополя перед окнами кухни и веранды так были похожи на тополя во дворе нашего дома в Москве... Когда мы выходили вечером гулять, я вдруг останавливалась и говорила: – «Что мне напоминает этот вид?». Надо мной смеялись: – «Мы знаем, что вы сейчас скажете!» Что делать, мне действительно слишком многое в этой стране напоминало оставленное в России. Я не знаю, было ли это моим субъективным стремлением искать сходство, а не

разницу, или в самом деле было слишком много параллелей. Во всяком случае, когда мы садились утром за столик в кухне пить кофе, а за окнами трепетали на ветру тополя, мне ничего не оставалось, как улыбаться. Сходство было приятным. Ностальгии не было. Наоборот, становилось веселее и теплее на душе.

Дело не в тополях, конечно. Мне пришлось «входить» в американскую жизнь «через семейный стол в кухне» – уже не в первом доме я садилась за такой столик, – и атмосфера домашней непринужденности, доверия и простоты неизменно сопутствовала мне. Я была счастлива, что не жила в гостиницах первые свои полгода в США: тогда я чувствовала бы себя туристом. Так же я была, каждый раз, дома.

В небольшом доме в Бруклине мне отвели комнату племянницы хозяев, 22-летней студентки. У Дебби было такое выражение открытого, пухлого лица, с ямочками на щеках, с мягкими карими глазами, как у моей Кати: выражение доброго, веселого ребенка, готового каждую минуту приласкаться. Но несмотря на детскую внешность, у Дебби было взрослое сердце, и с ней можно было говорить о чем угодно. Она все понимала. Мы говорили о ее будущей работе на телевидении или в кино, я рассказывала ей о моих детях. Она занималась искусством, литературой, год провела в Греции и была в восхищении от этой страны. Дебби заводила мне свои любимые греческие пластинки, мы ходили в магазины за покупками. Она подстригала мне волосы, как это делала Джоан Кеннан летом на ферме, и так же, как Джоан, во всем опекала меня.

Я видела ее друзей – двух студентов, грека и ирландца, объехавших этим-летом Канаду и США с туристским билетом. Здесь же была молодая девушка из Израиля, пианистка, приехавшая в Нью-Йорк пройти курс у известного педагога. Это был приятный вечер, когда за столом собралась молодежь. Почти все они были в возрасте моего сына и дочери, потому мне было так легко и интересно с ними. Сколько стран они уже повидали! А моему сыну не удалось получить разрешение даже на туристскую поездку в Югославию.

Я смотрела на эти молодые лица и думала, что государственные границы выдуманы тупоумными людьми. Это было новое поколение, для которого границы не имеют значения. Они все одинаковы – и эти, и мои знакомые индийские студенты, – их всех можно соединить вместе – и они поймут друг друга без слов... Они все смотрят на мир широко открытыми глазами.

Предрассудки и традиции их не интересуют. Они относились ко мне просто, не говорили никаких многозначительных слов, не выражали особого любопытства. Это было чудесно! Я не слышала

из этих юных уст ни одной графаретной фразы о моем прошлом, о моем отце, о том – что меня ждет на Западе. Они относились ко мне дружелюбно, просто, естественно – как отнеслись бы ко всякому другому человеку. Это и делало их общество для меня таким приятным.

В Нэнтакете я видела подростков помоложе – от 12-ти до 16-ти лет. В них была чистота и свежесть, и эта восхитительная яркость юного суждения о серьезных вещах. Яркость и правда. Девочка Кэти обладала золотыми руками и хорошим вкусом. Она хорошо вышивала и гравировала рисунки на кости. Кроме того – она была очаровательна. Ее брат Николас катал меня на моторной лодке поздно ночью – ему хотелось показать мне залив, спящие лодки с одинокими фонарями бакенов, тихое масло черной воды, в которой отражались звезды. Спасибо, Николас, эту ночную поездку по спящей гавани я не забуду. Если бы ты знал, какую радость ты доставил мне, чьи дети далеко за океаном, за тридцать земель, за семью замками. Ни Кэти, ни Николас, ни дети Джоан Энглунд не подозревали, как я была счастлива возле них. Я видела моих Катю, Осю, Леночку и всех их сверстников. Какая разница, что язык другой? Те же длинные челки, падающие на глаза. Та же нетерпимость к графаре, к установлениям. Та же жажда свободы. Та же талантливость, то же непобедимое интуитивное чувство правды: – «Вы, взрослые, не обманывайте нас: ведь мы все понимаем!»

Я думала о том, что если бы мои дети оказались – каким-то чудом завтра здесь – в Нэнтакете, в Бруклине, в Нью-Йорке, то им достаточно было бы пяти минут, чтобы почувствовать себя тут в своей стихии – как рыбе, пущенной в свободный океан...

У меня были и другие встречи за это время.

Я говорила по телефону с Александром Федоровичем Керенским. Он был болен, говорил, что прочел «20 писем», что смотрел мое телеинтервью, и со многим согласен. Разговор был недолгим, но теплым и хорошим. Мне было странно, что этот человек с трагической судьбой политического неудачника и душевно честный, нашел что-то интересное для себя во мне и в моей книге... Мы оба хотели бы встретиться и поговорить, но сейчас это было невозможно из-за его болезни. Я думала о печальной судьбе Керенского, сохранившего жизнелюбие, оптимизм и поразительное достоинство человека, – который мог бы быть премьером новой демократической России. Временное Правительство лучше, чем большевики, понимало исторические задачи и судьбы огромной, безалаберной крестьянской страны. Оно знало, что ей нужно. Пролетарская революция Ленина совершилась здесь преждевременно. Преждевременно, исторически необоснованно, неправо-

мерно. Отсюда – и все печальные последствия. Октябрь 1917 года был роковой ошибкой. Через 50 лет невозможно этого не признать.

18-го октября я встретила с Александрой Львовной Толстой. Она была очень мила и приветлива. Но вряд ли она понимала, как волновалась я, пока доехала к ней в Вэлли Коттедж, штат Нью-Йорк. Для меня это была встреча с целой эпохой. Я была несколько раз в доме Льва Толстого в Ясной Поляне и, казалось, хорошо знала жизнь, взгляды и творчество этого гигантского человека, чьи романы до сих пор являются для меня непревзойденным образцом русского языка, простоты стиля и образа мышления. Лев Толстой – это значит для меня слишком много. Я так волновалась, отправляясь на свидание с его живой дочерью, что даже никак не могу вспомнить сейчас, о чем мы с ней говорили... Был обед с русским борщом, гречневой кашей, настоящим ржаным хлебом, водочкой и селедочкой. Александра Львовна много помогает тем, кто не захотел вернуться в СССР. И священник в церкви на ее ферме – бывший советский ученый, химик... Но самое главное и важное состоит в том, что Александра Толстая жива, здравствует, живет в Америке, является гражданкой Соединенных Штатов, привыкла к этой стране и полюбила ее, как сотни других иммигрантов. Она многое делает своими лекциями и книгами о Толстом и о России. Сколько ее не пытались зазывать обратно в СССР – она не желает даже принимать парламентариев. Это – великолепно!

Кого только не встретишь в Америке! Грузины и украинцы, немцы и итальянцы, армяне и ирландцы, сербы и поляки. Все здесь – дома. Александр Федорович Керенский обожает Нью-Йорк, любит гулять по улицам. Александра Толстая живет на ферме в своеобразной колонии, вроде Ясной Поляны. Устраивайся, как кто хочет. Об этом писали мне многие незнакомцы, рассказывали о своей судьбе, желали и мне почувствовать себя здесь как дома. «Американский образ жизни» это и есть полная свобода для каждого пришельца устраиваться по своему вкусу. А в результате получился такой сплав из культур и национальностей, какого не найдешь больше нигде – кроме разве в России.

Все это сначала оглушает и доводит до полубомрачного состояния. Нью-Йорк – неподражаемый, единственный, неповторимый в мире город. Он сначала подавляет и пугает. Потом начинаешь потихоньку присматриваться и разбираться в нем. До чего пестрая толпа! Как криливо одеты женщины всех цветов кожи. Но надо вспомнить откуда они все здесь, из скольких стран земли приехали сюда когда-то их предки или они сами, и тогда сразу становится интересно представить себе жизнь каждого прохоже-

го.

Манхэттен сначала подавлял меня. Узкие улочки Гринвич Виллэдж – квартала, где бродят длинноволосые «хиппи» – грязны и мрачны до невозможности. Мы ходили с Дебби в маленькие кафе. Там грязно, безвкусно и неудобно. Воздуха нет, не знаю, как они все дышат здесь. Правда, все курят что-нибудь, заменяя кислород наркотиками, уже достигшими смертельных доз и эффектов. Мне больше нравился старомодный Бруклин, где бульвары и парки все еще напоминают европейские города, а люди выглядят нормальными и здоровыми, как впрочем, и большинство в Америке. «Хиппи» – это пена, мусор на улицах больших городов. Это не лицо страны.

Лицо Америки увидишь в небольших городах или на фермах, оно пышет здоровьем. Все эти полные, к моему удивлению, ширококостные женщины, шутя проводящие 5-6 часов за рулем, старики, играющие в теннис, румяные дети и подростки, уплетающие за обе щеки, эти веселые любознательные студенты и студентки, все они – совсем не охотники за наркотиками. Они умыты, опрятны, ни бород, ни длинных, грязных локонов, ни босых черных пяток. Это совсем не обязательно для того, чтобы мыслить и сомневаться в правоте своего правительства. От всех американцев, которых я успела встретить за эти полгода, я наслышалась достаточно критики их собственной страны, их собственной политики. Они порой так беспощадны, что забывают о своих же достоинствах.

Как любимые, избалованные дети, которых родители закармливали шоколадом и задарили надоевшими подарками, они ругают этих, «ничего не понимающих», родителей, свой дом, семью, стены, где выросли, забывая одно: так, как живут они в этом доме, не живет никто в мире... Они даже пытаются говорить, что «социализм – это хорошо!» и что «Америка своим путем постепенно сближается с социализмом».

К великому счастью для них, это заблуждение. И если бы они лишь год попробовали пожить в том самом социализме, который так нравится им, когда они успевают его «посмотреть» за две недели туристской поездки по СССР, то они навсегда перестали бы звать свою страну к «сближению с социализмом». И может быть только тогда поняли бы, почему люди бросают страну, детей, друзей – как я, чтобы бежать от этого социализма. А до тех пор, к сожалению, они не перестанут спрашивать меня: – «Скажите, ну а почему вы все-таки оставили СССР? И неужели ваши дети не могут приехать к вам в гости?»

Ничего, ничего, что вы так наивны. Это оттого, что родившись и прожив всю жизнь в этой богатой, щедрой и гостеприимной

стране, вы и не можете думать иначе. Я так рада быть здесь с вами. Я устала от мрачных, подозревающих, запуганных, шепчущих, что-то таящих и прячущих, никому не верящих, – даже самим себе... Как я устала от недоверчивой злобности, от пессимизма, от обмана и самообмана, от вынужденного двуличия, которое становится второй натурой людей в коммунистическом мире. Да, я безусловно предпочитаю румяную голубоглазую наивность Америки преждевременной физической и духовной старости «простого советского человека», умудренного ложью с пеленок, уже школьником знающего, что нельзя говорить вслух все, что думаешь... Но только не пытайтесь убедить нас, оставивших Россию, что эта самая Россия достигла великого прогресса за последние 50 лет. Насчет «прогресса» уж позвольте нам знать лучше.

Об этом «прогрессе» писали каждый день все больше и больше, потому что это была «юбилейная осень» русской революции. Это было смешно и грустно. Хотелось уехать из Нью-Йорка куда-нибудь в тихое место, где радио и телевидение больше занято местной тематикой. И я с радостью приняла приглашение в маленький город Новой Англии – Бристоль, штат Род Айленд. Мне предстояло быть гостьей еще в одном американском доме, у дамы, служившей более двадцати лет в армии, теперь полковника в отставке. Она жила одна, у нее большой дом, в котором она предоставит мне второй этаж. Никого, кроме нас двоих, ее собаки и двух любимых кошек.

Как хорошо! Бристоль стоит на берегу залива, недалеко – океан, Ньюпорт, красивейшее место для прогулок. Я буду продолжать мое открытие Америки. Дайте мне это делать так, как я хочу, могу, умею. Не просите и не ждите от меня историко-политических статей и формулировок. Дайте мне в этой стране остаться самой собою – это единственное, что я прошу у Свободы. Я хочу лишь утвердить за собою в вашей свободной стране то, чего я достигла с таким трудом и с такими жертвами – право быть свободным индивидуумом.

Бумеранг

В течение октября прошли почти все основные рецензии на «20 писем к другу», вышедших в США и в Европе.

От необычного перебежчика накануне 50-летия Октября ждали сверхъестественных «разоблачений тайн Кремля». Семейная хроника просто не могла удовлетворить в такой момент. В результате всего этого автора квалифицировали «преданной дочерью, защищающей своего отца», «свалившей все исторические преступления на злодея Берия». Меня называли «неловким адвокатом

дьявола», «слепой кремлевской принцессой», ничего не видевшей из-за стен Кремля, не ведавшей истории своей страны и страданий народа.

Правда, так говорили далеко не все. Моими лучшими читателями оказались женщины. Для них семья и человеческие взаимоотношения раскрывали историю и эпоху, и говорили многое. Как счастлива была я читать в письмах, что самое большое впечатление производила судьба мамы, судьба ее сестры Анны...

Но более всего странным и важным оказалось другое.

Когда я писала «20 писем» я хотела освободить память от прошлого, освободить самое себя от воспоминаний детства. Все это вылилось в лирическом потоке, который я сама не могла ни остановить, ни переделывать позже. Я написала – и забыла. Мне казалось, что я положила «в ящик» собственное прошлое, к которому мне больше не хотелось прикасаться. Хотелось жить настоящим, думать о будущем и не возиться с воспоминаниями.

И вот теперь, вдруг, как брошенный когда-то бумеранг, прошлое неслось обратно. Из всех стран мира летели обратно в меня мои собственные слова. Сказанные тихо и интимно в «письмах к другу», они теперь кричали громко, резко. У них появился совсем другой тон, когда их повторяли другие – в газетах, журналах, в цитатах ревью. Вырванные из общего контекста «писем» слова и строки звучали иначе – хотя это были мои собственные слова. Я не собиралась отречься от них. Написанные четыре года назад к другу, который понимает и читает между строк, эти слова брошенные в открытый, бурный, жадный мир, часто не понимавший и не желавший понять, летели назад, в другом звучании, в искаженном значении...

«Возвратившийся бумеранг» ударял каждый день, причиняя острую боль. Я думала и думала о своей книге снова. Бумеранг заставил думать об огромном, свободном мире, читающем книгу, обо всем, что было давно и что так хотелось забыть.

Оказывается, от прошлого не так легко освободиться: оно бежит за тобой, настигает сзади, как тень от тучи, летящей по небу.

В эту осень, когда все газеты писали о России, о революции, которой «исполнилось» 50 лет, о коммунизме, о Ленине и Сталине, мне пришлось невольно возвращаться мыслями к своему отцу. Как мне хотелось бы этого избежать!

* * *

В «20-ти письмах» мне хотелось рассказать, прежде всего, о нашей необычной и многострадальной семье, о всех, из кого она состояла, о взаимоотношениях, развивавшихся столь трагически. Мой отец не являлся для меня, автора, главным героем повество-

вания. Но он был центром, вокруг которого был очерчен некий «черный круг», в пределах которого все погибало и разрушалось, он был стержнем, вокруг которого кружилась жизнь. А для моего рассказа о семье главным героем была мама, светлое, созидательное начало, обреченное на гибель и погибшее, потому что жить внутри «черного круга» ей было невозможно... И с ее смертью семья распалась, все светлое разрушилось и уничтожилось и постепенно воцарился полный мрак. Отец был, по-прежнему, его центром; изгнав и погубив даже родных и близких, он теперь остался в этой мрачной пустоте совершенно один.

Я писала об отце, каким видела его в семье, дома. Дети, прислуга, родственники видели и знали его человеческие качества и слабости, его внутреннюю противоречивость, и одновременно с этим, ограниченную прямолинейность, негибкость. Эти свойства его натуры были основой, на которой развилась и выросла его политическая – и человеческая – биография. Для тех же, кто смотрел на него извне, была очевидной лишь внешняя, историческая биография, чудовищное нагромождение порой необъяснимых фактов, приводивших многих к выводу: этот человек был психически ненормален, это «доказывают» страшные результаты его власти.

Объяснить все так – сумасшествием – легче и проще всего, но это не правда и не объяснение.

Сколько я ни думала о своем отце еще в СССР, особенно после его смерти, сколько ни пришлось мне раздумывать о нем снова и снова вне России, читая многое раньше неизвестное мне самой, часто правдоподобное, иногда абсурдное, – мне становилось ясным только одно: начинать объяснение надо с врожденных, физических и психологических основ, с которыми позже соединилась сознательная устремленность в данных обстоятельствах. И все равно, я никогда не возьмусь «объяснить» мотивы всех поступков моего отца, потому что я не обладаю психологическим гением Достоевского, умевшего «вселяться» в чужую душу и «разглядывать ее изнутри».

Честно говоря, нет у меня и большого желания «рассматривать изнутри» эту мрачную душу; не тянет меня туда.

Но я вижу огромный интерес в свободном мире к личности Сталина, и понимаю, что «20 писем» полностью удовлетворить этого интереса не могли. Его портрет обрисован там неполно. Поэтому теперь, даже с риском некоторого повторения, я хочу полнее коснуться его натуры и его необычного жизненного опыта. Может быть это сможет помочь прозреть тем, кто все еще ослеплен псевдо-величием мнимых «достижений». С другой стороны, возможно, что мне удастся доказать неправдоподобие не-

которых утверждений, основанных на незнании.

Здоровье у отца было, в общем, очень крепким. В 73 года сильный склероз и повышенное кровяное давление вызвали удар, но сердце, легкие, печень были в отличном состоянии. Он говорил, что в молодости у него был туберкулез, плохое пищеварение, что он рано потерял зубы, часто болела рука, покалеченная в детстве. Но в общем он был здоров. Сибирские сухие морозы оказались нетрудными для южанина, и во вторую половину жизни его здоровье только окрепло. Неврастеником его никак нельзя было назвать; скорее ему был свойственен сильный самоконтроль.

Он не был ни горяч, ни открыт, ни эмоционален, ни сентиментален – что так характерно для типично грузинского темперамента. Грузины порывисты, добры, быстро доходят до слез – от умиления, от радости, от восторга перед красотой. Эстетическое чувство, музыка, поэзия, пластика играют огромную роль в их жизни. Они сходят с ума перед красивой женщиной и им доставляет удовольствие рыцарствовать перед дамой. Преданность по отношению к семье, к друзьям, к родственникам друзей имеет для них первостепенное значение. Они нежны с детьми, особенно любят сыновей, уважают старость, уважают смерть. Нигде так пышно не справляются поминки, как в Грузии: угощают всю улицу, чтобы добром поминали покойника, а потом каждый год опять пьют вино возле могилы. Гостеприимство и доверие к незнакомцу в Грузии не знают себе равных: дом открыт, сердце открыто, заходи, будешь другом...

Душевная открытость и доверчивость грузин раздражали отца. «Дураки! Грузины – дураки!» – говорил он в сердцах, когда во время его поездки в Грузию в 1952 году его встречали целыми деревнями на дорогах. Он не мог заставить себя поговорить по душам с этими искренними крестьянами, – может быть, он уже всего боялся. Он не принимал их угощений, их приветствий, и, развернув машину, уезжал от них прочь.

Типичными стопроцентными грузинами были Г. Орджоникидзе, А. Енукидзе, А. Сванидзе – в них были все перечисленные выше качества. Но не мой отец. В нем все было наоборот, и с годами только укреплялась холодная расчетливость, скрытность, трезвый, цинический реализм.

Иногда он рассказывал мне о своем детстве. Драки, грубость нередкое явление в бедной, полуграмотной семье, где глава семьи пьет. Мать была мальчишка, ее бил муж. Но мальчик любил мать и защищая ее, однажды бросил нож в своего отца. Тот с криками погнался за ним, и его спрятали соседи. Родители были оба из крестьян, пределом достижимого для отца было работать сапожником на фабрике. У матери было больше фантазии и амбиции –

она хотела сделать единственного сына священником и таким образом подняться с того дна, каким была ее жизнь. Она была истинно и глубоко религиозна, и рано овдовев, работала не покладая рук, чтобы дать сыну образование.

Сын был обыкновенным деревенским мальчишкой, дрался, пакостил: однажды бросил кирпич сверху через дымоход в очаг, напугал и обжег людей. В школе больше всего любил арифметику, потом математику. Немного рисовал. Греческий помнил и в старости.

Должно быть амбиция, стремление достигнуть чего-то, стать хоть в чем-нибудь выше других, досталась сыну от матери. Может быть, именно поэтому он и был в числе сильных учеников в церковной горийской школе. В Тифлисской семинарии он уже не был в числе лучших и бросил ее, не окончив. Церковное образование было единственным систематическим образованием, полученным моим отцом.

Я убеждена, что церковная школа, где он провел в общем более десяти лет имела огромное значение для характера отца на всю его жизнь, усилив и укрепив врожденные качества.

Религиозного чувства у него никогда не было. Бесконечные молитвы, насильственное духовное обучение могло вызвать у молодого человека, ни на минуту не верившего в дух, в Бога, только обратный результат: крайний скептицизм ко всему «небесному», «возвышенному». Результатом стал, наоборот, крайний материализм, цинический реализм «земного», «трезвого», практического и «сниженного» взгляда на жизнь. Вместо «духовного опыта» он развил в себе совсем другой: близкое знакомство с лицемерием, ханжеством, двуличием, такими характерными для немалой части духовенства, которая верует лишь внешне, то есть, на самом деле не верует вообще... И так как юноша не обладал чистотой души и искренней религиозностью своей неграмотной матери, то он в 19 лет оказался хорошо подготовленным совсем для иного «служения», чем она желала.

Он вошел в революционное движение Закавказья с этой «моральной подготовкой», не идеалистом-мечтателем о Прекрасном будущем – как мамыны родители Аллилуевы, не восторженным писателем – как Горький, в романтических гиперболах воспевавшего грядущую революцию и свободу, и не европейски образованным теоретиком, как Плеханов, Ленин, Троцкий, Бухарин. Возвышенные Идеалы с большой буквы не производили большого впечатления на трезвого юношу с практическим взглядом на жизнь. Он выбрал путь революционера потому, что его жег холодный огонь протеста против общества, в котором он сам находился на дне и должен был бы оставаться там всегда. Он хотел

большого – и другого пути, кроме революции, не оставалось.

Он верил не в идеалы, а только в реальную политическую борьбу, которую ведут люди. К людям же он относился без всякой романтизации: люди бывают сильные, которые нужны; равные, которые мешают, и слабые – которые никому не нужны. Из своего семинарского опыта он заключил, что люди нетерпимы, грубы, обманывают свою «паству» и тем держат ее в руках, интригуют, лгут и, наконец, имеют многие слабости и очень мало добродетелей.

Кроме этой основной жизненной философии, у него было уязвленное самолюбие бедняка, способное своротить горы на своем пути, и огромное терпение бедняка, знавшего с детства, что ради хорошего праздника надо много работать. Твердое убеждение, что для достижения цели хороши любые средства, обещало больше реальных результатов, чем поэтические идеалы. И начав рядовым организатором, почти никому неизвестным в дни октябрьского переворота 1917 года, он достиг к своему шестидесятилетию всего, чего хотел когда-то бедный грузинский юноша: он один правил Россией, его знал весь мир.

Правда, мать, дожившая до его славы, сказала ему перед смертью: – «А жаль, что ты не стал священником!» Ее мечта не осуществилась. Быть может, неграмотная старуха чувствовала, что сыну помогал всю жизнь не Бог, а кто-то совсем другой... Сама она осталась тем, чем была: честной, бедной, религиозной.

Отец тоже остался внутренне таким же, каким вышел из дверей семинарии. Ничто не прибавилось к его характеру, только развились до предела те же качества. С тех самых ранних дней доминантой всей его жизни стала политика – ее изменчивая, жестокая, коварная игра. Политика отодвинула в нем все другие человеческие интересы на задний план – и так было всю жизнь. Соперники и противники были уничтожены. Страна и партия признали его единоличную власть. Все замолкло и, казалось, покорилось. Ему курили фимиам и за пределами СССР. Он бы должен был быть счастлив, жить и наслаждаться полной жизнью, любить всех и все вокруг... Но этого он не мог. Он не радовался своей жатве. Он был душевно опустошен, забыл все человеческие привязанности, его мучил страх, превратившийся в последние годы в настоящую манию преследования – крепкие нервы в конце концов расшатались. Мания не была больной фантазией: он знал, что его ненавидят и знал почему. И, наконец, отрезанный своей властью, славой и полупарализованным сознанием от жизни и людей, он послал им, умирая, последнее что мог: взгляд полный страха и злобы и жест руки, выражавший угрозу.

Я была ребенком, а отец жил свой шестой десяток. Когда я стала достаточно взрослой, он вошел в свое последнее, седьмое десятилетие. То, что я могла наблюдать, было уже завершением этой долгой жизни. Из тех, кто хорошо знал и по-настоящему понимал его, к этому времени почти никого не осталось. А когда он умер, вернулись домой мои тетки, и их «послетюремные рассказы» о прошлом многое мне объяснили. Теперь никто не боялся говорить. Со всех сторон я слышала истории, одна другой ужаснее и неправдоподобнее.

Я приведу лишь один пример того, как слагается миф. Мой брат Василий, как я уже писала, умер в 1962 году от алкоголизма, но многие простые люди, по-своему представлявшие себе жизнь нашей семьи, не хотели этому верить. Они настаивали на своей версии: Василий уехал в Китай и командует там китайской авиацией. Моим словам не верили. Даже его детям, бывшим на его похоронах, говорили: – «Бросьте, мы все знаем. В гробу лежал кто-нибудь другой. Мы понимаем, что вы не можете сказать правду».

В отношении моего отца – то же самое. Версия о том, что он убил мою маму кажется многим более правдоподобной, чем правда о ее самоубийстве, – и они продолжают не верить правде. Он привел маму к самоубийству, довел до него всем тем, чем он был. В какой-то момент она не выдержала. Если бы она вынесла момент крайнего напряжения, то может быть, нашла бы в себе силы уйти от него, как она собиралась не раз. Доведа ее до этого, он, конечно, являлся ее косвенным убийцей. Он всегда убивал «косвенно», и тогда, когда отправлял на смерть миллионы людей через посредство исполнителей. А он только отворачивался от них и забывал, и уже не думал о том, как они гибнут.

Многим кажется более правдоподобным представить себе его грубым физическим монстром; а он был монстром нравственным, духовным. Второе страшнее. Но это и есть правда.

Мне приходилось слышать еще в СССР всевозможные истории о том, что «в состоянии аффекта» отец «убивал сам». Так, у меня упорно искали подтверждения одного неправдоподобного рассказа: однажды Сталин вышел гулять на своей даче, зимой, и увидел на снегу чьи-то следы. Он подозвал охранника и спросил его – чьи следы. Охранник не знал, он увидел следы впервые. Тогда Сталин вынул пистолет и уложил охранника на месте, заметив при этом, что тот «плохо его охраняет». И сколько я не пыталась доказать, что такой вариант не соответствовал характеру отца, мне не верили, и старались меня же переубедить.

Отец, безусловно, мог вспылить, взорваться, сказать грубость. Мне он дал две пощечины, выведенный из терпения. Василия ударил однажды, когда тот был еще мальчишкой. Такой короткой

вспышки было ему достаточно, чтобы прийти в себя и успокоиться. Василий был куда более безрассуден: он избивал всех своих жен, как это делают мужики в деревне. Он мог ударить своего адъютанта, шофера, подчиненного, даже милиционера на улице – ему все сходило тогда с рук. Позже все предстало в качестве улики против него. Личная же грубость отца ограничивалась, в основном, его языком.

Я видела, как взорвавшись однажды, он схватил обеими руками телефон и швырнул его об стену: телефон был долго занят, а он торопился говорить. Моя няня рассказывала, как отец однажды выбросил в форточку нашей квартиры в Кремле вареную курицу: это было еще в годы карточек, когда в стране был голод – 1929-й или 1930-й год. (Это была та самая маленькая квартира в Кремле, где у отца брал интервью Анри Барбюс, и описал ее). Мама ничего не имела к обеду кроме курицы, а ему надоело это «меню». Няня всю жизнь не могла прийти в себя от того, что «такой продукт был выброшен». Это было самодурство, причуда, но не «аффект». Для аффектов, для страстей Отелло отец был слишком холодным человеком.

Область чисто человеческих чувств и взаимоотношений была для него всегда крайне ограничена. Он целиком принадлежал политическим эмоциям и интересам, они пронизывали его натуру насквозь, оставляя слишком мало места для всего остального, чем живет человек.

Все теплое, любящее, что он мог знать и помнить с детства, персонифицировалось для него в его матери, которую он по-своему любил и уважал всю жизнь. Но он был так далек от нее, духовно и физически; он не умел и не знал, как сделать эти чувства реальными для нее, и они попросту не доходили до нее, теряясь в далеких расстояниях. Когда-то она на своих плечах вывела его на дорогу, дав все возможное в тех условиях, собирая гроши на его обучение. Она стирала для других – иных навыков и знаний у нее не было. Я не думаю, чтобы когда-нибудь позже он в какой-то степени воздал должное ее усилиям и заботам о нем. Моя мама пыталась уговорить ее жить с нами в Москве – старуха отказалась. Она никуда не выезжала из Грузии и не видела городов, кроме Тифлиса. В последние годы ее жизни правительство Грузии позаботилось о том, чтобы она переехала в Тифлис, и обеспечило для нее скромный минимум. Ее поселили в бывшем дворце губернатора, она заняла там маленькую темную комнату, наверное бывшую гардеробную, и спала на простой железной койке. Там ее посещали иностранные корреспонденты. Художник И. Бродский сделал ее прекрасный портрет карандашом. Одна молодая грузинка, театровед, сказала мне: – «Когда я была школьницей, я

часто забегала к ней просто поболтать. Эта старая женщина умела говорить с любым собеседником. У нее было огромное достоинство и природный ум. С ней было интересно...»

Иногда она посылала в Москву сыну ореховое варенье, которое готовила сама. Однажды прислала ему, сделанное своими руками, одеяло из кавказской легкой шерсти. Чем мог он ответить ей? Он не знал – как, и не умел.

Все, к кому он был когда-либо сердечно привязан и испытывал теплые чувства, были связаны в его сознании с матерью. Первая его жена носила ее имя – Екатерина. Тихая красивая женщина нравилась матери, и по ее настоянию брак был церковным. Впрочем, этот брак устраивал не только мать, – невеста была сестрой грузинского большевика Александра Сванидзе, а свадьбы и семейные торжества всегда использовались для встреч подпольщиков. Отец вскоре уехал, потом попал в ссылку, и молодая женщина быстро умерла, оставив мальчика Яшу, которому переданся ее спокойный нрав. Мальчика вырастили и воспитали его тетки. Отец совершенно забыл о нем, был раздражен его приездом в Москву, и тогда заботы о нем взяла на себя моя мама и все Аллилуевы.

Наверное, брак с моей мамой тоже был решен для него соображениями удобства. Семейю Аллилуевых он знал уже почти 20 лет. Это были старые, верные друзья, заботившиеся о нем, посылавшие ему посылки в Сибирь. Ольга Аллилуева, будущая теща, относилась к нему очень тепло и, может быть, это напоминало ему заботы матери. Но брак дочери ее не обрадовал: она долго пыталась отговорить маму и попросту ругала ее за это «дурой». Ольга Евгеньевна уже достаточно вкусила семейной жизни с революционером и считала свою жизнь «загубленной». Она никогда не могла внутренне согласиться с маминым браком, всегда считала ее глубоко несчастной, а ее самоубийство – результатом «всей этой глупости».

Только четырнадцать лет с моей мамой были для отца семейной жизнью. Но он был далек от всего, погруженный в это время (1918-1932) во внутрипартийную борьбу, в сложный процесс захвата власти. Мама создала дом, она была центром дружбы и человеческих взаимоотношений: такова была ее природа – созидать, давать, согревать. Около нее были все родные – Сванидзе и Аллилуевы. Ее любили старые партийные товарищи отца, она организовала интересную жизнь для детей. Отец принимал это все как должное, и считал ее, прежде всего, преданным другом, а преданные друзья были ему необходимы. Но он не понимал и не признавал, что она была молодым мыслящим существом, что ей необходима была самостоятельность, и что у нее было собствен-

ное мнение. Она спорила с ним, возражала, она считала себя равной, а это расходилось с его чисто восточным представлением о женщине, о жене. Это только раздражало его. И когда, с ее смертью он осознал, наконец, всю полноту ее независимости, ее протеста, ее вызова ему, то это его только ожесточило. Равных он не хотел, равные спорили, мешали, возражали. А он хотел слепой преданности и беспрекословного подчинения.

Он любил меня, пока я была ребенком, школьницей, я его забавляла. «Ты до смешного похожа на мою мать! Она тоже рыжая, в веснушках!» – говорил он и, наверное, это было главным источником его нежности ко мне. Мне досталась в детстве самая большая нежность, на какую он вообще был способен. Позже, когда я обнаружила свои собственные интересы и вкусы, он охладел ко мне. Он подарил мне в 1938 году сигнальный экземпляр «Краткого курса истории КПСС» со своей надписью и велел прочесть. Я так и не прочла тогда книгу, мне было это скучно, и узнав об этом он рассердился. Ему хотелось, чтобы я занималась историей партии.

Однажды, в те годы, кто-то посоветовал мне послать ему ко дню рождения мою фотографию с надписью. Реакция была для всех неожиданной: отец вернул мою фотографию со злобным письмом: «У тебя наглое выражение лица» – было написано его острым почерком, синим карандашом. – «Раньше была скромность, и это привлекало». В веселой фотографии девочки в пионерском галстуке, с улыбкой во весь рот, ему почудились вызов, независимость. Это ударило его, как током, и он назвал это «наглостью». Ему хотелось потупленных глаз, покорности, – того, что он называл «скромностью».

Сколько он говорил об этой самой скромности! – «Скромность украшает большевика». Он от всех хотел потупленных глаз и молчаливого согласия.

Он не выносил собственного мнения у других, поэтому его раздражало мое увлечение литературой, мой выбор друзей, мой первый брак. Ему хотелось, чтобы я дружила с внучками Горького, а не с какими-то неизвестными девочками в школе. Старшая внучка Горького долго была одной из моих подруг и она ездила со мной на дачу и в Сочи летом, пока мы учились в одном классе. Но у меня было больше общих интересов с другими девочками, а в университете возник совсем другой круг знакомых. Его раздражало, что моим первым мужем был еврей, а ему хотелось, чтобы я вышла замуж за сына Жданова. Через пять лет так и получилось, но сам А. А. Жданов к этому времени уже умер, успев до этого лишиться расположения отца – и теперь этот брак его мало интересовал... Когда я ушла от Ждановых через два года, он опять

был раздражен – он видел в этом поступке слишком много своей воли.

Школьницей я хорошо училась, и это привлекало его симпатии ко мне. Брата он вечно ругал за невежество. Но когда мы выросли, его отношение переменилось. Уже после войны он не раз говорил мне: – «Скажи Ваське – Васька, прыгай в огонь! – он прыгнет не думая. А ты – не-ет! Будешь раздумывать. У-у, дипломатка! Все думает что-то, никогда сразу не ответит!»

Он не ошибался – брат, действительно, готов был прыгнуть в огонь и в воду по первому слову отца. Это и было то, чего ему хотелось. А презрительное «дипломатка» со столь же презрительным «думает» было в его глазах тем, что не украшает женщину; это были не те качества, которые он хотел во мне видеть.

Правда, он не видел ничего путного в моем брате, кроме решительной готовности исполнить любой приказ. Вообще к обоим своим сыновьям он был холоден и далек от них. Сентиментальных, нежных чувств к ним он не испытывал. Наверное, он в них разочаровался, как позже и во мне: ни один из нас не стал продолжателем его дела. Яша был честным, тихим, без амбиций, и отец не видел в этом толка, – тем более, что будучи тихим, Яша не был покорным, и не «прыгнул бы в огонь».

То, что Яша во время войны оказался военнопленным, для отца было только «позором» в глазах всего мира. В СССР этот факт умалчивался во время войны и позже, хотя вся мировая пресса писала об этом. А когда иностранный корреспондент запросил об этом официально, отец ответил, что «...в лагерях Гитлера нет русских пленных, а есть только русские изменники, и мы покончим с ними, когда завершится война». А о Яше он ответил так: «У меня нет сына Якова».

По свидетельству Томаса Кушинга, в то время соседа Яши по заключению в Заксенхаузене, Яша был крайне подавлен этим известием, которое было передано в радионовостях для заключенных. По свидетельству многих, он вел себя в плену, как подбаивает офицеру, отстаивал правоту своей страны и армии. Но в этот день он искал смерти, и погиб, бросившись на провода под током.

Я могу поверить этой версии его гибели, больше чем любой другой. Подробности и детали не имеют значения: безусловно, Яша должен был быть подавлен известием. Несомненно и другое – хорошо зная своего отца, он сразу мог понять, что это не выдумка пропаганды, а настоящие его слова...

Мой брат Василий во время войны был сначала в штабе, а с весны 1943 года командовал авиационным полком, потом дивизией, потом корпусом на западном фронте. Его карьера была стремительной и необычной. После войны его корпус стоял неда-

леко от Берлина, ему надоела служба в оккупационных войсках и он прилетел в Москву в июле 1947 г., чтобы «устроить» себе перевод в столицу. Ему это удалось с помощью таких покровителей, как Берия и Булганин. Маршалы и генералы боялись его, зная, что он «устранил» со своего пути маршала А. А. Новикова, относившегося к нему критически: маршал Новиков попал в тюрьму. Василий же, назначенный с одобрения отца командовать авиацией Московского военного округа, не смог отказать себе в удовольствии завладеть опустевшей дачей Новикова, куда перевез из Германии свою семью и награбленное имущество. Я летала с ним тогда в Германию на десять дней, повидать его жену, только что родившую девочку, и вернулась обратно тем же «личным самолетом», полным «трофеев» для его дачи.

Встреча с Европой была удручающей. Проехав на машине, за неделю, от Варнемюнде и Ростока через Берлин, Дрезден и Лейпциг до Йены и Веймара, я видела только разрушения войны и напуганных, молчаливых людей. Но дом бывшего владельца велосипедной мастерской в местечке Kyritz, где жил брат, свидетельствовал о высоком уровне жизни в гитлеровской Германии...

Василий был переведен в Москву, и отец был некоторое время доволен тем, что сына называли «очень способным». Но вскоре ему пришлось убедиться, что алкоголизм уже разрушил тридцатилетнего генерала и он сам вынужден был в 1952-м году снять его со столь высокого военного поста. Сыновья не «прославили» его имени ни в армии, ни в политике.

Его восемь внуков не вызывали в нем интереса. Когда-то ему нравилось играть с детьми. Но теперь он уже так отодвинул от себя всех близких, что и они перестали интересоваться им. Василий знал, что его дети запуганы, начнут, пожалуй, реветь, поэтому он и не пытался привозить их к деду. Моих детей и Яшину дочку отец видел не больше двух раз, и был доволен, потому что они были веселы и вели себя хорошо. Но этого было ему достаточно – он точно так же позабавился бы с чужими детьми.

Когда-то в молодости он любил рыбную ловлю, охоту, любил собак. В сибирской ссылке у него была собака «Тишка» или «Тихон Степаныч», с которой он любил ходить в тайгу на охоту, и просто разговаривать. Он вспоминал иногда этого «Тихона Степаныча». Но заводить теперь животных в доме ему не хотелось. С годами он утратил всякую способность теплого контакта или привязанности и, наверное, винил в этом кого-то. В частности – меня, за то, что редко приезжала. Но он ни за что не признался бы себе, что создал эту пустоту своими руками. Вокруг него остались, под конец, только молчаливые, «преданные», с потупленными от страха глазами, чекисты да «скромные» сообщники, го-

товые «прыгнуть в огонь, не думая»...

Человеческие чувства в нем были замещены политическими соображениями. Здесь он знал и чувствовал игру, переливы, оттенки. Этим он был поглощен целиком. А так как самым главным для него в течение многих лет было захватить, не упустить, и укреплять свою власть в партии и в стране, то перед этой целью отступило все остальное.

Я думаю, что смерть мамы, которую он воспринял как личное предательство, унесла из его души последние остатки человеческого тепла. Он был теперь свободен от ее смягчающего, и тем мешавшего ему, присутствия. Теперь он только сильнее укрепился в том скептически-недобром взгляде на людей, которое было естественным для его несентиментальной натуры.

Я не думаю, что он сильно отходил от этого взгляда и в те четырнадцать лет, которые мама была рядом с ним. Но с какой силой это вырвалось наружу после ее смерти, всем хорошо известно. Пришло убийство Кирова, расправа над бывшей оппозицией, суды и казнь старых товарищей по партии и революции, аресты миллионов непричастных к партийной борьбе, людей... Отец не остановился в 1937 году перед уничтожением своих родственников – троих Сванидзе, Реденса, Енукидзе (крестного моей мамы). Если он подозревал их в нелояльности к нему лично – то это было для них еще опаснее, чем для чужих. С родственниками он становился еще более неумолимым.

То же самое произошло в 1948 году с тетками. Он считал, что они вредят лично ему тем, что «знают много и болтают много». Ничто не остановило его перед арестом двух пожилых вдов, уже достаточно перенесших и слабых здоровьем. Несомненно, он хорошо помнил, что они были близки ко всему, что происходило в нашей семье, знали подробности о мамином самоубийстве, о ее предсмертном письме. Наверное, не забыл он и того, как в начале войны в августе 1941 года, разговаривал с Евгенией Аллилуевой и советовал ей эвакуироваться с детьми на Урал. Она передавала мне этот разговор позже:

– «Я никогда не видела Иосифа таким подавленным и растерянным», – говорила она. – «Я приехала к нему, думая найти поддержку, надеясь, что он подбодрит меня. Только что сдали немцам Новгород, где я родилась и выросла, я была в панике. Каков же был мой ужас, когда я нашла его самого в состоянии близком к панике! Он сказал: „Дела очень, очень плохи! Уезжайте, эвакуируйтесь. В Москве оставаться нельзя...“ Я ушла совершенно потерянная, мне казалось, что это – конец».

Он помнил это и не хотел, чтобы об этом знали другие. И Евгения Аллилуева получила 10 лет одиночки, откуда ее спасла через

шесть лет только смерть отца. Правда, мои тетки больше обвиняли Берия во всех арестах, постигших нашу семью. Они обе упорно отстаивали это мнение, ссылаясь на то, что у Берия были личные счеты и столкновения, еще в Грузии, со Сванидзе, с Реденсом, со всеми грузинскими старыми большевиками, мешавшими ему добиться поста первого секретаря ЦК Грузии. Евгения Аллилуева говорила, что Берия не мог простить ей личного оскорбления. Острая на язык, она однажды язвительно высмеяла в большой компании, при отце, его грубое приставание к женщинам. Берия очутился в глупом положении, все смеялись, а он запомнил...

Безусловно, Берия имел близкое отношение к нашей семье задолго до того, как возглавил московскую тайную полицию в 1938 году. И когда это было возможно, он подливал масла в огонь, поставляя отцу вымышленные «материалы» на неудобных ему самому. Но, конечно, никто кроме отца не мог санкционировать расстрел Реденса, Сванидзе, арест родственников. Берия такой властью не обладал.

В системе террора и тайных расправ такие люди, как Ягода, Ежов, Агранов, Берия были отцу необходимы, и он находил их с точностью. Иначе советское государство не могло чувствовать себя в безопасности: у Ленина был Дзержинский для этого. Без чекистов не удалась бы коллективизация и расправа с оппозицией. Без них не обходилась и внешняя политика: кроме послов были тайные эмиссары. Правда, главарей ждала расправа, так как они, в самом деле, «знали много». Так были уничтожены Ягода, Ежов, Агранов (прямо замешанный в убийстве Кирова). Берия чудом уберется этой участи, потому что был чрезвычайно хитер, играл на слабостях отца, льстил ему как только мог. Это хорошо помогало. Ягода возражал против зверств коллективизации, за то и поплатился.

Берия отлично понимал, что его судьба в постоянной опасности. Он был вершителем всех повторных арестов 1948 года, «Ленинградского дела», расправ с «космополитами», с врачами, с бывшими военнопленными, с вышедшими из окружения военными подразделениями, со свободомыслием в армии, с иностранными компартиями. Он осуществлял выселения и ссылки целых народностей – немцев Поволжья, крымских татар, болгар, караймов, чечено-ингушей и кабардино-балкарцев. Он очень «много знал», – и потому все видели, что он не скрывал ликования, когда отец умер.

Но он был все равно спешно казнен новым правительством вместе со своими помощниками Кобуловым, Меркуловым, Деканозовым, несколько позже, Абакумовым. Все потому, что «знал много», а также умел многое, и мог легко использовать все это

против нынешних лидеров. Все архивы были в его руках.

«Суд» над Берия был инсценирован точно таким же спешным, тайным, бездоказательным и незаконным образом, как судила и приговаривала, подвластная ему в течение 15-ти лет, тайная полиция. По свидетельству главного хирурга советской армии генерала А. А. Вишневского, после ареста Берия находился несколько дней в подвалах Штаба Московского военного округа, и там же был расстрелян через десять минут после «вынесения приговора».

Казалось, что отец вполне полагался на Берия и доверял ему, но этого никогда никто не мог знать с полной уверенностью... Я очень хорошо помню, как была поражена словами отца в первые дни войны, в июне 1941 года. Я гостила на даче у жены Берия и отец всегда очень поощрял мою дружбу с ней. Меня оставили ночевать. Наутро вдруг позвонил разъяренный отец и обругав меня нецензурными словами, прокричал: «Сейчас же езжай домой! Я Берия не доверяю!» Я вынуждена была уехать к себе домой, ничего не понимая. Позже я никогда не слышала от отца что-либо на эту тему, и еще лет десять была дружна с женой и сыном Берия, которые, в отличие от него самого, были приятными людьми. Но отец не мог полностью доверять даже тем, кто беспрекословно действовал в его руках – такова была его натура. Слишком много жестокостей было совершено вместе с главарями тайной полиции и через них, и память об этом не давала спать спокойно.

Отец был нетерпим в отношениях с людьми, негибок в политических требованиях к ним и к партии. Н. Бухарин назвал его однажды «гениальным дозировщиком»[9]. Я не знаю – подтверждением или опровержением этого явились осуждение и казнь самого Бухарина, превзошедшие всякие «дозы»... Бухарин был терпимым, гибким и тонким политиком, ему казалось, что отец может идти на уступки, что партия смогла бы подчинить его своему большинству. С какой ужасной трагичностью жизнь показала обратное!

В отличие от Бухарина, отец не мог согласиться на постепенное сближение социализма с крестьянством, и выбрал то, что ему было более свойственно: крутой перелом с помощью насилия, уничтожение целой социальной группы зажиточного крестьянства, расправу, подавление... Эту непримиримость, негибкость, неспособность согласиться с противоположным мнением, если оно очевидно более здоровое, я отношу в нем тоже за счет опыта, вынесенного из семинарии, где воспитанникам прививался фанатизм и нетерпимость. И, конечно, эта нетерпимость только подкреплялась недостаточным образованием, которое отец позже не развил и не пополнил.

Он так никогда и не вкусил от европейской демократической цивилизации, от ее традиционного свободомыслия. Грузинские либеральные дворяне 19-го века, получившие европейское образование на французском языке, близкие к Пушкину и декабристам, были демократичны и прогрессивны. «Вождь мирового пролетариата» в 20-м веке создал власть, которая опиралась и держалась не на передовых устремлениях образованных слоев общества, а на отсталости и невежестве миллионов, веками отделенных от западной демократии, слепо веровавших в мудрого царя-батюшку и недоверчивых ко всем, кто «не по-нашему говорит».

Отец прекрасно понимал, что в России – это ему только поможет, что не образованная передовая интеллигенция создаст ему здесь опору и поддержку. Он не принадлежал к ней, она не считала его своим. Но те полуграмотные и полуслепые крестьяне и рабочие, которым его власть давала возможность стать инженерами, партийными бюрократами, генералами, министрами, послами (говорившими только по-русски), те, кто «пас телят» в юности, как Сулов, а ныне вершит делами в ЦК, для них он надолго стал «своим». Они искренне верили, что казненные эсеры, высланный Троцкий, уничтоженная оппозиция и расстрелянные маршалы были «наймитами империализма», что Ленин и Сталин вдвоем организовали октябрьскую революцию и что «Сталин ведет нас по ленинскому пути».

Сталинизм в СССР не всеми отвергался, и в день смерти отца люди не только ликовали, но и искренне плакали. Я видела, как у гроба отца маршал Рокоссовский залил весь свой мундир слезами. Тут же сидел совершенно спокойно Тольятти.

Массовый психоз, порожденный «чистками», когда дети отворачивались от арестованных матерей и школьники «ловили шпионов», был психологическим ответом, основанным на незнании. Невежество есть худшее из зол, говорил Гете, просветитель и энциклопедист. Когда невежество приходит к власти, поощряя невежество и опираясь на невежество, то рождаются исторические монстры, вроде гитлеризма, сталинизма, маоизма...

Россия 1920-х годов располагала образованными марксистами в партии, образованными дипломатами, свободным искусством, свободной экономической политикой (НЭП'ом), свободным крестьянством. Россия хотела европеизироваться, научиться демократии. Я далека от мысли идеализировать 20-ые годы в противовес 30-ым, потому что уже при Ленине террор был средством удержать власть. Уже тогда расстреливали и уничтожали партию эсеров, одну из наиболее реалистических в условиях России. Уже тогда Ленин заложил все основы тоталитарного режима, основанного на подавлении и терроре. Но в 20-ые годы страна не была

ограничена. Все стремилось выйти в мир, воспринять извне плоды цивилизации. С наступлением «эпохи сталинизма» страна погрузилась в шовинистическое чванство «своим», «народным», а всякое «западное влияние» было объявлено тлетворным и вредоносным.

Отец пополнил свое образование только за счет технических знаний. Его интересовало все, что касалось индустриализации, вооружения, он считал это важным. Он знал необходимое о тракторах, танках, самолетах, пушках, автомобилях и приводил в восхищение министров, конструкторов и иностранных генералов специальными вопросами и сведениями. И в этом был его «трезвый» подход. Но он не пополнял своих знаний в новейшей истории, философии, в современной социальной мысли, и потому оставался до конца своих дней догматичным, и по существу, отсталым человеком.

Однажды он почти признался в этом сам. Это было на квартире у М. Горького в Москве, в те дни ранних 30-ых годов, когда отец искал поддержки у Горького, чтобы завоевать симпатии писателей. Среди гостей были Алексей Толстой, писатели, ученые, – обычный круг Горького. Сидели за столом, обсуждали что-то из новейших открытий науки, и когда спросили мнения отца, он сказал: – «Ну, я человек отсталый...», и от ответа таким образом уклонился. Обстановка была тогда непринужденной, пили вино, и молодой физик Ф. Ф. Волькенштейн, пасынок А. Толстого, вдруг скаламбурил: «Выпьем за ОТСТАЛИНА!» Все замерли на минуту. Но отец «проглотил» шутку, поднял бокал и тост был выпит.

У него был, еще со времени семинарии, запас сведений о языках, он изучал тогда латинский и греческий. Он читал по-грузински, но говорил, что сильно забыл язык. Он хорошо знал русский в его разговорной, упрощенной форме, но он не мог быть красноречивым оратором и писателем, ему не хватало синонимов, оттенков, глубины. Со словарем он мог разобрать простой немецкий текст. Этого он считал достаточным, чтобы в 1950 году вступить в спор по теории языкознания и осудить «с позиций марксизма» школу Марра, всемирно известного лингвиста. Этим воспользовались только враги Марра, так как они были поддержаны «мудрым вождем».

То же произошло с теорией Менделя-Моргана в генетике, когда отец поддержал Т. Лысенко, польщенный ложным «практицизмом» этого карьериста, ловко игравшего на пристрастии отца к «практике». Я помню как, работавший в отделе Науки ЦК, Юрий Жданов выступил в 1948 году против Лысенко, которого сейчас же защитил мой отец. – «Теперь генетика кончилась!» – сказал тогда Юрий. Подчиняясь партийной дисциплине Ю. Жданову

пришлось «признать свои ошибки» и написать покаянное письмо Сталину, с опубликованием его в «Правде». Его же самого заставили проводить теоретический разгром хромосомной теории «с позиций марксизма»...

Отцу было свойственно упрощать, сводить к практике, к «народной смекалке». Это была не простота, достигаемая в результате больших знаний, изысканности вкуса, простота, приходящая после огромной и сложной умственной работы людей, знающих много. Это было упрощение человека, который не знал, и не хотел знать сложного многообразия жизни, науки, искусства.

Россия знала Михаила Ломоносова, рыбацкого сына с Белого моря, пришедшего в 18-м веке пешком в тогдашнюю Москву за знаниями, искавшего знаний во всех университетах Европы, ставшего великим русским ученым, академиком, основавшим Московский университет, переписывавшегося с французскими энциклопедистами. Россия знала Шалыпина, знала Горького – современников отца – поднявшихся со дна жизни до вершин европейской культуры – и гордившихся этой культурой, а не «практичностью мужика». В этих всех людях горел внутренний свет, звавший к прекрасному. Отцом руководил совсем иной импульс, и он подсказывал ему, что можно достигнуть многого, опираясь на отсталость...

Отсутствие мамы только освободило отца, потому что она была в доме сдерживающим центром. Конечно, она не была, и не могла быть счастлива с ним. Но и для отца она была женщиной слишком сложной, тонкой, слишком требовательной. Он был доволен, что мама была хорошей хозяйкой в доме, что дети были в порядке, но ее стремления сверх того, ее собственное мнение, ее самостоятельный дух раздражали его. Современная мыслящая женщина, отстаивающая свой взгляд на жизнь, казалась ему чем-то противоестественным в его доме. Правда, официально он нередко высказывался в пользу женского равноправия, когда надо было поощрить массовый труд. Его изречения – вроде «Женщины в колхозах – большая сила!» украшали все деревенские клубы. Но дома он высказывался иначе.

Когда Василий сказал ему, что развелся с первой женой из-за того, что «с ней не о чем говорить», отец расхохотался: «Ишь ты, идейную захотел! Ха! Знали мы таких идейных... селёдок, – кожа да кости!» Это было при мне; но вслед за этим отец и сын пустились в непристойную дискуссию, и я ушла. Отец вообще никогда не проявлял интереса и симпатии к образованным женщинам. Он не выносил гувернанток, которых мама брала в дом. Мама была исключением, потому что ей самой удалось душевно вырасти и развиваться после замужества, и превратиться из наивной

гимназистки в зрелого, интеллигентного человека; отец этому ничем не содействовал. Уровень его запросов по отношению к женщинам был более упрощенным.

Тетки говорили мне, что во время одной из сибирских ссылок он жил с местной крестьянкой, и что где-то теперь живет их сын, получивший небольшое образование и не претендующий на громкое имя. Отцу вообще был свойственен чисто крестьянский взгляд на многое, – узкий практицизм, недоверие к «учености». Он часто повторял в последние годы своим комендантам: «Разогнать вас всех надо, ни черта не умеете! Простая крестьянка лучше готовит, и лучше вас вела бы хозяйство!» И я думаю, что круглолицая курносая Валечка, прослужившая у него экономкой последние 18 лет, вполне соответствовала его идеалам женщин в доме: она была дородна, опрятна, ловко прислуживала за столом и не пускалась в разговоры. Нет ничего более неправдоподобного, чем распространенная на Западе версия о «третьей жене Сталина» – мифической Розе Каганович. Не говоря уже о том, что в семье Кагановича я никогда не встречала никакой «Розы», предположение, что отца могла увлечь интеллигентная женщина-еврейка (по этой версии – врач), говорит только о полном незнании натуры отца. Для него увлечение подобного рода было просто исключено. По словам теток, он вообще мало думал о женщинах, не идя дальше того, чтобы выразить одобрение певице Давыдовой, исполнявшей русские народные песни. Он не проявлял симпатий к агрессивным дамам, делавшим попытки заинтересовать его.

Впрочем, на Западе, нас упорно пытались «породнить» с семьей Кагановича. К своему величайшему удивлению, я узнала из журнала «Stern», что сама была замужем «за сыном Кагановича». К удивлению – потому что сына у Кагановича не было, с его дочерью я была действительно дружна, а мальчик, которого усыновили и воспитали в этой семье был на 10 лет младше меня, а когда вырос, то женился на студентке своего же возраста.

Говоря Василию об «идейных селёдках», отец имел в виду независимых, политически-активных женщин первых лет революции, которые постепенно исчезли в СССР в 30-ые годы. Теперь мерой того, что может достигнуть женщина в стране социализма, стали трактористка Паша Ангелина, сборщица свеклы Мария Демченко, сборщица хлопка Мамлакат Нахангова и летчица Валентина Гризодубова. (Министр культуры Фурцева, введенная в состав политбюро Хрущевым, уже после смерти отца, – только подтверждает собою, что в СССР социальный тип политически мыслящих женщин надолго уничтожен). В соответствии с этим прототипом «героинь труда» советское искусство создало в 30-ые

годы и новый тип кинозвезд: место англазированной, изящной Любви Орловой заняли свинарка в платочке Марина Ладынина и монументальная Тамара Макарова с ее «тяжелой русской красотой».

Все это, безусловно, находилось в прямом соответствии с эстетикой «великого вождя», просматривавшего все новые фильмы. Но у него был только утилитарный подход к искусству, и дутые показательные фильмы вроде «Трактористов» или «Свинарка и пастух» – он одобрил, сказав без всяких претензий: – «Пырьев хорошо показывает радость колхозного труда». И бездарная жена Пырьева, Марина Ладынина стала ведущей советской кинозвездой...

При редких встречах с писателями, актерами, учеными отец хотел выглядеть заинтересованным и осведомленным, что часто производило впечатление. Если гости приезжали к нему на дачу, то он проявлял старомодную куртуазность к дамам: подносил им только что срезанную розу, Или пышную ветку сирени. Он был галантен с женами известных авиационных конструкторов, с женами маршалов в тех случаях, когда было важно и нужно быть приветливым с мужьями. Но, в своей обычной, повседневной жизни он совершенно не стремился ни к вежливости, ни к самому малейшему эстетизму.

Дома, за столом, в обычном кругу «соратников», он всегда говорил огрубленным «простонародным» языком, часто употребляя непристойные слова. Вплоть до начала войны он регулярно приходил вечером обедать в сопровождении политбюро. Они приезжали к нему и на дачу, как правило, всегда без жен. Все копировали его и старались казаться аскетами без семей и без иных интересов, кроме «великого дела партии». В этих мужских застольях он мог бы постесняться только моего присутствия, но оно не останавливало его от соленых мужицких анекдотов и шуток. Иногда мне приходилось уйти и не возвращаться. В таких случаях, через час, он спохватывался, за мной приходили и говорили: – «Хозяйку просят к столу». В случае хорошего расположения духа он встречал меня словами: – «Что ж ты, товарищ хозяйка, ушла и бросила нас, темных, без ориентировки? Мы теперь не знаем куда идти! Веди нас, укажи нам путь!» (это была пародия на официальные славословия вроде – «Товарищ Сталин ведет нас ленинским путем!»). Подобная шутка повторялась из года в год без изменений, пока я не стала взрослой.

В случаях же дурного расположения духа, он мог резко сказать мне при всех «ну, теперь пошла, я занят!» Часто он, так же при всех выражал недовольство моей внешностью или одеждой, доводя меня, подростка, до слез замечаниями вроде: – «Что ты так обтягиваешь себя этой фуфайкой? Смотри, ты уже большая, на-

день что-нибудь посвободнее!» Мне оставалось после этого только выйти из комнаты.

Впрочем, он так же легко мог унижить достоинство любого взрослого человека, нисколько не смущаясь этим. Однажды, незадолго до смерти А. Жданова, зная о его постоянных сердечных приступах, отец раздраженный тем, что Жданов за столом молчал, вдруг набросился на него: – «Сидит, как Христос, как будто это его и не касается! Вот – смотрит на меня, как Христос!» Жданов побледнел, его лоб покрылся потом, но продолжал молчать. Я испугалась, что ему будет плохо и дала воды. Это было осенью 1947 года, на одной из дач отца у Черного моря, куда все приезжали к нему.

Я помню, как тогда же Поскребышев говорил отцу кто будет к обеду и назвал имя Алексея Кузнецова (ленинградского секретаря). Отец не возразил ничего. Но когда гости приехали, и молодой красивый Кузнецов улыбаясь подошел к отцу, тот вдруг не подал ему руки и сухо сказал: – «Я вас не вызывал». Кузнецов мгновенно потемнел лицом, весь съежился и вынужден был уехать. Должно быть уже назревало «ленинградское дело»; вскоре он был отстранен от работы, а затем арестован и погиб в тюрьме.

Застолья последних лет в Сочи и в Кунцево были многолюдными и пьяными. Я видела это несколько раз и всегда быстро уходила. Отец пил немного; но ему доставляло удовольствие, чтобы другие много пили и ели, и по обычной русской привычке гости скоро «выходили из строя». Однажды отец все-таки много выпил и пел народные песни вместе с министром здравоохранения Смирновым, который уже совсем едва держался на ногах, но был вне себя от счастья. Министра еле-еле уняли, усадили в машину и отправили домой.

Обычно в конце обеда вмешивалась охрана, каждый «прикрепленный» увлакивал своего упившегося «охраняемого». Разгулявшиеся вожди забавлялись грубыми шутками, жертвами которых чаще всего были Поскребышев и Микоян, а Берия только подзадабривал отца и всех. На стул неожиданно подкладывали помидор, и громко ржали, когда человек садился на него. Сыпали ложкой соль в бокал с вином, смешивали вино с водкой. Отец обычно сидел, посасывая трубку и поглядывая, но сам ничего не делал. По-видимому, Микоян и Поскребышев, которого отец называл не иначе как «Главный», были самыми безропотными. «Главного» чаще всего увозили домой в беспробудном состоянии, после того, как он уже валялся где-нибудь в ванной комнате и его рвало. В таком же состоянии часто отправлялся домой Берия, хотя ему никто не смел подложить помидор. Его отец называл «Прокурором».

Иногда отец подтрунивал и над Берия. Он повторял один и тот же старый анекдот, адресуясь к «прокурору», который ни от кого другого не стерпел бы насмешки... Анекдот повествовал о чекисте и его соседе по квартире, профессоре. Однажды профессор, раздраженный невежественным соседом, заметил ему: – «Эх, вы! Ведь даже не знаете кто написал „Евгения Онегина“! Чекист был оскорблен (потому что действительно не знал). Вскоре он арестовал своего соседа-профессора, и хвалился своим друзьям: „Он у меня признался! Он и есть автор!“

Анекдот был мрачноват, и обычно никто не смеялся...

В летнее время вожди веселились таким же образом на открытом воздухе. На даче у отца был небольшой, мелкий пруд, куда иногда сталкивали «Главного», под общий хохот. Позже охрана под каким-то предлогом спустила пруд, боясь чтобы кто-нибудь из вождей не захлебнулся. Все это напоминало царские потехи над боярами во времена Петра Первого. Этого, разумеется, и в помине не было при маме, когда все приезжали в гости с женами, и не было этой разгульной атмосферы. Не бывало так и до войны. В поздние годы, мне пришлось видеть это несколько раз. Я знала, что эти развлечения в узком кругу ближайших «соратников» стали обычными и каждый раз повторялось все одно и то же.

Это так непохоже на настоящие грузинские застолья, одинаковые в деревне и в городе, где идет, состязание в изящной речи, в длинных тостах о дружбе, любви, о прекрасном и вечном, где чудесно поют в три-четыре голоса, чаще всего без музыкального сопровождения, а когда устанут пить, есть и петь, то немного танцуют, и опять возвращаются за стол... Напиться допьяна и сквернословить за столом у грузин считается недопустимым.

Советский экран и живопись, послевоенных лет, буквально не вмещали столов с фламандским изобилием, за которыми пировали шахтеры, рабочие, колхозники. Все это было далеко от реальной жизни, как сон. Но откуда было отцу знать это? К его столу везли рыбу из специальных прудов, фазанов и барашков из специальных питомников, грузинское вино специального разлива, свежие фрукты доставляли с юга самолетом. Он не знал, сколько требовалось транспортировок за государственный счет, чтобы регулярно доставлять все это к столу, не знал откуда это все. Подавальщицам было велено, если он спросит: «откуда вишни?» – отвечать: «с базы, товарищ Сталин». Он выходил из себя и зло переспрашивал: – «Это где такой город – База?», но ответа не получал. Несмотря на то, что сам он ел и пил очень мало, изобилие его «застолья» было всем известно. И он полагал, что искусство «правдиво отражает улучшение жизненного уровня», когда видел такое же изобилие на экране.

Не знаю, известно ли было отцу, что «база» существовала главным образом для того, чтобы специальные врачи подвергали химическому анализу на яды все съедобное, поставлявшееся к нему на кухню. К каждому свертку с хлебом, мясом или фруктами прилагался специальный «акт», скрепленный печатями и подписью ответственного «ядолога»: – «Отравляющих веществ не обнаружено». Иногда доктор Дьяков появлялся у нас на квартире в Кремле со своими пробирками и «брал пробу воздуха» из всех комнат. Поскольку мы там жили, и прислуга убирая комнаты оставалась жива, очевидно, все было в порядке. Но доктор все равно был обязан время от времени «брать пробу» и составлять «акт».

Отец не знал, сколько стоили его обеды, дачи, «анализы на яды», потому что никогда ни за что не платил денег. Его жизнь целиком обеспечивалась государством. Свои, ежемесячно присылаемые, пакеты с зарплатой из ЦК КПСС, Министерства Обороны, Совета Министров и прочих учреждений, где он состоял почетным и символическим членом, он складывал, не глядя на них, в стол. Такой письменный стол был на квартире в Кремле. Потом все перевезли на его дачу, и там тоже был письменный стол, за которым он никогда не работал. Ящички его были заполнены запечатанными пакетами с деньгами, которые по мере заполнения стола куда-то убирали. Когда отец умер – все эти деньги немедленно исчезли.

Валечка, экономка отца, спросила меня вскоре после его смерти, отдали ли мне или кому-либо из родственников хранившиеся в столе деньги. Но я понятия не имела о том, где они. Тогда Валечка, выругавшись «по-простому», сделала свое резюме: «Украла, сволочи!». Не знаю, кого она имела в виду: охранников, распорядившихся в доме в последние дни и часы, или великое социалистическое государство.

Спустя двенадцать лет кассирша в той сберкассе, где я получала свою пенсию, под строжайшим секретом сказала мне, что в другой кассе (она сообщила ее номер) есть вклад на имя моего отца, очевидно, сделанный его секретарем, и что теперь «наследники», то есть внуки и я, могли бы востребовать эти деньги. Мы написали соответствующие заявления через нотариальную контору и нам всем выдали по 200-300 рублей. Деньги были положены в банк в 1947 году, во время первой денежной реформы, и с тех пор их количество сократилось более чем в 10 раз, в результате нескольких обменов денег. Добрые, милые кассирши хотели помочь нам, и нарушив правила, сообщили мне об этих деньгах, бывших весьма кстати нам всем... Очевидно, генералы от охраны, в день смерти отца, хорошо позаботились о своих семьях. Отец же нико-

гда не думал ни о детях, ни о внуках, ни о завещаниях. Он жил «выше» материальных благ – за счет государства.

В искусстве, кроме чистой пропаганды, отца больше всего привлекали, как жанр сатира, юмор. Здесь находил выход его собственный сарказм и скепсис. Он часто перечитывал Гоголя и раннего Чехова; вдвоем со Ждановым они иногда брали с полки Салтыкова-Щедрина, чтобы процитировать нечто из «Истории города Глупова». Но это разрешалось только им, – советским сатирикам было строжайше запрещено «порочить нашу действительность». Сенатор и дворянин Салтыков, ядовито высмеявший Россию 19-го века, в наши дни был бы невозможен.

Правда, «допущен» был на экраны Чаплин с его старыми немymi комедиями, а также «Огни большого города» и «Новые времена». Отец часто смотрел у себя на даче эти фильмы, довольный тем, как «ловко высмеяна работа на конвейере при капитализме». Но обличающий «Диктатор» со страстной речью самого Чаплина в защиту евреев от фашизма, никогда не демонстрировался в Советском Союзе. Советская сатира пробавлялась беззубыми баснями Михалкова, а великая трагикомическая актриса Фаина Раневская должна была падать кувырком с лестницы, над чем отец хохотал до слез, а режиссер был удостоен награды...

Отец не любил поэтического и глубоко-психологического искусства. Я никогда не видела, чтобы он читал стихи, – ничего, кроме поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре», о переводах которой он считал себя вправе судить. Не видела на его столе Толстого или Тургенева. Но о Достоевском он сказал мне как-то, что это был «великий психолог». К сожалению, я не спросила, что именно он имел в виду – глубокий социальный психологизм «Бесов», или анализ поведения в «Преступлении и наказании»?

Наверное он находил в Достоевском что-то глубоко личное для себя самого, но не хотел говорить и объяснять, что именно. Официально в то время Достоевский считался писателем абсолютно «реакционным».

Я думаю, что отец находил нечто для себя в своей любимой опере «Борис Годунов», которую часто ходил слушать в последние годы, часто сидя один в ложе. Однажды он взял меня с собой, и у меня мороз бежал по спине при монологе Бориса, и при речитативе юродивого, страшно было оглянуться на отца... Может быть, у него в это время были «мальчишки кровавые в глазах»? Почему он ходил слушать именно эту оперу, когда вообще его вкус скорее склонялся к веселому, «народному» «Садко» или «Снегурочке»? Впрочем, мы ходили неоднократно и на «Ивана Сусанина», но только ради сцены в лесу, после чего отец уходил домой.

Эта «сцена в лесу» очень драматична. Иван Сусанин, русский крестьянин, заводит польское войско в глухой зимний лес, в чащу, откуда нет выхода. Его убивают, но и польское войско остается здесь навсегда, замерзнув и погибнув. После этой сцены отец уходил, не оставаясь на следующий акт с прекрасным балетом, – мазуркой и полонезом. Что было ему в этой гибели поляков в лесу? Может быть, она напоминала ему уничтожение в лесах Катыни 10.000 пленных польских офицеров, тайно совершенное советским правительством в 1940 году?

В последние годы отец перечитывал Горького, но говорил о нем с раздражением. А давно, когда хотел польстить Горькому, собственноручно написал на его сказке «Девушка и смерть»: «Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. И. Сталин».

Не знаю, польстило ли Горькому такое превознесение его мало удачной небольшой поэмы, но могу с уверенностью сказать, что ничто в искусстве не было дальше от понимания моего отца, чем романтическое воспевание женщины и любви. Горький писал о любви и о женщинах много, искренне, глубоко. Это была значительная часть его жизни и мировоззрения. Для отца все это было безразлично. Но так как Горького с трудом зазвали из-за границы в СССР и необходимо было привлечь его на сторону партии, отец не поспешил на комплимент, над растолкованием которого долго бились потом советские литературоведы: как ни верти, Гёте был тут ни при чем.

Еще не бывало такой проституции искусства, как художественная выставка в честь 70-летия отца в 1949 году.

Огромная экспозиция в залах Третьяковской галереи была посвящена одной теме: – «Сталин». Со всех картин взирало на вас лишь одно лицо, то в виде одухотворенного грузинского юноши, возведшего очи горе, то в виде седоватого генерала в мундире царской армии с погонами. У армянских художников это лицо выглядело армянским, у узбеков он походил на узбека, на одной из картин было даже некое сходство с Мао-Цзе-Дуном – они были изображены рядом в одинаковых полувоенных кителях и с одинаковым выражением лиц.

На многочисленных пирах, среди цветов и плодов, он сидел меж румяных женщин и, тянувшихся к нему, детей, как добрый седоусый дедушка. Во главе политбюро, состоявшего из чернобрвых витязей, он был впереди всех, как чудо-богатырь из русских былин, широкоплечий и могучий. И вся эта псевдонародная эстетика основывалась на том, чтобы угодить вкусу «вождя», а вождь стремился польстить далеко не лучшим традициям народа, поддержка которого ему была нужна. Впрочем, отец не видел ни одной из этих картин – к счастью для их создателей. Но жюри

распределило премии «наилучшим».

Он неоднократно взывал к «народности» и к «простым людям», уснащая свои речи поговорками, носил брюки, заправленные в сапоги, как это делали русские рабочие до революции. Все это производило должное впечатление на многочисленный класс советских полумещан, которых он вывел в люди и привел к власти в партии, в государственном аппарате, в полиции, в идеологии. Он взывал иногда к самым реакционным российским привычкам – к антисемитизму, поощрял мародерство во время войны, разрешив офицерам и солдатам грабить побежденную Европу: – «Мы им покажем еще, как людей пластать!» – говорил он со злорадством, разрешив не только грабить, но и бесчинствовать и убивать «немцев» – тех самых немцев, с которыми ему так хотелось быть в долгом и прочном союзе. Он не угадал и не предвидел, что пакт 1939 года, который он считал своей большой хитростью, будет нарушен еще более хитрым противником. Именно поэтому он был в такой депрессии в самом начале войны. Это был его огромный политический просчет: – «Эх, с немцами мы были бы непобедимы!» – повторял он уже когда война была окончена...

Но он никогда не признавал своих ошибок. Это было ему абсолютно несвойственно. Он считал себя непогрешимым и не сомневался в собственной правоте, что бы там ни было. Он считал свое политическое чутье непревзойденным.

«Сталина вздумали перехитрить! Смотри-ка, Сталина захотели обмануть!» – говорил он о самом себе в третьем лице, как бы со стороны наблюдая каких-то жалких людей, которые пытаются провести его. Он не предполагал, что может сам обмануться, и до конца своих дней следил, как бы кто другой не вздумал его коварно обмануть. Это стало его манией.

Я не думаю, что он страдал когда-либо от угрызений совести, не думаю, что он их испытывал. Но он не был счастлив, достигнув предела желаемого, казнив одних, покорив других, умиляя третьих...

Не было ни счастья, ни покоя. Он строил все новые и новые дачи на Черном море – в Новом Афоне, в Сухуми, на озере Рица, и еще выше, в горах. Старых царских дворцов в Крыму, бывших теперь в его распоряжении, не хватало; строили новые дачи возле Ялты. Я не видела всех этих новых домов, я уже не ездила с ним на юг, не видела и новый дом на озере Валдай, возле Новгорода.

По словам его бывшего переводчика В. Н. Павлова, избранного на 19-ом съезде в ЦК, отец в конце 1952 года дважды просил новый состав ЦК об отставке. Все хором ответили, что это невозможно... Ждал ли он иных ответов от этого стройного хора? Или подозревал кого-нибудь, кто выразит согласие его заместить? Никто не

осмелился этого сделать. Ни один не решился принять его слова всерьез. Да и хотел ли он в самом деле отставки? Это напоминало о хитростях Ивана Грозного, временами удалявшегося в монастырь, жалуясь на старость и усталость и приказывавшего боярам избрать нового царя. Бояре на коленях умоляли его не покидать их, боясь что любой избранный ими тут же лишится головы.

До последнего дня к нему приезжали, как обычно, обсуждать все дела и он ничего не упускал из своих рук.

Он уже знал, что болен, бросил курить. Отстранил старого личного секретаря Поскребышева, арестовал старого служаку-охранника Власика, арестовал старого личного врача, боялся всего и всех, но все не хотел уступать... Он был «жертвой» самого себя, той страшной внутренней потребности властвовать, с которой тираны рождаются. Она жгла его изнутри и толкала всю его жизнь в ложный трагический тупик, на долгом пути к которому он уничтожил все живое вокруг. Он пришел только к внутренней пустоте, не желая признаваться в этом ни себе, ни другим, и это был его собственный конец.

И сейчас смотря, как в перевернутый бинокль, на всю его жизнь и на него самого, я чувствую, как далеко от меня все это. И радуюсь непривычному, легкому чувству внутреннего освобождения. Так бывает после долгой, мучительной болезни, когда проснувшись ранним утром, откроешь окно и вдохнув солнечного воздуха почувствуешь: «Боже, какое счастье – я здоров!»

Юбилей

Шоссе на Коннектикут бежит с холма на холм. Стоит ясный поздний октябрь. Синее прохладное небо. И насколько хватает глаз, до самого горизонта, раскинулись вокруг желтые, багряные осенние леса. «Золотая осень», как говорят в России...

Хорошо уехать в Новую Англию из Нью-Йорка, где в этом «юбилейном» году будут много писать и шуметь по поводу 50-ти лет Октябрьской революции. Ни одна газета, журнал и телевизионная программа не обойдутся без рассказов о «достижениях». Юбилей есть юбилей: принято говорить лишь об успехах. Везде будут повторять о спутниках и об элегантных советских балеринах. Арт Бухвальд уже сострил: «в США создано Общество Охраны празднования 50-летия Октябрьской революции».

У меня – первая осень без обязательного официального празднования 7 ноября. Это скучный праздник, не затрагивающий чувств миллионов людей в СССР. Ему никто не радуется, но скрыться от него некуда. Можно представить себе, что делается там в этом году!

Полтора месяца я прожила в Бристоле у полковника в отставке Руфи Бриггс. У полковника светло-голубые глаза и светлая коса, уложенная по-русски вокруг головы. Ей наверно намного за пятьдесят, но я теперь не берусь судить о возрасте в этой стране. Выглядит она молодо, быстро бегают весь день на высоких каблучках, дымя сигаретой и звонко смеясь. Полковник жизнерадостна, деятельна и не оставляет мне ни минуты на созерцание.

Мы немедленно занялись ее большим садом, откуда открывался холодный простор залива Наррагансет. Прежде всего очистили большой догвуд от плюща, почти задушившего бедное дерево. Полдня ползали мы на коленках, вырубая и выпиливая корни, потом, влезши на лестницу с ножницами в руках, я срезала плети, обвивавшие ветви. Полковник исцарапала себе все руки, но была очень довольна: ожившее, освобожденное дерево, с которого мы сняли весь плющ, весело зашелестело листьями. У меня ломило спину после этого, но полковник была как ни в чем ни бывало. Вечером мы сели возле телевизора в гостиной, зажгли камин, и рядом на ковре растянулись остальные «члены семьи» – эрдельтерьер и два черных кота. Руфь принесла два теле-столика для ужина, закурила сигарету и приготовила два крепких мартини с колотым льдом.

Отныне это был наш ежевечерний ритуал. Только телевидение и табачный дым были мучительны для меня в этом доме, все остальное было приятным. Полковник была веселой и добродушной, а эрдельтерьер и два кота приняли меня в свою компанию. Один кот имел примесь бирманской крови и кое-что понимал в кастовой системе. Поэтому он относился ко мне, как раджи и махараджи в Индии, – с терпеливым, вежливым презрением. Другой родом из Франции, толстяк с белой манишкой и манжетами, был настоящий джентльмен. Он вежливо просил открыть ему дверь, ходил со мной гулять по саду, терся возле ног и сладко мурлыкал. Пес – все понимал, смотрел прямо в глаза, был хорошим другом, и иногда приходил спать ко мне наверх.

Я работала в саду у полковника, наслаждаясь свежим ветром и запахом яблок. Они сыпались на землю каждый день с огромных яблонь. Мы собирали их в корзины и отвозили делать сидр. Потом пропололи все цветы на зиму. Несколько раз в ноябре шел снег, и я думала: ну вот, настала зима!.. Но никакой зимы не было. Снег не держался долго.

Мы ходили гулять на берег залива, взяв собаку. Там была площадка под деревьями для пикников, со столиками и скамьями, откуда можно было смотреть на заходящее солнце. Мы ездили гулять на берег океана возле Ньюпорта, где на высокие скалы набегал прилив. Атлантика дышала глубоко и мерно, вились

чайки. Отлив обнажал камни, поросшие мохом.

Гуляя вокруг Бристоля я находила подмосковные растения и травы, и однажды не поверила своим глазам, увидев вдоль дороги заросли белого донника. Как сладко было найти здесь луговую, хмельнопахнущую траву, которую в России косят летом и от нее таким ароматным становится сено... Но деревья, которые я видела вокруг с первого же дня приезда в США, здесь особенные: они круглые, ветвистые, с необычайно свежей листвой; им свободно расти и вольно дышать здесь – как и людям.

31-го октября исполнился ровно год, как умер Брэджеш Сингх. Всего лишь год назад я была в Москве, сидела в своей квартире и не помышляла о том, что буду когда-нибудь гулять здесь, в Новой Англии.

Как неправдоподобно меняется жизнь. Здесь в этот день был веселый детский праздник – Холлоуин. Под вечер дети звонили возле дверей, я выносила им конфеты и печенье, они были в смешных масках. То же самое, наверное, делают сейчас в Калаканкаре – в память об умерших в Индии всегда угощают священников и детей, каждый может зайти в дом. В этот день мы дали в газеты сообщение о том, что часть денег, полученных от издания «20 писем» пойдет на больницу в Индии, двум детским домам – в Париже и в Швейцарии, русским эмигрантским газетам и журналам в США и Толстовскому Фонду.

Из Калаканкара в Бристоль, Род-Айленд, пришла длинная телеграмма от Суреша и от всех жителей деревни. В Бристолье, в воскресенье телеграммы доставляют через аптеку, там и телефон. Тотчас город узнал мой адрес, и к дому Руфи Бриггс бросились корреспонденты. Но полковник легко отбила все атаки и мы отделались коротенькой заметкой в газете с фотографией дома.

Вообще же Бристоль не проявлял никакого любопытства, и это было чудесно. Я ходила на почту за газетами полковника Бриггс, гуляла по улицам. В Нью-Йорке, после всех телевизионных интервью, это было бы невозможно.

Я начала водить большой «шевроле» полковника по тихим улицам и возле залива, с трудом привыкая к автоматической передаче. Одна местная дама долго расспрашивала меня о судьбе царской семьи, о чем я почти ничего не знала. Тогда она заметила: – «Кажется, я знаю о России больше вас!»

Зубной врач, к которому мне пришлось пойти, все время говорил о Пастернаке и о «Докторе Живаго», так что невозможно было работать: мы тратили все время на разговоры. Потом мы обедали у него в семье. Зубной врач жил лучше, чем московский академик. Дом профессора Браунского университета мне даже не с чем сравнить по московским стандартам: ничего подобного там не

снилось и министрам.

В Браунском университете в это время занимались четыре аспиранта из СССР. Они были инженеры – литовец, украинец, армянин и русский. В газете было интервью с ними и я так обрадовалась, прочитав: «Многое в США напоминает нам нашу страну». Значит, это не только мое впечатление, преследовавшее меня в США со дня приезда. Значит, это так и есть – мы не сговаривались, конечно, и не встречались. Я знаю, как осторожны советские граждане за границей, когда у них берут интервью: за малейшую неточность их будут потом долго «прорабатывать» в партийной организации за «политическую незрелость». Но в том, что говорили эти ребята сквозило восхищение и искренняя симпатия к США и к людям, окружающим их. Человек с открытыми глазами и ушами, не начиненный официальной пропагандой, не может не видеть доброжелательность этой страны, и не ответить ей взаимностью...

Но было и другое. Еще в сентябре я неожиданно получила письмо от одной сотрудницы советского посольства в Вашингтоне, которую знала по Москве. Она писала, что хочет встретиться со мной, предлагала свои услуги в случае, если я хочу написать письмо или послать посылку детям. Она «неожиданно» вспомнила обо мне, хотя я находилась в этой стране уже полгода, и сокрушалась о моем «одионочестве» в США, где она сама, «за два года не завязала дружбы ни с кем». Она писала: «Я часто думаю о Вас по вечерам. Есть ли здесь хотя бы один человек, с которым Вы могли бы поговорить? Я знаю американцев, они безразличны и не интересуются жизнью других людей». Я не удивилась ее мнению: служба в посольстве она не имела права на дружбу. Возможно, что она не вызывала симпатий у тех, с кем встречалась. Ее предложение встретиться и поговорить было чистейшим лицемерием: мы с ней никогда не дружили в Москве. Здесь же она была типичным посольским работником и, теперь, накупив вещей на несколько лет вперед, собиралась уезжать домой. Ее внезапное обращение ко мне было, безусловно, продиктовано ей начальством. Я ответила ей, что не нуждаюсь в ее услугах, и что для «задушевных бесед» у меня достаточно друзей среди американцев.

* * *

7-го и 8-го ноября весь коммунистический мир надрывался, чтобы убедить себя и других в своих победах и преимуществах.

Эти дни для меня всегда были отравлены воспоминанием о маминой смерти, а в этом году исполнилось ровно 35 лет, как ее не стало.

Я помню первый в моей жизни парад на Красной площади, куда меня взяла мама. Мне было шесть с половиной лет и детские впечатления были яркими. На следующий день наша гувернантка сказала, чтобы мы описали то, что видели на площади. Я написала: – «Дядя Ворошилов ездил на лошади». Мой 11-тилетний брат высмеял меня, сказав, что надо писать: «Товарищ Ворошилов скакал на коне». Он довел меня до слез, а мама смеялась. Она на минуту заглянула в детскую в пестром махровом халате и ушла. Больше мы никогда ее не видели.

Мой брат был бы способным редактором: он сразу заметил, что я недооцениваю политическую значительность событий и упрощаю исторический момент. Очевидно, это свойство осталось за мной на всю жизнь. Ворошилов так и остался в моем представлении «дядей»: поднять его выше этого уровня у меня не было оснований. Да и все другие «дяди», появлявшиеся много лет молчаливыми статистами вокруг моего отца, никогда не выросли в моих глазах до уровня «вождей» – политических руководителей страны. Они по существу ими никогда и не были.

Я знала их семьи, их детей, знала, как они живут. Ничто не привлекало в их жизни, и я не была с ними близка. Их жены, бывшие когда-то мамиными приятельницами, хранили о ней память, как о человеке огромной душевной чистоты, совершившем подвиг. Екатерина Ворошилова, Полина Молотова, Дора Андреева, Мария Каганович, Зина Орджоникидзе всегда говорили о маме с восхищением, – она превратилась в их глазах в символ правды и душевной независимости. Им это было не под силу. Они вели жизнь советских вельмож, знатных дам того нового класса, который создала революция в Советской России, уничтожив старую аристократию. Они могли лишь следовать за своими мужьями, бывшими рабочими и крестьянами, превратившимися в советскую знать. Зинаида Жданова называла мою маму «больным человеком», – но она не видела ее никогда и лишь повторяла официальную версию партии.

Молодому поколению в этих семьях удавалось иногда подняться до критического отношения к собственным родителям и к их делу. Молодым помогало образование, университеты, иностранные языки, – все то, чего не знали родители.

«Дядя» Ворошилов был одним из самых старых и знатных вельмож революции, один из немногих уцелевших старых командиров Первой Конной. Он да Буденный, – потому что оба не были политически активны. Буденный занимался коннозаводством и жил просто. Ворошилов же любил шик.

Его дача под Москвой была едва ли не одной из самых роскошных и обширных. Все те подарки, которые «трудящиеся» присы-

ляли своим вождям, один только мой отец отдавал в музей. Дома и дачи Ворошилова, Микояна, Молотова были полны ковров, золотого и серебряного кавказского оружия, дорогого фарфора. После второй мировой войны пошла волна «подарков» от братских социалистических стран и из Китая. Вазы из яшмы, резьба по слоновой кости, индийские шелка, персидские ковры, кустарные изделия из Югославии, Чехословакии, Болгарии – что только не украшало собой жилища «ветеранов революции», и продолжало поступать в их дома со всех концов мира, символизируя собой «братскую солидарность трудящихся». Ожил средневековый обычай вассальной дани синьору. Ворошилову, как старому кавалеристу, дарили лошадей: он не прекращал верховых прогулок у себя на даче, – как и Микоян. Их дачи превратились в богатые поместья с садом, теплицами, конюшнями, конечно, содержали и обрабатывали все это за государственный счет. В общем, источники существования были у всех «вождей» одинаковыми; разница в том, как выглядит дом, зависела только от вкуса хозяйки и пристрастий хозяина.

Ворошилов был молодцеват и за шестьдесят; он гулял на даче в белых фланелевых брюках легкой походкой старого офицера. Таким же молодежавым и щеголеватым выглядел Микоян, строго следивший за диетой и за своим весом.

На Микояна и его жену огромное впечатление и влияние оказала их первая поездка в Америку, во многом изменившая их собственный быт, сделавшая их дом более современным. Но Ворошилов навсегда остался на уровне своего кавалерийского кругозора. Народные украинские песни, которые он хорошо пел, остались для него пределом искусства. А аляповатые портреты всех членов его семьи, сделанные «придворным академиком живописи» Александром Герасимовым, украшали стены его дачи. Ворошилов не отказывался позировать; других вождей приходилось писать с фотографий.

Впрочем, многое зависело от жен: Екатерине Ворошиловой нравились портреты, остальные не интересовались живописью. Деньги «академику» заплатило, конечно, государство. Сама Ворошилова, бывшая работница и партийная активистка, превратилась в дородную даму, посвятившую себя изучению истории партии. Много лет она работала в Высшей партийной школе, – там же, где подвизалась Зинаида Жданова. Шутка гласила, что они обе служат «наглядными пособиями по истории КПСС».

Сам Ворошилов любил сказать речь за столом по любому поводу, увязав ее с политическим моментом. Привычка авторитетно высказываться за семейным обедом на даче вошла в обиход «вождей». Даже когда за столом жена, внуки и давние знакомые,

вроде меня, Ворошилов произносил политические тосты, стоя с бокалом в руке. Сын, невестка и внуки опускали глаза и вздыхали от скуки.

То же самое делал за воскресным семейным обедом Н. М. Шверник, ставший президентом СССР после смерти Калинина. Больше я нигде этого не встречала: дома люди вели себя нормально.

Обширная трехэтажная дача Ворошилова с громадной библиотекой, сгорела дотла после войны из-за неосторожности маленького внука: он играл с огнем около новогодней елки. Но дачу быстро отстроили снова в тех же размерах, только библиотека погибла безвозвратно.

У Ворошилова, Молотова, Кагановича, Микояна были собраны точно такие же библиотеки, как и на квартире у моего отца в Кремле. Книги посылались сюда издательствами по мере их выхода из печати – таково было правило. Конечно, никто за книги здесь не платил. Ценность этих собраний состояла в уникальных советских изданиях 20-х и 30-х годов, изъятых из всех обычных библиотек после «чисток» 37-38 годов. Здесь же «изъятий» никто не мог делать, и вся художественная литература, представленная позже арестованными и погибшими писателями, стояла на полках. Тут же были все партийные издания, отражавшие борьбу фракций и течений в партии, Троцкий, Бухарин, – всё, что бесследно исчезло из публичных библиотек. И всё, что издавалось в СССР, начиная с первых же пореволюционных лет, включая важнейшие периодические издания, было собрано в этих «домашних» библиотеках, которыми пользовалась главным образом молодежь.

Библиотека Ворошилова сгорела. Нашу – государство решило взять себе и распределить по-своему усмотрению. Кагановичу и Молотову, после того, как их изгнали из политбюро и из Кремля, разрешили считать библиотеки «личной собственностью»: они частично, распродали редкие издания, а остальное вывезли из Кремля на свои новые, скромные квартиры. В СССР государство «поворачивает» как хочет все законы, в том числе законы о собственности.

В семье Микояна библиотека распределена между сыновьями и они ею с удовольствием пользуются.

Ашхен Микоян была тихой, красивой, отличной хозяйкой. У себя на даче, сидя перед домом на хорошо подстриженной лужайке, она сушила на солнце шерстяные кавказские одеяла, подушки, ковры, зимние вещи. Пятеро сыновей, куча племянников и племянниц, приезжавших каждое лето из Армении, кухня, вечный домашний халатик и пыльная тряпка в руке. Ашхен не была и не хотела быть вельможной дамой, или знатоком истории пар-

тии...

Америка поразила ее рационализацией быта, и она переоборудовала дома все ваннные комнаты и кухню по образцу увиденного там. Их старая квартира в Кремле была самой простой, и Ашхен очень горевала, когда всем «вождям» предложили государственные особняки на Ленинских горах, со стенами обтянутыми шелком, с дорогими деревянными панелями, мраморными каминами и тяжеловесной мебелью. Она по-прежнему предпочитала дачу, где она могла перетрясать свои подушки на лужайке. Она была теплой, простой и милой, и какое-то внутреннее чутье помогло ей остаться такой до последних дней, не превратившись в «советскую даму».

Когда Микоян поехал на Кубу, она была тяжело больна. Я видела ее на даче, она лежала на кушетке, и ни за что не хотела переезжать в московский особняк. Здесь, вокруг нее были все те же деревянные стены с гобеленами, кафельные полы, резная дубовая мебель, которые остались в доме от дореволюционных владельцев. В этом доме мало что было приобретено новыми вельможами. Наверное это было ей приятно. Когда Микоян встречался с Кастро, Ашхен умерла.

В этой семье сохранились демократизм и простота отношений. Но не следует забывать об огромных государственных средствах, расходовавшихся на многочисленных родичей, на четырех женатых сыновей и одиннадцать внуков, на их поездки, машины, квартиры...

Сыновья Микояна знали вкус современной жизни. Ворошиловские портреты академика Герасимова они бы выкинули вон из своих комнат. И часто, когда Микоян отправлялся на банкет или уезжал за границу, ему приходилось занимать хорошие носки и галстуки у сыновей.

От Микояна, бывшего много лет министром торговли СССР, строго скрывалось существование специальных «закрытых» магазинов, где его невестки покупали его же сыновьям импортированные из-за границы вещи. Министр полагал, что существовавшие во время войны и карточной системы «распределители» давно исчезли, вместе с карточной системой. Но московская знать и министерство торговли думали иначе. Со строгим отбором немногие лица допускались в закрытое отделение ГУМ'а, где они могли без очереди и давки купить югославскую обувь, английское джерсе и французские духи. Микояну не говорили об этом, так как боялись, что он сейчас же упразднит нелегальную торговлю, и тогда уезжающим за границу советским дипломатам невозможно будет прилично одеться и «достойно представлять» за рубежом Советский Союз.

Перед отъездом в Индию Кассирова, хорошо знавшая порядки МИД'а, повела меня в это «закрытое отделение». Там я купила английское летнее пальто, которое ношу и сейчас в Принстоне. А белые югославские туфли, описанные всеми газетами после интервью на Лонг Айленде, я купила не в Нью-Йорке, а в Москве, и только благодаря знакомой продавщице, оставившей их для меня под прилавком. Микоян же считал, что в СССР «импортная торговля расширяется каждый год».

Он верил всем цифрам, которые ему давали как министру. У него на даче, даже зимой, всегда была свежая зелень, – из собственной оранжереи. Угощая меня, он говорил: «В СССР нет привычки есть свежую зелень». Я ответила, что все любят зелень, но ее нигде не купишь.

«Как!» – воскликнул Микоян, – «мы продали населению в два раза больше зелени в этот год, чем раньше!»

Квартира и дача Молотова отличались хорошим вкусом и роскошью обстановки – по советским стандартам, конечно – а жена Молотова всегда была одета лучше всех правительственных дам. Дом Молотовых был несравним с нашей скучной казенной кремлевской квартирой, и был роскошнее всех остальных.

Жена Молотова тоже когда-то была работницей на фабрике, носила на голове красную косынку и была партийной активисткой. Потом она стала во главе советской парфюмерии. Побывав в Париже, Берлине и Америке, она забыла свое пролетарское прошлое, сделавшись первой московской дамой, хозяйкой дипломатических приемов у себя на даче и в официальных резиденциях. Ее дом был поставлен на широкую ногу. Единственной дочери она дала прекрасное образование – английский, французский, немецкий, музыка, специальная учительница гимнастики. Полина Молотова была членом ЦК, министром рыбной промышленности, депутатом Верховного Совета, членом жюри Дома моделей, и членом всяческих обществ и учреждений. Теперь она стала болеть непонятными болезнями, от которых никто не знал, как ее лечить. Она ездила лечиться в Европу, в Берлин, в Карловы Вары.

Когда ее арестовали в 1949 году, все были уверены, что она этого физически не выдержит. Даже дочь не знала все четыре года, что с ее матерью, и все считали ее давно погибшей. Когда, тотчас же после смерти моего отца, ее возвратили из казахстанской ссылки, то невозможно было поверить, что она жива. Но она, смеясь, говорила, что «суровые условия укрепили ее здоровье». В самом деле она выглядела лучше, чем прежде и «непонятные болезни» исчезли.

Необыкновенно меняются человеческие судьбы в СССР – и удивительны порой реакции людей на то, что происходило с ними...

Полину Молотову арестовали, безусловно, с согласия (а может быть и по указанию) моего отца, считавшего, что будучи еврейкой, она «связана с сионистами и шпионит за Молотовым». Ей было это хорошо известно. Но она упорно относилась все это за счет Берия, и говорила мне, что «плясала, как сумасшедшая», узнав, что Берия арестован. Никто не сопротивлялся сильнее 20-му съезду и новому курсу Хрущева, чем Каганович и Молотов, а его жена была еще более категорична: Хрущева они восприняли, как своего личного врага – за то, что он выбросил их из правительства и рекомендовал их исключение из партии.

С приходом к власти Косыгина, Молотов и Каганович немедленно подали заявление о восстановлении их в партии, но им было отказано. Тогда они озлобились на все на свете и стали превозносить «память великого Сталина».

Я видела постаревшего, поблекшего Молотова – пенсионера в его небольшой квартире, уже после того, как Хрущева сменил Косыгин. Молотов, по обыкновению, говорил мало, а только поддакивал. Раньше я всегда видела его поддакивающим отцу. Теперь он поддакивал жене. Она была полна энергии и боевого духа.

Ее не исключили из партии, и она теперь ходила на партийные собрания на кондитерской фабрике, как в дни ее молодости. Они сидели за столом всей семьей, и Полина говорила мне: – «Твой отец был гений. Он уничтожил в нашей стране пятую колонну, и когда началась война – партия и народ были едины. Теперь больше нет революционного духа, везде оппортунизм. Посмотри, что делают итальянские коммунисты! Стыд! Всех запугали войной. Одна лишь надежда – на Китай. Только там уцелел дух революции!»

Молотов поддакивал и кивал головой. Их дочь и зять молчали, опустив глаза в тарелки. Это было другое поколение, им было стыдно. Родители походили на ископаемых динозавров, окаменевших и сохранившихся в ледниках. Полина Молотова мелко накрошила чеснок в борщ, уверяя, что «так всегда ел Сталин». Потом она ругала прачечную, после которой сама перестирывала белье. Потом ругала Хрущева, которому не могла простить исключение ее мужа из партии. Моему отцу она «простила» гибель миллионов, которых она назвала «пятой колонной».

Я уже не удивлялась, что им так понравилось в Монголии, где Молотов был некоторое время послом. Там они оба нашли близкое сердцу политическое ничтожество отсталой страны-сателлита, варварство кочевников, перескочивших от родового строя прямо в социализм; Полина Молотова не раз повторила о «здоровом духе» монгольской республики. Когда я ушла от них, мне

казалось, что я вышла из палеонтологического музея.

К счастью, подобные визиты были для меня редкостью. Полину Молотову я навещала потому, что некогда она была маминой приятельницей, и осталась так мало людей, помнивших и знавших маму.

Я не видела как жил теперь другой пенсионер, Каганович. Но я бывала у них несколько раз прежде, когда он был еще полномочным членом политбюро. Его милостивая дочь и ее муж, оба архитекторы, были славными молодыми людьми, и их жизнь шла отдельно от родителей. Собственно, к ним в гости я и ходила.

Каганович был тоже одним из старых коммунистических вельмож. Та же большая дорогая дача, та же громадная бесплатная библиотека... Тот же уровень образования, что и у Ворошилова. Такая же, как у Молотова жена, работавшая в текстильной промышленности, одевавшая за государственный счет толпу родственников. Такой же, как у них «прикрепленный» – офицер МГБ, возглавлявший личную охрану. Такой же «хвост» – вторая машина с чекистами, повсюду следовавшая за личным лимузином. («Ездить на хвосте» – так называли чекисты свою работу). Такой же, как у них всех, бронированный «паккард» с зелеными непрозрачными стеклами.

Юмор живет везде, и среди «кремлевских детей» существовали свои шутки. Вереница правительственных «паккардов», с ревом сирен пронесившаяся в Кремль по Арбату, называлась «собачьей свадьбой». На полицейском языке квартиры и дачи именовались «объектами»; поэтому в шутку говорили: – «Субъект поехал на объект».

В доме Кагановича не было щедрого размаха Ворошилова, шика и вкуса Молотова, демократической рациональности Микояна. Это был богатый мелкобуржуазный дом, полный некрасивых дорогих вещей, с пальмами в кадках по углам. Сам Каганович, шумный и грубый, выглядел обыкновенным толстым баринком в своем поместье. Он считался хорошим организатором в промышленности и на транспорте, который одно время возглавлял. Но его политическая деятельность в столице, помимо строительства метро, совпала с разрушением культурно-исторических памятников. Неизвестно зачем, смели с лица земли Чудов монастырь и Красное крыльцо в Кремле, Храм Христа Спасителя, Сухареву башню, Иверские ворота и часовню. Зеленое Садовое Кольцо бульваров, опоясывавшее город, превратили в «море асфальта»... На месте разрушенного Храма Спасителя, так и не удалось построить Дворец Советов, запланированный еще при Кагановиче, лично утвердившем так называемый «генеральный план реконструкции Москвы».

«Реконструкцией» Москвы в таком же духе занимались все московские партийные руководители, без исключения. Это было духом партии. Архитекторы безуспешно пытались отговорить Хрущева от постройки Дворца Съездов рядом с кремлевскими соборами, так как это искажало весь ансамбль Кремля. Хрущев не желал и слушать. Из-за кремлевской стены возвышается теперь белое современное здание, похожее на большой универмаг, над крышей которого нелепо торчит золотой купол колокольни Ивана Великого. Молодежь называет Дворец Съездов – «стилягой среди бояр».

Каганович, между тем, пытался интересоваться искусством. Один его родственник был скрипач, и поэтому дети водили его иногда на концерты. Однажды на концерте Иегуди Менухина в Москве я была в той же ложе. Концерт был настоящим праздником искусства; Менухин и Ойстрах играли концерт для двух скрипок Баха. Это был необыкновенно гармоничный ансамбль. Вдруг Каганович, повернувшись ко мне и подмигнув, произнес: – «А ведь наш-то забивает американца!» Для него это было состязание, как скачки.

Несколько иначе – по сравнению со «старыми вождями» – жили те, кто пришел позже. Берия поднялся на самый верх очень быстро, и, являясь членом политбюро, конечно, пользовался теми же стандартами государственного размаха. Но грузинам присущ врожденный эстетизм, поэтому его дом выглядел современным и изящным.

Надо отдать должное хозяйке – очаровательной красавице Нине. Когда ей не было 17-ти лет она жила в мингрельской деревне. Узнав, что приехал сам начальник ГПУ Грузии, Лаврентий Берия, она пошла попросить его о своем брате, который был арестован. Берия приехал в специальном поезде. Нина вошла в вагон и уже никогда больше не видела родной деревни. Ее увезли, потому что она была красива и понравилась начальнику. Он запер ее в купе, и так она стала его женой.

Но грузинские женщины – преданные жены. Хотя Нина иногда плакала и жаловалась мне на свою несчастную и унижительную жизнь, тем не менее, она никому другому в этом бы не призналась. Она стала агрохимиком, и могла бы прекрасно работать на полях и в садах своей Грузии, о чем всю жизнь мечтала. Это было неосуществимо. Муж привез ее в Москву, которую она терпеть не могла. Она продолжала играть роль жены и хозяйки дома – хотя давно уже не была ни тем, ни другим. Выхода не было. Она отдала все силы единственному сыну, и достигла хороших результатов: сын получил хорошее образование, знал немецкий и английский, и стал одним из первых инженеров-ракетчиков в стране, создав-

ших первые управляемые снаряды. Он был мягким и приятным, как мать. Оба они являли резкий контраст с самим Берия, прирожденным палачом и изувером, для которого тайная полиция была призванием.

Даже дома встречи с ним никогда не были приятными. По воскресеньям он развлекался на своей даче, стреляя в тире из разных видов оружия. По вечерам смотрели кино – сын переводил ему американские и немецкие фильмы. Потом он вдруг уезжал, неизвестно куда. Трудно было найти, о чем говорить с этим человеком, он был резок и говорил непристойности.

Берия жил в бывшей даче Власа Чубаря, арестованного в 1937 г. У домов тоже своя судьба. Все дачи, построенные в свое время хорошими архитекторами за государственный счет, «переходили по наследству» к следующим владельцам. Молотов жил в бывшей даче Ягоды. Жданов – в бывшей даче Рудзутака. Мы переехали в Кремле в 1933 году в бывшую квартиру Бухарина. Души прежних владельцев витали где-то в тех же стенах... Семья Берия была арестована в 1953 году в той самой даче, где арестовали когда-то Чубаря. Хрущев въехал в бывшую дачу Молотова, после того, как выбросил его из партии, – хотя обладал и своей собственной. Но дом был несчастливый: в 1964 году Хрущева вынудили расстаться с огромной усадьбой, где он уже успел убрать великолепные розы, насадив повсюду кукурузу.

Кто знает, может быть Микоян был так удачлив и неуязвим в своей политической карьере оттого, что никогда не посягал ни на что большее, кроме дома, доставшегося ему в 1919-м году, и сохранял его прежний облик.

Дача Берия была роскошна, огромна. Белый дом расположился среди высоких стройных сосен. Мебель, обои, лампы, все было сделано по эскизам архитектора – того самого Мирона Мержанова, который строил когда-то дачи моего отца, а в 1949 году попал в тюрьму и не возвратился. Нина сделала дом еще более уютным – потому что сама была милой и уютной. В доме было кино – как, впрочем, и на дачах всех «вождей». Это было развлечение молодежи, предпочитавшей заграничные фильмы, чтобы практиковаться в иностранном языке. Я не ошибусь, если скажу, что немецкие, американские, английские и французские фильмы были для этого круга важнейшим источником информации о внешнем мире. Ведь другие источники – книги, газеты, журналы – были закрыты. А молодежь жадно припадала к любому источнику, дававшему свежие знания.

Но в доме Берия всегда можно было найти книги на английском и немецком языке, и иностранные журналы. Нина держала в доме тихую, аккуратную немку, вырастившую ее сына, и спасла

ее от ссылки во время войны. Когда сын женился и появились внуки, Нина возилась с ними. Своей жизни у нее не было и не могло быть с таким мужем. Но она держалась всегда с огромным достоинством.

После того, как Берия был арестован в июне 1953 года и немедленно же расстрелян, – спустя некоторое время правительство распространило длинный секретный документ о его «преступлениях». Читка его на партийных собраниях занимала больше трех часов подряд. Кроме того, что Берия был обвинен в «международном шпионаже в пользу империализма», больше половины секретного письма ЦК было посвящено его «аморальному облику». Партийные следователи с упоением рылись в грязном белье уже не опасного противника, и еще ни одно партийное собрание не бывало столь увлекательным: описание любовных похождений поверженного «вождя» было сделано со всеми подробностями. Неизвестно только, в чем ЦК хотел убедить партийную массу: к политике это не имело никакого отношения. К внутрипартийной борьбе – тоже. Документ ничего не объяснял и ни в чем не убеждал, – разве лишь в том, что ханжи из ЦК обнаружили собственную грязную натуру.

После 1953 года жена и сын Берия были высланы из Москвы на Урал. Спустя несколько лет Нина просила разрешения жить и работать в Грузии: наконец она могла бы уехать в свою деревню и заняться агрохимией. Но ей было отказано. По существу, эта красивая и несчастная женщина, чья жизнь была загублена деспотизмом, находится в ссылке, хотя за ней нет политических преступлений.

Менее роскошной и более демократичной выглядели жизнь и быт Маленкова, Андреева, Жданова – сравнительно молодых «вождей». Конечно, их демократизм был относительным, – они не старались быть вельможами. Но, при общем советском уровне жизни и они стояли на недостижимом Олимпе власти, и на неммыслимом для простых людей уровне роскоши.

Я бывала в этих семьях, так как знала молодежь примерно одного возраста со мной. Быть может, молодежь и определяла собой весь уклад жизни в этих домах. Сын Жданова был химиком, вокруг него всегда был большой круг друзей из университета. Дочь Андреева – биохимик, ее муж – архитектор, ее брат – авиационный конструктор, его жена – искусствовед. Дочь Маленкова – архитектор. Летом они играли в теннис, катались на акваплане по реке (водные лыжи пришли в моду позже); зимой – на лыжах. Справляли дни рождения детей и внуков, ходили в лес за грибами, старались не пропускать хорошие концерты в консерватории. В какой-то степени родители здесь прислушивались, прино-

равливались к взглядам молодого поколения.

Семья Маленкова была, пожалуй, наиболее интеллигентной из всех остальных на этом «высоком уровне». Он был инженером-электриком по образованию, жена его долгие годы была директором Энергетического Института – одной из самых передовых технических школ в Москве. Два сына и дочь воспитывались в рамках русской интеллигентной семьи – без потуг на вельможную роскошь. Художникам здесь не позировали. Персидских ковров, китайской яшмы и золоченого оружия не собирали. Дом был простым, без буржуазных фарфоровых горок и без претензий на «летний дворец».

Два сына Маленкова учились в специальной школе на английском языке. С ними жил брат матери, учитель, помогавший им в занятиях. Летом сажали цветы и следили за огородом. За столом всегда был общий разговор, интересный для детей и родителей. Мальчики выпускали свою стенгазету, – совсем как и мы, в нашем далеком-далеком детстве.

Неудивительно, что Маленков был, очевидно, наиболее здравомыслящим – и к тому же самым молодым – из политбюро. Программа развития легкой промышленности, предложенная им в марте 1953 г. нашла самый живой отклик: это была первая необходимость для страны. Он сразу завоевал популярность – и это его погубило. Изгнанный из правительства, он уехал в Казахстан и, наверное, до сих пор работает там директором небольшой электростанции. В Москву он ни разу не ездил «на поклон», и «прощения» не просил. Политбюро это раздражало, и Маленкова продолжали преследовать на месте, предъявляя ему всевозможные обвинения, как например, – в демагогии. «Демагогия» заключалась в том, что Маленков становился в очередь за хлебом, как и все население небольшого городка. Это было сочтено «дерзким вызовом» правительству.

Между тем для него и для его семьи перемена жизни не была такой трагедией, как для Молотова или Кагановича, для которых существование вне правительства и власти означало полное крушение. Маленковы же просто вернулись к обычной жизни, которую обеспечивало им их образование, и потеря власти не значила для них слишком много. Такие вынужденные пенсионеры, как Каганович, Молотов – а теперь Хрущев – быстро разрушаются духовно и физически, потому что жизнь без власти над другими не представляет для них смысла.

Несколько особой была судьба Жданова. Эту семью я знала больше, так как Юрий Жданов был моим мужем и я два года прожила в их доме, – уже после смерти самого Жданова.

Андрей Жданов был из семьи инспектора гимназий, мечтал стать агрономом, любил цветы и сады. Кроме него в семье было три сестры, и все дети получили образование дома. Его мать была дворянкой, пианисткой, окончившей Московскую Консерваторию.

Три сестры Жданова были старше, чем он, и страстно увлекались народничеством. О марксизме в семье до революции никто не думал. Сестры стали учительствовать, а когда началась первая мировая война, две сестры ушли добровольно в армию, и стали шоферами на грузовиках. В то время это было для женщин неслыханной независимостью. Они проработали шоферами всю свою жизнь и после революции, никогда не имели семьи и продолжали, где возможно, вести образовательную работу. Старшая же осталась учительницей, у нее были сын и внуки, но мужа она бросила, и сама была Главой большой семьи. В Москву она почти не приезжала.

Андрей Жданов был студентом Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии в Москве когда началась первая мировая война, а затем революция. Тогда он стал большевиком, потому что это был общий порыв. И, как многие слабые люди, взявшие на плечи нечто противоположное их природе, стал усердным догматиком, стараясь переупрямить и переубедить самого себя. Я знала Жданова, как человека безвольного, с большим сердцем, в общем приятного и мягкого. То, что его имя соединилось в истории советского искусства с мрачной полосой репрессий и гонений 1946 и 1948 годов, явилось результатом слишком усердной деятельности человека, являвшегося носителем и исполнителем воли других. В данном случае – моего отца.

Я сомневаюсь, что мой отец вникал в тонкости стихов Ахматовой, или музыки Прокофьева и Шостаковича, или сатиры Зощенко. Он не «доходил» до деталей; но считалось, что «Жданов понимает вопросы искусства» и Жданову поручалось «навести порядок». И тот произносил речь на 1-м съезде писателей о том, что «советская литература самая идейная во всем мире», осуждал стихи Ахматовой за интимность, а рассказы Зощенко – за «психологизм». Наигрывая что-то на рояле он «учил» композиторов, как надо писать музыку «для народа»... Одному кинорежиссеру, чей фильм был отвергнут, он сказал: – «А почему у вас советская действительность снята на черно-белую пленку, а далекое прошлое на цветную? Значит наша жизнь – серая?!»

Когда было нужно, Жданову поручалось выступать о внешней политике, об истории философии, о международном рабочем движении. В конце концов его возненавидели все, как исполнительного адъютанта и возможного «наследника Сталина» в пар-

тии.

Между тем, он на такую роль не претендовал и не раз повторял: «Только бы не пережить!..» (моего отца). У него не было амбиции для борьбы за власть: он бы ее с удовольствием уступил сам.

В доме он был всегда под пятой у женщин – у сестер, у жены. Жизнь дома крутилась вокруг единственного сына, его друзей, его интересов. Здесь бывали интересные и веселые молодежные вечера. Друзья Юрия из школы и из университета приходили сюда не думая о «высоком положении» хозяина дома. Здесь помогли многим, чьи родители пострадали в 1937-38 годах: дружба из-за этого не прекращалась. В этой семье не было злобных или жестоких людей. Но ограниченность, догматизм и нечто фанатическое проявлялось во многом.

На искусство Жданов, действительно, смотрел с ханжески-пуританских позиций, столь распространенных в партии. Их лучше всего выразила однажды жена Жданова в своем незабываемом афоризме: «Илья Эренбург так любит Париж, потому что там – голые женщины». Природа образного мышления в музыке, живописи, кино – была Жданову так же чужда, как высшая математика. Но он рвался в бой, закусив удила, чтобы быть «большим роялистом, чем сам король», чтобы «доказать» злонамеренность Тито или бесполезность идеалистической философии во все века. Может быть, он хотел таким образом навсегда расправиться с остатками идеализма в себе самом.

Когда-то, в начале своей партийной деятельности, он руководил Горьковской областью, где строили первый советский автомобильный завод, – это были лучшие годы его политической карьеры. Оттуда его перевели, сразу же после убийства Кирова, в Ленинград, ввели в состав ЦК, поручили говорить перед съездом писателей, – это был слишком большой масштаб для слабого человека с больным сердцем. Он держался за моего отца, как ребенок держится за руку взрослых, и изо всех сил старался тоже выглядеть взрослее. В результате Жданов навсегда оставил о себе дурную память Держиморды.

В общем, верхние «десять семей» государства жили довольно похоже одна на другую. Жили скучно, бесцветно. Дети старались поскорее уйти от родителей и, вести свою жизнь. Почти никто из «кремлевских детей» не продолжил политической карьеры отцов. Ольга Ульянова, племянница Ленина, стала химиком; дочь М. Фрунзе – тоже. Дочь Л. Кагановича – архитектор, сын К. Ворошилова – инженер, три сына Микояна и сын А. Андреева – авиационные конструкторы, дочь Андреева и сын Жданова – химики, сын В. Куйбышева и дочь Г. Маленкова – архитекторы, сын Л. Берия – конструктор управляемых ракет, дочь Н. Шверника –

инженер телевидения. Все они – интеллигенты с хорошим образованием, ушедшие далеко вперед от отцов в своих взглядах на жизнь и на культуру. Единственным «продолжателем», в своем роде, являлся сын Я. Свердлова, Андрей, профессиональный чекист, усердно занимавшийся «борьбой с остатками троцкизма», и особенно «настроениями молодежи», и многих усадивший в тюрьму.

Почти в каждой семье были свои жертвы «чисток»: у Молотова, Ворошилова, Микояна. Если не родственники – то друзья. Младший сын Микояна женился на дочери Алексея Кузнецова, ленинградского партийного лидера, когда тот уже был отстранен от работы и ждал ареста. На свадьбе дочери он сидел похудевший и подавленный. Вскоре Кузнецова и его жену арестовали, а Алла Кузнецова осталась в семье Микояна; к ней относились как к родной дочери. Арестовали родителей невестки Ворошилова, и с трудом удалось, с помощью самого Ворошилова, выхлопотать им замену лагерей – ссылкой. В каждой семье боялись говорить то, что думали. Жили тихо, растили детей, молчали.

В этом, собственно говоря, и заключалась вся «руководящая деятельность» членов политбюро – высшего органа власти и партии. Молчать и поддакивать. Пока был жив мой отец – этим всё политбюро и занималось. За это они остались живы и неприкосновенны, и тихонько старели и хирели на своих дачах. Любой из них – от Берия с его тайной полицией, до Маленкова и Микояна, занимавшихся экономикой, делали одно и то же: поддакивали и поддерживали.

Правда, был еще скрытый род деятельности, не выходящий на поверхность и только редко выдававший себя каким-нибудь знаком: вожди плели интриги друг против друга, один старался столкнуть другого, и выйти в фавориты. Но все были очень осторожны, и каждый боялся поплатиться собственной головой, «подсизивая» другого. На поверхность все это бурно вылилось только после смерти отца.

До марта 1953 года, можно было всегда видеть Маленкова и Берия, гуляющими под руку. Они ходили парой, так и приезжали к отцу на дачу, и выглядели близкими друзьями. Эта дружба, очевидная для всех, вероятно, основывалась на взаимной поддержке друг друга в каких-то спорных вопросах. Взаимоотношения внутри политбюро были сложными, запутанными и взаимно недобрыми. В доме у Ждановых Маленкова называли только презрительной кличкой «Маланья», из-за его круглого, женоподобного лица. (Маланья, Малашка – женское деревенское имя).

Жданов представлял собою некий противоположный полюс Маленкову и Берия. Последнего одинаково боялись все без исклю-

чения. Молотов был фактически отстранен от дел после ареста его жены в 1949 году. Кагановича, Ворошилова, Андреева, Шверника никто серьезно в расчет не принимал. Микоян умудрялся быть в мире со всеми...

Но когда умер отец, и Берия почти что вырвался к власти, тут все обернулись против него с поразительным единством. В июне 1953 года Маленков не поддержал «старого друга», и всё политбюро единодушно свергло и арестовало Берия. После смерти отца у Берия осталась единственная опора – секретная полиция, ее войска. Маршалы и генералы армии поддержали политбюро, и в день ареста Берия на улицы Москвы ввели танки: боялись войск МВД. Никто не понимал в чем дело, и милиция спрашивала: – «Что это, маневры? Тогда езжайте в объезд города. Испортите мостовую!»

Никто не поддержал человека, которого теперь все боялись не меньше, чем когда-то моего отца. Секретные архивы правительства были в руках Берия, и это не устраивало никого в политбюро. Теперь, даже такие близкие сотрудники Берия по МГБ и разведке, как генерал И. А. Серов, предпочли поддержать правительство. Это неудивительно в стране, где тайный стговор и дворцовый переворот служат единственной формой смены руководителей у кормила власти, – поскольку демократических форм жизни в этом обществе нет.

Ничего не изменилось в поведении политбюро и при Хрущеве. «Пришли другие времена, взошли другие имена» – писал Евтушенко... Взошли другие имена на политическом горизонте, и всходят все новые и новые, но осталась всё той же система, весь общественный уклад. И стиль жизни новых «десяти семейств» продолжает оставаться, в общем, таким же.

Хрущев был тих и молчалив, когда правил Сталин. Но придя к власти он сделался разговорчивым, властолюбивым, нетерпимым и неожиданно стал проявлять диктаторские замашки. Я почти не знала его семью, и не бывала у них в доме, но эта перемена в самой натуре человека была поразительной.

Во всей истории подъема и падения Хрущева, очень красноречивой является судьба его зятя, Алексея Аджубея. В ней, как в капле воды, отразился весь уклад жизни в СССР, уродливый и антидемократичный в самой своей сути.

Алеша Аджубей был способным студентом, готовившимся стать журналистом. Я хорошо знала его мать, лучшую московскую портниху, обшивавшую всех дам «верхних десяти семейств». Она была поистине талантливым человеком, и многое от ее эстетизма и энергии было у единственного, любимого сына. Алеша женился на дочери Хрущева в 1949 году, когда оба они были

студентами. Ничто не сулило ему тогда будущих взлетов и падений. Он окончил учебу и мог бы жить как все журналисты – талантливые и нет – находясь в кабале у редакторов, цензоров, партийной конъюнктуры и дисциплины.

Но ему повезло, и с приходом к власти Хрущева, Аджубея стали быстро двигать наверх, благо он, в самом деле, был талантлив и смекалист. Я питала к нему симпатию, потому что любила и уважала его мать. В ней было достоинство, она глубоко презирала правительственных дам, своих заказчиц. Она прошла нелегкую трудовую жизнь, приехав из провинции в Москву и завоевав популярность прекрасной работой. Таким же она хотела бы видеть сына. Войдя в семью всемогущего премьера, она перестала работать в ателье, иногда лишь делая специальные вещи для Нины Петровны и своей невестки, потому что они ее об этом умоляли. Никаких других контактов с семьей Хрущева у нее не было, и она их не искала. Она переехала теперь в собственную квартиру рядом с сыном, который относился к ней с трогательной заботой.

Он был уже главным редактором «Известий» – центральной московской газеты, и сделал ее живой, интересной, насколько это было возможно в рамках системы. Подписка сразу же возросла, он сделал газету вечерней, переоборудовал редакцию. Алеша реорганизовал весь аппарат, помогал сотрудникам получить квартиры – он знал хорошо, что значит бедность, знал как живут рядовые работники газет. Редакция газеты «Известия» не чаяла в нем души. Все было бы прекрасно, но человеку всегда мало...

За 11 лет власти Хрущева, Алеша стал крупным политическим деятелем. Уже к нему нельзя было просто позвонить по телефону в редакцию. «Поговорить с Аджубеем» означало почти что побеседовать с кем-нибудь в правительстве.

Алеша ездил за границу вместе с тестем, возглавлял пресс-бюро при Хрущеве: перед ним заискивали, искали его покровительства, надеялись на его помощь.

И вдруг в один день – все рухнуло: Хрущев был низвергнут. Способному редактору больше не дали руководить газетой, как прежде. По точной аналогии с тестем, Аджубея обвинили во всех смертных грехах, и долго «прорабатывали», – хотя он пил не больше других и вел себя так же, как все. Его выгнали из газеты, подписка на которую сразу же упала и она превратилась в серую тряпку, какой и была в прежние годы.

Теперь он работает редактором небольшого журнала. Его мать, наверное, снова шьет известным московским заказчицам. Старинная испанская мантилья с высоким гребнем, которую сын привез ей с Кубы, хранится у нее, как память об одиннадцати

годах жизни «на самом верху». Может быть, она и не жалеет о них...

Новый премьер-министр, другой первый секретарь партии, новые «десять семейств», новое политбюро, которое по старому – ничем не руководит. Новые бары нового класса – советской аристократии, – выросшей из бывших рабочих и крестьян. У них не было и не могло быть иного эталона власти, чем власть барина; иного идеала, как стать самому барином в поместье; иного кругозора, чем – «у нас в деревне».

Общество в СССР уже пятьдесят лет живет по законам кастовых групп и привилегий, установив, по существу, кастовый строй, который упразднила Индия. Жрецы (партия) и воины (армия) – сила и власть этого общества, покоящегося на плечах миллионов и миллионов тружеников, одуроченных жрецами, запуганных оружием.

В индийской деревне, где я жила два месяца, критиковали правительство, и выбирали между семью кандидатами семи различных партий. СССР отстала от Индии на пятьдесят лет – с того самого «незабываемого» дня в 1917 году, когда власть в стране захватила небольшая группа большевиков, превратившаяся затем в одну правящую партию. Теперь бы «догнать и перегнать» Индию, с ее парламентарной демократией! Вот какого лозунга не хватает в официальных заповедях коммунизма, которые каждый год «дают» народу жрецы и фарисеи из ЦК КПСС, собравшись в своем «храме» на Старой площади в Москве...

Каждый год, 7-го ноября, все члены политбюро, их жены, дети и внуки, идут на Красную площадь смотреть парад. Кто на мавзолее, кто возле него. Все мерзнут, простуживаются и потом долго болеют. Накануне – обязательно присутствовать на торжественном докладе по поводу очередной годовщины, после чего дается большой официальный концерт. Из года в год одни и те же слова-словия, докладчик тот, кто в этом году в почете у политбюро. Но доклад заранее составляется в ЦК, где заранее утверждаются и дозволенные лозунги.

На площади кто-нибудь погорластее из московского комитета партии выкрикивает эти лозунги, читая по бумажке, и взмахивая рукой по направлению идущих демонстрантов. Демонстранты отвечают жидким «ура». Могут и не отвечать, так как за них орет «ура» громкоговоритель, включенный тут же на площади. Звуки «народного ликования» тоже заранее записаны на пленку, как и дозволенные песни и марши. И радио разносит по всей земле, с Красной площади и мавзолея, со святая святых коммунизма, подготовленные и заранее утвержденные клики, – а не настоящие голоса идущих по площади людей. Ведь не исключена возмож-

ность, что живые, непредусмотренные люди могут выкрикнуть что-нибудь не утвержденное: ДОЛОЙ, – вместо УРА... Поэтому громкоговоритель надрывается изо всех сил, и перекрычать его невозможно.

Так было, когда меня мама повела на парад в первый раз. Так было все 35 лет после этого – при Сталине, при Хрущеве, после Хрущева. То же самое происходит и теперь в Москве, на Красной площади, в Ленинграде, во всех союзных республиках, во всех социалистических столицах. Как всегда, политбюро стоит на мавзолее, жены, дети и внуки – внизу, вблизи святая святых. Дальше, переминаясь с ноги на ногу, мерзнет дипкорпус. Еще дальше – стройные ряды государственной бюрократии, министры, генералы, члены ЦК и партийного аппарата с женами, детьми и внуками, – создавая впечатление ликующей толпы. Кинооператоры усердно снимают этот фарс каждый год. Кадры стандартны. Только – иные лица на мавзолее, да новые пушки на площади...

А народ, с бумажными цветами и транспарантами в руках, быстро проталкивают через площадь, через ряды конвоя в штатском, образуящего как бы зубья гребенки: проходи меж этих зубьев, не задерживайся, побыстрее.

И позади трибун, возле кремлевской стены, сложены винтовки – на всякий случай...

Я всего извела. Стояла возле мавзолея, в числе самых избранных. Стояла дальше, среди менее избранных. Ходила со студентами однокурсниками через эти «зубья», через площадь, махая рукой тем, кто на мавзолее. Ходила взрослой, уже не махая рукой. Потом перестала ходить и стоять. Смотрела на все это много раз по московскому телевидению, зная с точностью до последнего слова, что скажет тот или иной маршал, открывающий или принимающий парад. Когда-то «дядя Ворошилов ездил на лошади». Хорошо ездил. Буденный – тоже. Булганин – с трудом, его долго тренировали в манеже, и он всегда боялся упасть. Потом перешли на западный манер – на открытых машинах, стоя, приложив руку к козырьку, объезжают войска.

А людей собирают в семь часов утра и они ждут. Потом ждут на улицах часами, медленно двигаясь через всю Москву, чтобы быстро пройти через Красную площадь, под строгое – «не задерживайтесь». Потом они сдадут бумажные цветы и красные транспаранты по описи, и пойдут по домам, чтобы, наконец, отдохнуть и напиться после долгой прогулки на холоде. Что там прокричал сегодня с мавзолея очередной маршал – им не важно. Они знают, что каждый год одно и то же, и что ничего не изменилось в стране. Только новые лица поднимаются каждый год на древнеегипетское, фараонское, варварское святилище мирового комму-

низма – мавзолеей.

Говорят, что идея вечного сохранения тела Ленина в мавзолее принадлежала моему отцу. Вся семья Ленина протестовала, и Крупская отказалась посетить «святилище». Я понимаю Крупскую: мне всегда казалась абсурдной самая идея мавзолеей, потому что век «святых мощей» давно прошел. Когда тело моего отца было помещено в мавзолеей, рядом с Лениным, меня пригласили в числе первых посетителей, и у меня осталось надолго самое ужасное впечатление от этого противоестественного «заглядывания в могилу»... Поэтому я считала естественным, что тело отца, наконец, после долгих мытарств, предали земле. Но, правительство, делая это, хотело таким образом перевести Сталина из «лика святых» в ряды грешных смертных, не достойных покоиться в фараонском саркофаге.

Сегодня коммунисты всех стран считают, что «святыня», очистившись от грешника, засияла новым светом над всей землей. И этому будут еще долго верить толпы пилигримов, приезжающих сюда на поклон из дальних углов СССР и из других стран – толпы слепых рабов, которым необходимы саркофаги, пирамиды, и фараонская власть – вместо свободы.

Как я счастлива, что меня там больше нет.

* * *

В этом необыкновенном году, вместо обычного «празднования октября» я справляла американский праздник – «День Благодарения». Это благодарение первых переселенцев, высадившихся в Америке, за их первый урожай, праздник осеннего изобилия и отдыха от работы. Это мой Праздник. Я переселенец, я добралась до этой обетованной земли, у меня за плечами трудные месяцы и вся моя парадоксальная жизнь. И, наконец, все волнения завершаются. Так сядем за стол!

С утра Руфь и я жарили индюшку, варили картофель и тыкву, чтобы сделать пюре. Украсили стол фруктами и орехами. Нашими гостями были профессор Браунского университета с женой, и нам было весело. Американская еда изобильна; может быть, она не так изыскана, как французская или китайская, но это вкусная еда, от которой трудно оторваться. Не зря приехали на этот континент первые поселенцы. И насколько естественнее осеннее Благодарение щедрой природе, чем сомнительное поклонение фараонским саркофагам.

Мне было за что благодарить эту страну, протянувшую мне руку помощи в трудную минуту. Меня приняли, помогли – несмотря на хор клеветников, звучавший громко и слаженно. После всех атак Москвы в это лето, после сенсации с книгой, после всего,

что я читала о себе в прессе и критике, я приехала в Бристоль с перенапряженными нервами и не спала ночами. Полковник Бриггс с ее армейской дисциплиной в доме, маршем ее каблучков и веселым смехом привела меня в порядок.

Мне было за что благодарить ее, маленький Бристоль, симпатичного молодого губернатора Чейфи, и всю эту огромную страну, на берег которой меня выбросили волны Судьбы, – как тех первых поселенцев.

Мой первый праздник Благодарения я справляла здесь от всей души. Он отлично заменил мне казенный юбилей пятидесятилетия революции.

Конец путешествия

Год путешествия и цыганского кочевания подходил к концу. За всю свою прежнюю жизнь я не видела столько новых стран – Азия, Европа, Америка... Пора было, наконец, убрать чемоданы и попробовать перейти к оседлой жизни.

К какой жизни? Что будет собой представлять моя новая жизнь здесь? Что я такое?

Я оставила Советскую Россию не для того, чтобы и здесь оставаться «дочерью диктатора». В этом качестве мне лучше всего было бы уехать в Грузию и беспечно жить там среди обожателей памяти «великого грузина». Впрочем, можно было бы и не уезжать из Москвы: советское правительство все больше и чаще начинало взывать к этой памяти.

Осенью Москва вдруг переменяла тактику, и мне было сделано косвенное предложение вернуться домой. Для этого использовали телевизионное интервью немецкого журнала «Stern» с моим сыном, взятое на квартире, где живут мои дети. Мой сын «заявил»: «Если сейчас мама решит вернуться обратно, то никакого наказания не последует». Двадцатидвухлетний студент не может делать подобные заявления от своего имени; безусловно, его проинструктировали. В ответ на это я послала небольшую заметку в немецкую газету «Christ und Welt» о том, как в Советском Союзе «организуются» интервью с иностранными корреспондентами и о том, как меня инструктировал Молотов перед интервью с Херстом в 1955 году.

В мире много добрых людей. Музыкант из Израиля, гастролировавший в Германии и видевший там интервью с моим сыном, написал мне, что мои дети выглядели неестественно и что все было, как плохо поставленный спектакль. Я и не сомневалась, что это был спектакль – но была благодарна незнакомому человеку за то, что он подтвердил это.

Я знала, что назад не вернусь никогда.

Еще в Бристоль неожиданной радостью пришла весточка от моей приятельницы Марины, гостившей в то время в Италии. Ее письмо дошло ко мне, хотя оно было послано просто в журнал «Life». Я позвонила ей по телефону. Мы вызвали ее номер в Италии из Бристоля, и о, чудо! – я слышу голос Марины.

Она сказала самое главное и самое нужное: «Не волнуйся о детях. Они в порядке. Мы все тебя любим, помним. Знаем, что увидимся не скоро. Мы все тебя любим!» Ах, какие это были необходимые слова! Ведь, кроме разговора по телефону с Бертой из Швейцарии, ни слова от друзей с прошлого декабря...

«Помним и любим». Ну, вот и все, что мне нужно.

Моя дорогая Марина, бесстрашная, маленькая женщина, веселая, энергичная. Кто скажет, что ей под шестьдесят? Кто догадается, что семнадцать лет прошло в тюрьме, лагере и ссылке?

Через все прошла Марина и спасал ее только веселый нрав, оптимизм и глубокая вера в то, что правда восторжествует. Когда-то, еще в Москве, она рассказывала мне как два раза теряла и находила свою дочь: она чудесно рассказывала и хотела даже написать это. Этот рассказ лежал бы «в ящике»: редакции советских журналов не любят подобных историй.

Когда Марину арестовали в 1938 году, она была молодой женщиной, а ее единственной дочери было пять лет. Когда началась война, Марина отбывала «срок» в лагерях. Сначала она работала на лесозаготовках, потом, благодаря своим навыкам хирургической сестры попала работать в лагерную больницу. Новости с трудом доходят к заключенным, но все-таки Марина знала, что из Ленинграда вывозили детей во время блокады и голода. Но как узнать, жива ли ее маленькая дочь, что с ней?

Основное утверждение Марины состоит в том, что «хорошие люди есть везде». И может быть оттого, что она в это верила, ей, действительно, везло, и хорошие люди повсюду протягивали ей руку помощи. Невероятными окольными путями ей удалось послать запрос в детские учреждения Ленинграда, занимавшиеся эвакуацией детей. Через долгое время пришел и ответ: девочка вывезена в детский дом в деревне, в далекий Алтай. А Марина – в лагере где-то на Урале... Узнав это, Марина стала просить начальника госпиталя разрешить ей съездить за дочерью и привезти ее сюда, в лагерь, где ее выходили бы после ленинградской блокады. Такая просьба была сама по себе невероятной; но оттого, что Марина верила в добрых людей, ей абсолютно верили тоже. И ее отпустили на две недели, дав ей «командировку» от госпиталя.

Маленькая женщина вышла на две недели на свободу «под честное слово». Кругом шла война. Был 1944 год. Затемнение на

станциях. Поезда по расписанию не ходят. – «Я вышла в мрак и хаос», – говорила Марина, – «и ничего не могла понять вокруг. Ведь когда меня арестовали был мир. Ленинград жил тогда полной жизнью, а я выросла и прожила всю жизнь безбедно, не зная трудностей. Сейчас я очутилась как в аду. В заплечном мешке у меня был хлеб и пузырьки со спиртом вместо денег – мне сказали, что это везде поможет. И я не помнила ничего, кроме безумного желания увидеть дочь, которой теперь уже было 11 лет. У меня был адрес алтайской деревни, и со мной была Божья помощь».

Марина пересаживалась с поезда на поезд, давая кому спирт, кому хлеба, умоляя и объясняя, зачем она едет. Никаких билетов вообще не было, поезда были с войсками, ранеными, эвакуированными... Но ей помогали, она добралась до Алтая.

Теперь надо было ловить попутные грузовики, или лошадь, или идти пешком. Марина шла пешком, давала спирт и хлеб, ее подвозили. В дороге ее застала ночь, она заснула, спрятавшись от ветра за большим камнем. Потом опять шла.

Она нашла деревню, нашла детский дом, но не могла найти дочь, потому что разница между 5-летней и 11-летней слишком велика. Все дети выглядели измученными и голодными. Ее подвели к худенькой, угрюмой девочке, не проявившей к ней никакого интереса. Кожа девочки была покрыта болячками, в волосах были вши. Марина не знала, что сказать ей...

На следующий день надо было уезжать. Директорша детского дома заказала грузовик, а вечером устроила «ужин» для счастливой матери. Марина не видела такого изобилия за последние шесть лет, и удивилась, – потому что детей кормили здесь только кашей. Девочка набросилась на еду, и на следующий день заболела от этого. У нее поднялась температура, начался понос. Марина должна была везти ее больной – кончался срок ее «отпуска».

Она везла ее опять на попутных грузовиках, подводах, умоляла начальников станций, тащила ее на руках. Девочка была порой без сознания. Снова добрые люди помогали им, уступали место в переполненных вагонах.

Марина привезла дочь в лагерь, и в лагерной больнице выходила ее. Когда кончился ее «срок», они вернулись в Ленинград. Дочь кончила школу, стала студенткой, вышла замуж. Но в 1948 г. Марину опять арестовали: она нарушила правила, по которым ей не разрешалось жить в Ленинграде, возвратясь из лагеря. И она снова не видела дочь еще семь лет.

Когда Марина возвратилась, наконец, из казахстанской ссылки, у нее уже было два внука.

Я знаю, она беспокоится сейчас обо мне, как беспокоилась бы о своей дочери; может быть – даже больше...

Почему Марина нежно любила меня? Почему отделила меня от всего того, в чем я выросла? Потому что страдавшие много обретают широту кругозора, и относятся к людям и жизни как большие, мудрые гуманисты.

* * *

Я не пыталась писать ни друзьям, ни детям: в СССР меня считают политическим преступником, и любой контакт со мной был бы для них только опасен и вреден.

По телефону из Бристоля я повторила Марине несколько раз, что не вернусь. Но она это и сама понимала. Не планируя будущего, – как всегда, – я довольно смутно представляла себе, какова будет моя новая жизнь. Я твердо знала лишь одно: я никогда не вернусь в СССР. Иногда мне снились по ночам московские улицы, комнаты моей квартиры; я просыпалась в холодном поту. Это было для меня кошмаром.

В Америке я встретила, за редким исключением, огромную доброжелательность. Письма, начинающиеся с «Welcome to America!» продолжали приходить. Меня звали в гости, приглашали жить в разные города, во многие штаты. Предлагали читать лекции, выступать перед самыми различными аудиториями, говорить об СССР, о самой себе, о женщинах и семье в Советском Союзе, о моем отце, о том – как и почему я порвала с коммунизмом и оставила родину. Я могла бы принять любое предложение, объездила бы всю страну и нашла бы много новых друзей. Но я не хотела этого делать.

Я не хотела и не хочу стать лектором, историком, кремленологом, биографом своего отца, «бродячим социологом». Не хочу больше ни телевизионных интервью, ни вообще интервью. Единственной – и наилучшей для меня – формой разговора с общественностью является работа писателя. Я хотела писать обо всем, – о чем меня спрашивали в сотнях добрых и недобрых писем. Так я скажу все, что думаю, все – что знаю.

Еще летом, когда Джордж Кеннан вернулся на ферму из Норвегии, я говорила ему о плане следующей книги, которая постепенно складывалась в моей голове. Я бы ее написала в Индии, в Швейцарии, в любой стране, где оказалась бы, оставив СССР. Но теперь мне стали ясны рамки определенного сюжета: история одного года, так круто изменившего всю мою жизнь. Осенью я говорила об этом замысле Кенфильду – издателю Харпер и Роу. Но это был лишь замысел, и теперь надо было, наконец, найти тихое пристанище и начать нормальную жизнь и работу.

Решено было попробовать «пустить корни» в Принстоне, небольшом университетском городе, куда съезжаются ученые со

всего мира. Принстон – интернациональный город; здесь привыкли к пришельцам и не удивляются никому и ничему.

Я видела город несколько раз летом и осенью. В нем есть что-то уютное, старомодное. Прекрасные старые деревья вдоль улиц, похожих на аллеи парка. Я должна разговаривать с деревьями, мне невозможно жить без этого. Жизнь здесь спокойна. Все покупают еду в одних и тех же лавках, лекарства – в одной и той же аптеке; одно почтовое отделение, одна центральная улица, одна «главная» площадь – Палмер Сквер, с бронзовым тигром – символом Принстона и Университета. По улицам ходят студенты, но они без бород, без длинных, немых, нечесанных грив. Принстон консервативен, хотя, очевидно, что влияние хиппи придет и сюда.

Мы гуляли с Кеннаном по осеннему лесу, недалеко от его Института, обошли университетский кампус, зашли в University Chapel, оставив на улице черного пуделя, везде ходившего с нами. Никто здесь не обращал на меня никакого внимания, и это было самое лучшее, чего я могла желать.

В Принстоне мне хотелось продолжать свой обычный образ жизни, сложившийся еще в Москве за последние пятнадцать лет: без прислуги, без чьих-либо постоянных услуг, которые только связывают зависимостью от других. Но я не знала, будет ли мне легка такая независимость и самостоятельность в новой стране, где совершенно иной уклад жизни и где любое «известное» лицо всегда живет под пристальным вниманием общественности.

Общественность! Вот чего нет в Советском Союзе. Нет общественного мнения, общественной информации, общественных реакций. Общество так глубоко парализовано, что оно как будто спит летаргическим сном, не интересуясь и не реагируя даже на мировые вопросы, не говоря уже о жизни отдельных лиц. Я приехала в свободный мир из мира молчания и общественной летаргии. Теперь надо было привыкать к самой большой для меня трудности, – к новому ощущению жизни как на сцене театра, где занавес всегда открыт. До известной степени это было даже хорошо: у меня нет секретов и нечего прятать; так надоели эти вечные советские «тайны», высокие стены и заборы, угрюмые берлоги с безразличными медведями в спячке...

Мне хотелось встречаться с новыми людьми, я знала, что легко найду многих, кто разделяет мои взгляды. Все эти полгода я, по существу, не выходила из очень узкого круга. У меня почти еще не было знакомых, так как я без конца переезжала с места на место. Мне хотелось узнавать об этой стране не путешествуя по ней как турист, а изнутри, через еще многие и многие «столики в кухне». Словом, больше всего на свете мне хотелось остаться

самой собой в совершенно изменившихся обстоятельствах.

Меня ничего не пугало, я была уверена, что все будет легко и хорошо. Никогда еще в жизни я так сильно не была уверена в собственной правоте как сейчас. Неуверенность в себе, в своих возможностях и способностях преследовала меня всю жизнь. Легче всего мне всегда было поверить, что я все делаю плохо и неверно. Внутренняя скованность и застенчивость мешали мне в контактах с людьми, с аудиторией. Чаще всего хотелось уйти от всех и закрыть за собой дверь. Все это – психологический результат долгой жизни под прессом, результат воспитания в ненормальной семье, результат долгого существования в обществе, которое поработочено и молчит. В Советском Союзе миллионы таких подавленных и полупарализованных духовно...

С тех пор, как я оставила Москву, жила в Индии и здесь, я стала другим человеком. Мои друзья не поверили бы, что мне так легко и свободно среди совершенно незнакомых людей. Невозможно объяснить, что это такое – внутреннее ощущение свободы, которое наполняет меня теперь. Никто даже и не знает этого ощущения в Советском Союзе, и я не знала его раньше. Теперь – я уже не смогла бы существовать без него ни одного дня. Все повседневные мелочи и детали отступают куда-то на второй план. Усталость, плохое настроение, нездоровье могут по-прежнему туманить ясные дни, но солнце свободы сияет изнутри, в самом сердце. Надо пройти через все, что я прошла, чтобы ощутить это...

В начале декабря я перевезла свои книги и чемоданы в дом, снятый на один год в Принстоне. За это время у меня собралась большая библиотека из русских и английских книг, присланных по почте незнакомыми читателями и авторами. Книги, да самое необходимое из одежды – было все, что я привезла с собой. Но снятый дом отдавался в мое распоряжение хозяйкой со всем, что в нем было.

Это был дом недавно умершего крупного нью-йоркского издателя, с большой прекрасной библиотекой. Его вдова, Дороти Камминс, профессиональный музыкант, сказала мне: «Мы построили наш дом десять лет тому назад для работы, а не для приема гостей».

Большая гостиная была рассчитана на камерные концерты дома: круг друзей Д. Камминс принадлежал к музыкальному миру, ее сын играл на скрипке, внуки тоже участвовали в концертах. Хозяйка оставила в мое распоряжение большую коллекцию пластинок и прекрасный проигрыватель. Она встретила меня не как «нанимателя дома», а как друга, уставшего после многих передряг, нашедшего, наконец, тихую гавань. Она постаралась сделать все возможное, чтобы я чувствовала себя здесь как дома,

оставив мне все домашние мелочи, предусмотрев абсолютно все, что могло понадобиться. Я могла, в самом деле, целый год спокойно жить и работать, не думая ни о каких покупках.

Д. Камминс хорошо знала, что значит работа. В гостиной большой дубовый стол был местом постоянной работы ее мужа над рукописями. Она недавно опубликовала собрание колыбельных песен народов всего мира, проработав над этой коллекцией текстов и музыки несколько лет. В Принстоне у нее были ученики среди детей, студентов и профессоров – она была прекрасный преподаватель фортепиано. Сейчас она уезжала на целый год, чтобы в тринадцати странах Востока и Запада собрать народные детские песни и музыкальные игры. Она немолода и выглядит хрупкой, но отважно отправлялась одна в это путешествие, уверяя, что везде встретит друзей и ей помогут.

В доме было множество книг, нот и пластинок, хорошие гравюры и акварели на стенах, старое серебро и бронза, тяжелая мебель и прекрасный рояль. И здесь была благословенная тишина жилья, где хозяйева любили работать, и много лет лелеяли эту тишину и покой... Меня встречали как друга в каждом доме, где я гостила за это время: Джонсоны, Кеннаны, Кенфильды, Гринбаумы, Шварцы, Элеонора Фриде, Руфь Бриггс, Дороти Камминс. Везде было тепло и как дома. Разве не в этом лицо Америки, страны пришельцев, изгнанников, открывателей новых земель? Дело не только в гостеприимстве, которого всегда хватало и в России – пока она не отгородилась от всего мира. Намного важнее, что в Америке за каждым сохранено безусловное право жить так, как он желает, и оставаться всегда и везде самим собой.

Дороти Камминс перед тем, как уехать, познакомила меня со своими друзьями. Она не хотела оставлять меня без помощи и «без присмотра».

Арман Борелль, швейцарский математик, живет с семьей в Принстоне уже много лет. Он начинающий ученик Д. Камминс на рояле. У него огромная коллекция классической музыки и народных песен, и то серьезное отношение к музыкальной культуре, которое так мне знакомо по московским математикам... Кстати, Арман знает многих из них и точно так же, как они, преклоняется перед профессором Московского Университета Гельфандом. Дома жена, девочки и он сам говорят по-французски. Габи хорошо готовит, а две дочери 12-ти и 14-ти лет кокетливы и изящны, как могут быть в столь юном возрасте только француженки.

Доктор Кендал, лауреат Нобелевской премии, открывший кортизон, любит сидеть в гостиной, у камина. Ему восемьдесят, но он выглядит молодо, – как все здесь. Ясные голубые глаза, живой ум,

жизнь подвижника. Час за часом, день за днем поиски новых возможностей – и иногда – находка.

Марго Эйнштейн – скульптор. Ее «маленькая мадонна» стоит у Д. Камминс на рояле в гостиной: печальная сидящая фигурка, прячущая ребенка на своих коленях. Что-то печальное и в самой Марго, маленькой, застенчивой. С ней легко говорить, она понимает прежде, чем Слово произнесено. В мастерской у нее дома ее работы – изящные, небольшого размера, полные настроения.

В доме у Фрэнка и Пэгги Тэплин камерная музыка почти каждый вечер. А две дочери – крупные девушки с мягкими карими глазами и распущенными темными волосами, так похожи на мою Катю. Я вижу своих детей часто – в здешних студентах и студентках, и это так приятно. Это не грустно, а наоборот, утешает меня.

Луи Фишер был в СССР корреспондентом четырнадцать лет, его сыновья ходили в московскую школу, он много писал о советской политике и жизни. Теперь он профессор, историк, писатель. Огромную роль в его жизни сыграла Индия, которую он прекрасно знает и любит: здесь мы сразу нашли общий язык и взаимопонимание.

Я знаю профессора Такера из Принстонского университета. Его жена – русская, москвичка. Сколько лет пришлось страдать и ждать им обоим, пока, наконец, советское правительство дало жене визу и она смогла уехать к мужу! Только после 1953 года в СССР были «разрешены» браки с иностранцами. Теперь Женя преподает русский язык в университете в Принстоне.

Дороти Комминс может не тревожиться: я здесь не буду оставлена без помощи. В пяти минутах от меня живут Кеннананы; Аннелиза и помогла найти и снять этот дом для меня.

В середине декабря начали приходить поздравительные открытки к Рождеству. Это было мое первое Рождество, в СССР празднуют только Новый Год. Но ведь на самом деле Новый Год начинается не 1-го января, а с того дня, когда солнце «поворачивает на лето», и после самого короткого, темного дня в году, начинает по минуте прибавляться день. С этого момента светлеет на душе.

Что ж, еще один новый праздник для меня. В доме елочка, свечи и украшения прислала жена моего венского издателя. Я буду дома, зажгу свечи и буду слушать «кэролс» – рождественские песни, которые здесь поют дети, переходя от дома к дому. Я буду одна, мне приятнее в своем доме, чем идти в гости. Рождественские открытки стоят повсюду вокруг, их набралось около двухсот. Большую часть прислали незнакомые американцы, в них теплые приветия, пожелания счастья в новом году, в новой стране, сер-

дечные благословения. Другие – из Германии, Швейцарии, Англии, Австралии, Канады, Южной Америки, Швеции, от тех, кто знает, что я не вернусь в СССР, или кто читал «20 писем». Часто я плакала над открыткой, такое тепло шло ко мне от незнакомых людей со всего света. Я знаю – этому не поверили бы в СССР; полвека советской власти отучили людей верить в существование доброты.

* * *

19 декабря 1967 года, за столиком в ресторане Принстон Инн сидели Аннелиза Кеннан, Луи Фишер и я. – «А знаете», – сказала я, – «ведь только один год назад в этот день я уезжала из Москвы... Какая вьюга мела! Мой сын провожал меня поздно ночью в аэропорт. Мог ли кто-нибудь вообразить тогда, что я поселюсь в Принстоне и буду сидеть за столом с вами?»

«Давайте выпьем за этот год свободы», – сказал Луи Фишер. И мы все трое подняли наши бокалы.

*Апрель-Ноябрь 1968 г.
Принстон, США.*

Примечания

1

Известный русский педагог, следовавший «свободной школе» Толстого. Организовал школу для бедных крестьянских детей, учил их искусству. Переписывался с Рабиндранатом Тагором, много заимствовав из его педагогического опыта.

2

От Владимира Ильича Ленина – до Леонида Ильича Брежнева.

3

Л. Б. Крассин – старый большевик, первый советский полпред в Англии.

4

«It is possible for a single individual to defy the whole might of an unjust empire to save his honor, his religion, his soul, and lay the foundation for that empire's fall, or its regeneration.» (Page 74, «Ambassador's Report» by Chester Bowles, N.Y., 1st edition.)

5

Возвращаясь к прошлому, к моей жизни в СССР и к взаимоотношениям в семье, невозможно избежать повторения некоторых фактов, уже рассказанных в «20-ти письмах» – первой книге, которую я писала в августе 1963 года. Тогда я писала историю семьи, и у меня не было мысли о возможности оставить когда-нибудь свою страну. Но все эти события прошлого послужили основанием для дальнейших решений и развития событий, – которое бывает невозможно предугадать ни в книге, ни в жизни.

6

Письмо от 16 апреля 1967.

7

Из письма от 22 апреля 1967.

8

Письмо от 11 мая 1967.

9

Boris Nikolaevskii, Power and the Soviet Elite, New York, Praeger, 1966; p. 135.